

МЕРИДЕЛ ПЕСЮЭР

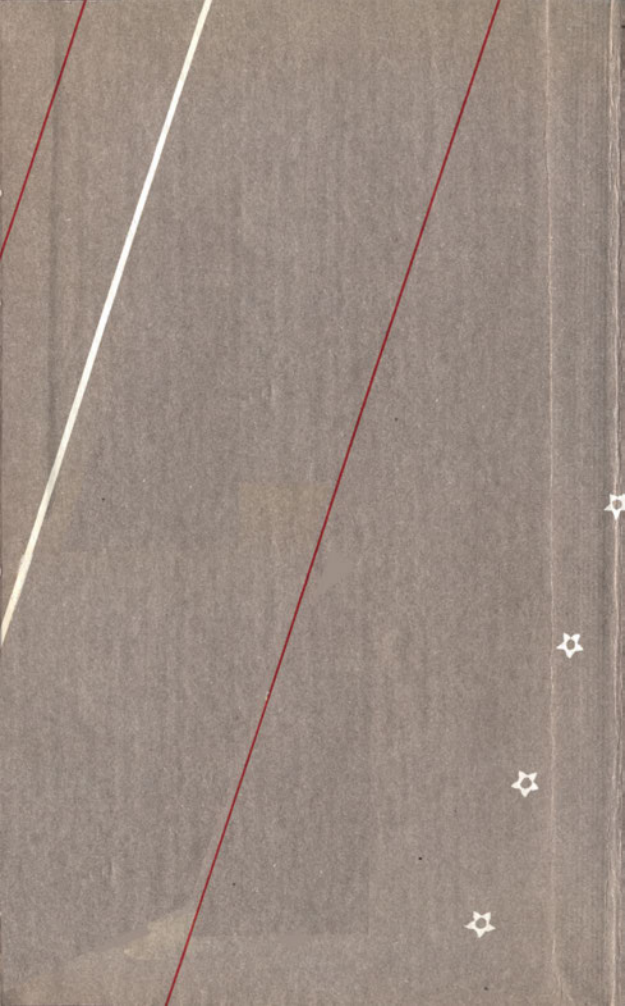


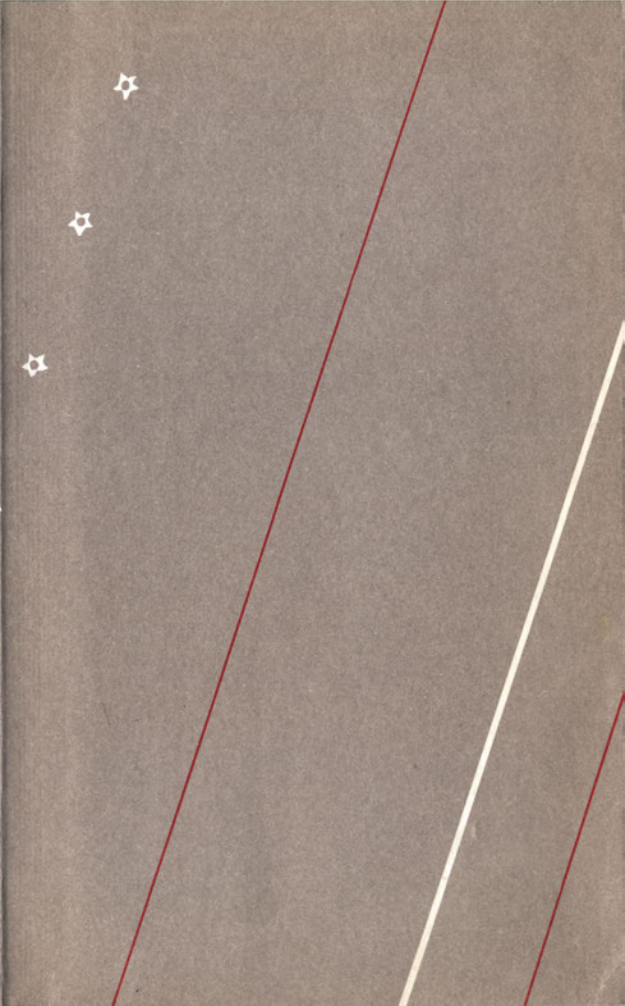
ЖЕНЩИНА

РАССКАЗЫ

ЖЕНЩИНА

РАССКАЗЫ





МЕРИДЕЛ
ЛЕСЮЭР

ЖЕНЩИНА

РАССКАЗЫ



ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1989

ББК 84.7США
Л50

Составление
А. МУЛЯРЧИКА
Вступительная статья
Б. ГИЛЕНСОНА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Л 4703010100—034 133—89
028(01)—89
ISBN 5—280—00699—8

© Состав, вступительная статья,
переводы, кроме отмеченных в
содержании *. Издательство «Ху-
дожественная литература»,
1989 г.

„ТОЛЬКО
НАРОД
ДАЕТ ЖИЗНЬ
НАМ И НАШЕЙ
КУЛЬТУРЕ.“



Когда на заре 60-х годов в США появилась имевшая шумный успех книга либерального публициста Майкла Харрингтона «Другая Америка» (1961), ее крылатый заголовок сделался понятием, обогатившим словарь политиков и социологов. В книге шла речь о многомиллионной армии бедняков, безработных, престарелых, лишенных помощи, терпящих бедствие сельскохозяйственных рабочих, представителей этнических меньшинств, подвергаемых дискриминации, о всех тех, кто опустились на экономическое и социальное «дно». Их стараются не замечать, о них не часто пишут, ибо пребывать в рядах бедных, нуждающихся — не просто горько, но и унижительно, постыдно. Шли годы, а проблема «невидимой страны», как назвал Харрингтон описанный им социальный пласт, сохраняла актуальность. Вернувшись к заботившей его проблематике на новом историческом витке, Харрингтон обнародовал монографию, озаглавленную: «Новая беднота в Америке». Ее год издания — 1984-й. В ней он констатировал, что бедность по-прежнему остается «болевой точкой» в стране, именующей себя «обществом изобилия».

Впрочем, «другая Америка» — это, конечно, не одни только обездоленные и выбитые из колеи. Это радикально настроенные американцы. Активисты рабочего движения. Коммунисты. Лидеры этнических групп, выступающие против любых форм дискриминации.

На разных исторических этапах противоположность, а порой и противоборство «двух Америк», удручающий контраст между богатством и бедностью, пресыщением одних и нищетой других обозначались с большей или меньшей решительностью. И находили свое отражение в словесном искусстве.

Среди тех, кто помогает и понять, и увидеть, наглядно и живо, некоторые существенные стороны явления, именуемого

«другой Америкой», — Меридел Лесюэр. Художник искренний и честный, не просто один из ветеранов прогрессивной литературы. Но фигура для нее во многом классическая. Человек, словно бы олицетворяющий живую связь времен.

Писателям левых, радикальных убеждений всегда было нелегко в Америке. Их замалчивали. Не печатали. Третировали и преследовали, как это было в пору маккартизма и «холодной войны». Их имена исключались из пухлых академических справочников и словарей, похваляющихся своим энциклопедизмом и объективностью. Критики консервативной ориентации прищипливали к ним разного рода уничижительные ярлыки. Обвиняли в «пропаганде» в ущерб «художественности». В том, что они живописуют быт «низов» или драматизм классовой борьбы. А это область якобы неинтересная и «противопоказанная» искусству. Да, наряду с «невидимой Америкой» существуют еще и «невидимые» писатели!

Все это в полной мере приложимо к судьбе Меридел Лесюэр. Художника с огромным творческим «стажем», прозаика, новеллиста, очеркиста, поэта, коммунистку с 1924 года, писателя, которого академическое литературоведение до сих пор не замечает.

А между тем путь писательницы продолжается уже более шести десятилетий. Но той эпохой, которая сформировала ее убеждения и художественную методологию, были «красные тридцатые». Тогда получила она своеобразную закалку на прочность. Что же касается последних лет, то ее творческая активность отнюдь не иссякла: Меридел Лесюэр переживает свое поистине «второе рождение». 1970—1980-е годы оказываются для писательницы на редкость плодотворными. Выходят ее новые произведения. Идет волна переизданий ее книг, написанных в разные годы. В Университете штата Миннесота, с которым связано ее творчество, вышла в 1973 году биобиблиография Меридел Лесюэр. Увидела свет созданная в ее честь антология «Мы славим нашу борьбу» (1982), подготовленная друзьями Лесюэр, соратниками по левому литературному движению. Прозвучал в антологии и голос самой Лесюэр, отрывки из ее дневников. Стали появляться критические работы о ее творчестве. Высокую оценку получило оно на страницах левых изданий, в частности в газете коммунистов «Дейли уорлд».

Критики пишут об интересном литературном феномене, именуемом «возрождение Меридел Лесюэр». Впечатляющее свидетельство этому — выход представительной антологии писательницы «Созревание. Избранные произведения» (1927—1980), (1982¹). В ней представлено и основательно откоммен-

¹ Le Sueur Meridel. Ripening. Selected Work, 1927—1980. Edited with Introduction by Elaine Hedges. N.Y., Feminist Press, 1982.

тировано все лучшее, что создано писательницей в самых разных жанрах: новеллы, репортажи, статьи, стихи, автобиографические дневниковые фрагменты.

В первой диссертации о писательнице, защищенной в Миннесотском университете в 1978 году, вводится и обосновывается понятие: «Америка Меридел Лесюэр». Думается, что в этом нет преувеличения. У Лесюэр и своя стилистика, и своя тема, выношенная и очень для нее органичная. Свои герои, которые, пожалуй, мало кем прежде были показаны с такой рельефностью и сочувственным проникновением. Это девушки из нуждающихся, «неблагополучных» семей, вступающие в жизнь, суровую и жестокую. Матери, работницы, испытывающие разного рода лишения. Пожилые одинокие женщины, страдающие от ран, нанесенных им в тяжелой борьбе за выживание. Известный поэт Карл Сэндберг, кстати, как и Лесюэр, уроженец и певец Среднего Запада, так писал о ней: «Мисс Лесюэр, нашедшую свой собственный стиль, заботят коренные проблемы современного мира, и это одушевляет ее творчество таким редким качеством, как уважение к людям, искренность и чувство гордости за женщин и матерей».

Кажется достаточно аксиоматичной мысль о том, что реалистическое искусство питается жизнью, действительностью. Для Меридел Лесюэр, писательницы далекой от книжности,— это вдвойне справедливо. Почти все, что ею написано, определяется ее личным опытом, в котором немало горького и тяжелого. Литература, заметила как-то писательница, вырастает из «глубоко сокрытых живых корней нашего существования». Автобиографизм «просвечивает» во многих ее произведениях. Неизменно писала она о той правде, которую знала. Видела горечь, боль, человеческую беду. И одновременно верила в неистребимую силу жизни.

Обстоятельства рождения, детства, семейное окружение—все эти факторы дают ключ для понимания истоков ее творчества.

Писательница родилась в феврале 1900 года в городке Меррей в штате Айова. Средний Запад, где прошли ее ранние годы, стал и духовным родником, питавшим ее, и «площадкой», на которой разворачивалось действие многих ее произведений. В семье Лесюэр были прочны традиции радикализма и свободолюбия. Позднее Лесюэр написала о своих родителях в книге «Борцы» как о «смелых вожаках в борьбе народа за свободу, мир и справедливость».

Предки Лесюэр по материнской линии были аболиционистами. Мать писательницы, Мариан Уортон, рано вышла замуж за священника, человека сурового и деспотичного; в 1910 году она с тремя детьми покинула мужа, будучи не в силах примириться с домостроем. До глубокой старости она

оставалась феминисткой, поборницей женского равноправия, активной социалисткой. Она организовала издание так называемых «голубых книжек», учебного пособия, содержавшего цитаты из Маркса, таких идеологов американской демократии, как Томас Джефферсон и Томас Пейн; эти малоформатные книжечки, которые можно было уместить в карман комбинезона, пользовались огромной популярностью у рабочих и распространялись в миллионах экземпляров по всей стране. Из-за своей деятельности ей постоянно приходилось подвергаться угрозам, кочевать с места на место. Во время работы в Народном колледже в Канзасе Мариан познакомилась и вышла замуж за Артура Лесюэра. Он был адвокатом, социалистом, бойцом по натуре: супругов соединяли любовь, общее дело и радикальные убеждения.

Впоследствии Лесюэр вспоминала, что родители «были простыми солдатами огромной армии подвижников, проявлявших беспримерную стойкость. Они вели борьбу с королями, захватившими власть в нашей бескрайней молодой империи. Они примыкали на своем веку ко многим прогрессивным движениям и никогда не теряли веру в свое дело». Юная Меридел росла в атмосфере жарких политических дискуссий, среди ранних впечатлений, оставивших неизгладимый след, были встречи со знаменитой Элен Келлер (1880—1968), слепой и глухой писательницей, пацифисткой и борцом за социальные реформы; с Юджином Дебсом (1855—1926), любимым миллионами американцев лидером социалистического движения, человеком редкой доброты и великодушия; с Эллой Рив Блур («матушкой Блур») (1862—1951), одним из славных рабочих вожakov. Встречалась она и с деятелями ИРМ (Индустриальные рабочие мира), боевой пролетарской организацией, имевшей крепкие позиции на Среднем Западе. У ИРМ были свои поэты, журналисты, художники; самым знаменитым среди них был легендарный Джо Хилл, «менестрель рабочего класса». По словам ее биографа Элин Хеджес, в эстетической концепции Лесюэр с самого начала важную роль играл «ирмовский идеал писателя-рабочего, убежденного в том, что художник слова обязан быть революционером и активистом».

Но не только социальные идеи воодушевляли будущую писательницу. С ранних лет ее отличает особое эмоциональное, поэтическое восприятие действительности, и окружающих людей, и родной земли. Для нее она была пропитана народными легендами, дышала ароматом истории. «Я была зачата, когда буйствовало лето, свет луны и звезд питал мои подземные корни... Материнская грудь и грудь прерии мерно укачивали, кривизной своей вписаны в квадрат комнаты...— писала она в очерке «Коренные и пришлые».— Прижимаясь друг к другу в этом индейском краю затяжной зимы, мы

учились лучше видеть и понимать... часто валил снег, деревни исчезали под сугробами — не разглядишь, не подступишься... Но в который раз возрождалась, набиралась сил прерия, древняя земля, освящаемая индейскими ритуалами на протяжении тысячелетий, это яблоко раздора двух Америк, она кормила и учила уму-разуму». Лирико-романтическая стихия — важный элемент стилистики Лесюэр.

К моменту окончания школы в 1916 году Лесюэр уже пришлось изведать остракизм, которому ее подвергали как дочь известных социалистов, а затем, как и многим американцам, выйти на самостоятельную дорогу, начавшуюся с довольно длительной полосы скитаний, поисков работы и своего места в жизни. Мы встречаем ее в Чикаго, где она увлекается танцем и физической культурой: потом в Нью-Йорке, в Академии драматического искусства, где она занимается под руководством знаменитого Дэвида Беласко и даже исполняет небольшую роль в уайльдовском «Веере леди Уиндермир»; в Голливуде, где она оказывается на «рынке живого товара» и зарабатывает на жизнь, то снимаясь в массовках, то служа официанткой; наконец, в Сан-Франциско, где без особого успеха пробует свои силы в маленьком театрике.

Послевоенное десятилетие было тяжелой полосой для Лесюэр. Первую мировую войну она восприняла как «великую страшную драму». Как и многие радикально настроенные американцы, она тяжело пережила трагедию Сакко и Ванцетти, в кампании за спасение которых она приняла участие. «Все рухнуло, — писала она. — Я потерпела неудачу в театре. У меня не было ни денег, ни работы»¹.

Подобно немалому числу своих соотечественников-литераторов, она начинала с газетных публикаций, печаталась в 20-е годы в левых изданиях, газете «Уоркер», органе Компартии США, рецензировала книги на страницах сан-францисской газеты «Колл». В 1927 году состоялся ее писательский дебют: появляется первый рассказ Лесюэр «Персефона», замысел которого довольно долго вынашивался.

В основе рассказа — весьма прозрачная ассоциация с древним мифом о Деметре, богине плодородия, и ее дочери Персефоне, которую похитил и взял в жены бог подземного царства Аид. Возвращаясь время от времени из мрака на землю, Персефона приносит матери безмерную радость; именно в эту пору начинают плодоносить поля, распускаться цветы. Деметра и Персефона станут в дальнейшем «ключевыми» образами творчества Лесюэр, его своеобразным лейтмотивом: Деметра олицетворяет неистребимую животворящую силу, Персефона — одиночество и неприкаянность ребенка, отторгнутого

¹ Le Sueur M. Ripening, p. 4.

от матери. В этой новелле, отразившей, по свидетельству Лесюэр, тяжелые воспоминания от столкновения с миром Голливуда, два главных образа, данных через восприятие рассказчика: фермерши Фреды, женщины, привыкшей к труду в поле, и ее дочери, снедаемой каким-то тяжелым, тайным недугом...

Автобиографичны и другие ранние рассказы Лесюэр. Героиня новеллы «Прачка» мисс Кретч — женщина, всю жизнь работавшая на чужих людей, склоняясь над корытом с грязным бельем; новелла «Наши отцы» — импрессионистический эскиз, в котором просвечивают образы предков Лесюэр по материнской линии, упрямых и неугомонных скитальцев; «Весенний рассказ» рисует смутное состояние юной девушки, почувствовавшей зарождение любовного чувства; в центре новеллы «Ветер» — сложные ощущения женщины в первые месяцы замужества.

Завершает группу ранних новелл Лесюэр «Благовещение», рассказ, посвященный первенцу писательницы, дочери Рейчел. Проникновенно и тонко передала Лесюэр, вообще чуткая к движениям женской души, чувства героини, ждущей ребенка. При этом своеобразной поэтической параллелью к образу героини выступает сад и набирающее силы цветущее грушевое дерево. В этих новеллах, отразивших несогласие писательницы с жесткими пуританскими постулатами, столь прочными среди ее окружения, Лесюэр достаточно откровенно изображает чувственную природу своих героинь: в этом, по мнению ряда критиков, сказалось влияние Шервуда Андерсона, а отчасти и Д.-Г. Лоуренса.

Уже в 20-е годы проявились в ее манере некоторые отчетливые приметы «женской прозы»: известная импрессионистичность, лиризм, взволнованная интонация, склонность к символизму. И конечно, пристальное внимание к миру женской души. При этом в ранних произведениях ее героини обрисовываются лишь в психологическом плане, вне общественного контекста. Порой писательница стремится оспорить столь традиционный «мужской приоритет», показать нравственное превосходство женщин, их особую способность к доброте и самопожертвованию. Об этом говорит и финал романа «Женщина». Социальная проблематика властно вторгнется в ее творчество в 30-е годы. Именно они обозначат новый этап, принципиально важный, в ее художественных исканиях.

Для американской культуры время от кризиса 1929 года до начала второй мировой войны — эпоха драматическая, неповторимая. Эти годы называют «голодными», «бурными», «грозовыми», но чаще и наверно справедливей всего, «красными тридцатыми». Революционный отсвет озарил многие произведения тех лет. Кризис и последовавшая за ним депрессия

кровно затронули миллионы американцев. Они бедствовали и бастовали. Шли в рядах участников «голодных походов». Непрерывно пополняли собой огромную армию безработных.

В это десятилетие, называемое «политическим», многие мастера культуры осознали свою «причастность», «ангажированность», повернули «влево». В марксизме они увидели ключ не только к познанию, но и к изменению мира в духе социальной справедливости. Как заметил Хэлфорд Лаккок, критик, чуждый марксизму, автор одной из первых работ, посвященных искусству 30-х годов, «в это время интерес переместился от Фрейда к Марксу. В прозе, драме, поэзии внимание переключилось с психологии индивида на судьбу масс, испытывающих воздействие экономических сил»¹.

Первые писатели по велению души идут на заводы, фермы. Знакомятся с трудом пролетариев, сельхозработных, делом людей «дна», безработных. Литература обогащается не только новыми темами, но формами и средствами художественной выразительности. В ней усиливается документально-публицистическое начало, а социально-критические мотивы обнажаются с невиданной до того резкостью. Важнейшие сферы, касающиеся судьбы миллионов обездоленных американцев, впервые становятся объектом полноправного эстетического внимания. Когда Колдуэлл отправился в поездку по южным, «хлопковым штатам», описанную в очерковой книге «Некоторые американцы» (1935), он свидетельствовал о потрясении, вызванном зрелищем «другой Америки», «другой нации». Это пережили многие писатели. Происходило, употребляя выражение Майкла Голда, критика-коммуниста, ветерана пролетарской литературы, «второе открытие Америки».

Этот процесс по-своему преломился и в творчестве Лесюэр. Он был связан с дальнейшей разработкой и углублением «женской темы», неизменно игравшей важную роль в словесном искусстве Америки. В обогащение «феминистской» проблематики, естественно трансформировавшейся на разных исторических этапах, особо весомый вклад вносили писательницы. В немногих национальных литературах найдется столь блистательное созвездие имен представительниц «слабого пола», художников слова, трудившихся в самых разных жанрах. Не случайно в США выпускаются специальные справочники, посвященные писательницам-женщинам.

Конечно, феминистская тематика многообразна: это положение женщин в семье, на службе, в общественной сфере, отношения между полами. Это также изображения выступлений женщин против разных видов дискриминации и ущемлений, будь то супружество, производственная область, оплата

¹ Luccock Halford. American Mirror. N.Y., 1940, p. 35.

за труд¹. Были здесь разные подходы: и попытки преподнести женскую тему с позиций массовой литературы, муссируя сексуально-эротические мотивы; и абсолютизация биологических особенностей женщин; и инвективы в адрес «мужского превосходства». Но, как подчеркивала в своих воспоминаниях Клара Цеткин, «Ленин со всей решительностью отвергал феминистские тенденции, вовлекающие женщин, стремящихся к свободе, на ложный путь борьбы между полами»².

Что касается серьезных писателей-реалистов, то «женскую тему», при всей ее сложности и многоаспектности, они воспринимали в ее социально-исторической обусловленности. Эту связь в начале века подчеркнули громкие выступления суфражисток, поборников женского равноправия, заявлявших о своих требованиях в резких, порой даже экстравагантных формах, вплоть до открытой конфронтации с полицией и правосудием. Очень важным фактом стало включение широких масс женщин в производство, усиление их роли в общественной жизни. Этот процесс, например, уловил Синклер Льюис, художник, вообще, чуткий к социальным переменам в жизни страны. В раннем романе «Работа» (1917) он одним из первых создал образ «средней американки» Уны Голден, девушки в белом воротничке, клерка, подавленного отупляющей канцелярской рутинной. Героиня другого его романа, «Главной улицы» (1920), Кэрол Кенникотт, задыхающаяся в условиях провинциального захолустья, воодушевлена идеей общественного блага. Еще сильнее общественные интересы выражены в Энн Виккерс (из одноименного романа Льюиса, появившегося в 1933 году), отдающей силы тому, чтобы реформировать тюремную систему.

В 30-е годы феминизм обрел новые грани. Кризис и депрессия с особой безжалостностью ударили по «слабому полу». Среди безработных оказалось более трех миллионов женщин. Их участь была особенно тяжела и горька. Именно они стали героинями произведений Лесюэр: не эстетизированные голливудские кинодивы, вовлеченные в круговорот любовных интриг; не домовитые и добродетельные домохозяйки, персонажи массовых иллюстрированных «журналов для женщин»; не «роковые» героини бестселлеров, замешанных на развлекательном мелодраматизме и сексе. В рассказах и очерках Лесюэр читателям открывались «другие» американки: женщины с потухшими глазами и натруженными руками; рано постаревшие; стоящие в очередях за бесплатным супом; дежурящие, утратив надежду, на биржах труда; озабоченные

¹ См.: Дэвис Анджела. Женщины, раса, класс. М., Прогресс, 1987.

² Цеткин Клара. Заветы Ленина женщинам всего мира. М., Политиздат, 1974, с. 6.

тем, как накормить изголодавшихся детей; идущие на панель из-за нужды; марширующие в рядах безработных; ночующие в старых заброшенных домах. Они и были теми, кого президент Рузвельт назвал как-то «забытыми людьми».

Меридел Лесюэр вносит в женскую тему свои краски. Сознание того, что она участник коллективных усилий, устремленных к достижению революционных целей, служило для нее источником вдохновения. По словам Э. Хеджес, в эти годы, отмеченные душевным подъемом, «ее надежды, как и надежды многих, были связаны с коммунистической партией, с целями рабочего класса». Компартия уделяла специальное внимание женскому вопросу, освещала его в своих изданиях, способствовала сплочению женщин и консолидации их сил в рядах рабочего движения.

И в этом плане Лесюэр не была одинока. В пору «красного десятилетия» творила большая группа писательниц, связанных с левым движением: Джозефина Хербст и Агнес Смедли, Грейс Лампкин и Мери Хитон Ворс, Мэриэль Риксизер и Джозефина Джонсон, Майра Пейдж и Женевиэв Тэггард. Позднее Лесюэр вспоминала, что это было «отличное время для литераторов-женщин и для писателей вообще».

Именно в эти годы в свете нового революционного опыта своеобразно преломилась в американской литературе горьковская тема материнства. К революционной правде приходит и драйзеровская Эрнита из одноименной повести, и Мери Роджерс из романа Агнес Смедли «Дочь земли» (1929), родившаяся в бедной горняцкой семье, сблизившаяся с социалистами, ставшая в ряды противников войны. Благословляет своих сыновей-коммунистов на борьбу и старая негритянка Сью из знаменитой новеллы Райта «Утренняя звезда» (1938). Впечатляющие образы матерей-тружениц создают Майкл Голд в «Еврейской бедноте» (1930) и Роберт Кентуэлл в «Обездоленных» (1934). Поистине монументальная фигура Ма Джоуд из «Гроздьев гнева» Стейнбека, с ее трудолюбием, добротой, заботливостью, становится одной из самых вдохновенных художественных достижений «красного десятилетия».

В эти годы Лесюэр пишет статьи, репортажи, очерки, завершает роман «Женщина». Она принимает участие в деятельности клубов Джона Рида. Выходцы из трудовой среды, испытавшие живую тягу к художественной деятельности, писатели, художники, театральные деятели, группировались вокруг клубов. Лесюэр печатается в одном из органов этих клубов журнале «Энвил» («Наковальня»), руководимом Джеком Конроем; состоит членом редколлегии известного левого еженедельника «Нью Мэссиз». Много ездит по стране. В 1935 году Лесюэр — делегат ставшего памятной вехой Первого конгресса Лиги американских писателей, на нем впервые в

истории страны собрались мастера слова, чтобы обсудить проблемы, политические и профессиональные. На конгрессе громко прозвучали голоса литераторов, призывавших к укреплению контактов с людьми труда, приведенными в движение революционным процессом. Однако Лесюэр раздражали те догматически мыслявшие левые критики, которые произносили «пространные идеологические речи», превращая тем самым марксизм в «нечто бюрократическое и дегуманизированное». Писательницу интересовали не отвлеченные теории, а живые люди со сложными чувствами и непростыми судьбами. В помощь клубам Джона Рида Лесюэр издает брошюру «Рабочие писатели», в 80-х годах переизданную. В ней она осудила литераторов, источающих каждодневно «яд пессимизма и антигуманизма».

В духе эстетики 30-х годов Лесюэр обращалась к своей аудитории: «Слово, подобно плугу, игле, веретену, является инструментом. Из всех материалов, с которыми работает человек, инструмент слова в наибольшей степени является социальным». Она настоятельно советовала писателям из рабочих, не получившим специальной литературной подготовки, проявлять упорство, научиться обращаться со словом с таким же искусством, какое отличает их рабочий профессионализм. Ее идеал — художник слова, нашедший дорогу к широкой аудитории, одушевленный идеалом социального прогресса. Для нее это не было расхожим, модным для тех лет газетным лозунгом.

Эти соображения уточнены в ее программной статье «Фетишизация позиции постороннего» (1934), напечатанной в «Нью Мэссиз». В ней Лесюэр комментирует то, что называет «коллективистским мироощущением». Время «посторонних» литераторов прошло. Писателю трудно творить без веры в революционное обновление общества. Он призван созидать «свет», вырывая его из «хаотического мрака». Писать о судьбе народной в духе «безжалостной реальности, очищенной от всякой романтизации». Но это отнюдь не означает плоского, натуралистического копирования жизни. Социальная проблематика может быть воплощена разнообразными художественными средствами, в том числе языком метафор и символов. В те годы это звучало достаточно смело.

Обращаясь к репортажу, жанру боевому, оперативному, получившему столь интенсивное развитие в послекризисное десятилетие, Лесюэр оспаривает концепцию мнимой объективности, холодной фактографии, отстаиваемой буржуазными газетчиками. Для нее статистика этих лет, относящаяся к числу бастующих, безработных, голодных, — это не абстракция, а неизменно осознание конкретных человеческих драм. «В этой борьбе я не был просто беспристрастным наблюдателем», — писал Джон Рид в предисловии к «Десяти дням». Эта

мысль была близка левым публицистам «красной декады», творившим в «ридовском» ключе.

В одном из лучших своих репортажей «Я шагала в ногу» о крупной забастовке в Миннеаполисе в 1934 году Лесюэр, работавшая в стачечной столовой, описывает происходящее не «со стороны», а «изнутри», она словно бы погружена в гущу событий. Ее репортаж — не просто точное сообщение о событиях. Это как бы автопортрет и самого «ангажированного» художника, начинающего многое пересматривать в себе. Работая в столовой, проникаясь волнениями и чувствами стачечников, она убеждается: «Настоящее дело только начинается с его настоящей сущью». И далее: «Я чувствую, что все мои прежние ощущения основываются на ощущении своей обособленности и отличия от других, а теперь я остро воспринимаю лица, тела, близость, и мой собственный страх — не только мой, и мои надежды — не только мои».

Подобное признание — не единичное у Лесюэр. Это — важная черта ее жизненной философии, объясняющая особую личную окраску ее репортажей и рассказов. Герой-рассказчик причастен к событиям, к переживаниям героев, одушевлен «коллективистским мироощущением»! Такова была примета литературной эпохи «красного десятилетия», о которой писал критик Малкольм Каули: «В это время говорили не «я», а «мы», не «мое», а «наше».

«Эффект присутствия» в лучших репортажах и очерках Лесюэр позволяет читателю не только узнать о событиях, но, сопереживая, понять их смысл. Именно о такой функции репортажа, как «формы искусства и борьбы», говорили некоторые ораторы на Первом конгрессе Лиги американских писателей. Написанный в разгар депрессии очерк «Женщины без надежды» Лесюэр начинает такими словами: «Я сижу в бесплатном городском бюро по трудоустройству. В женской секции. Мы тут уже четыре часа. Сидим здесь ежедневно, ждем работы. Но работы нет».

Очерк — документ большой силы. Безработным женщинам помимо голода и физических лишений приходится испытывать особо острое чувство стыда, ощущение своего бесправия и униженности. В «стране изобилия», где истребляются излишки продуктов, миллионы недоедают и физически истощены. Беда обрушилась на многих: и на молодую мать, и на девушку, работавшую на ферме, и на учительницу (очерк «Голодные женщины»); в Миннесоте, пораженной засухой, нечем кормить домашних животных (очерк «Коровы и лошади голодны»).

Но Лесюэр видит не только деморализацию и отчаяние (хотя некоторые критики упрекали ее в «пораженческих» настроениях). Она улавливает обнадеживающую тональность в умонастроениях людей; женщины из беднейших слоев,

далекие от политики, озабоченные, казалось бы, исключительно хлебом насущным, пробуждаются к общественной активности, помогают тому, чтобы фашизм «не прошел». Все громче требуют «хлеба и мира» (очерк «Женщины многое знают»).

Еще в 1930 году в своем дневнике Лесюэр делает такую запись: «Мы сброшены в бездну страданий. Мы не поймем самих себя до тех пор, пока не испытаем страдания... В радости я знаю только себя, в страданиях познаю других... Счастье нас разделяет... Горе нас объединяет»¹. Позднее в очерке, посвященном Элле Рив Блур, видной деятельнице компартии, высказана такая важная для Лесюэр мысль: боль и страдания являются орудиями в классовой борьбе, тем материалом, из которого может родиться «великая песня». Как не вспомнить здесь мысль немецкого философа М. Экхарта, безусловно близкую писательнице: «Страдание — это то, что быстрейшим образом доведет нас до совершенства».

Эти очерки Лесюэр — своеобразный пролог к наиболее значительному полотну 30-х годов, роману «Женщина». Он вырос из богатого документального материала, записей рассказов и горьких исповедей многих женщин, терпевших бедствие в те годы. Лесюэр по-своему участвует в создании того, что позднее социологи и историки станут называть «устной историей» эпохи, составленной из свидетельств простых, малоизвестных участников событий. Позднее этот метод стал использовать и известный публицист и документалист Стадс Теркел, например, в книге «Тяжелые времена» (1970), в которой собраны воспоминания тех, кто прошел через суровые испытания «великой депрессии» 1930-х годов.

Стилистику романа Лесюэр во многом объясняет такое ее признание: «Я училась языку у фермеров и рабочих. Это была подлинно поэтическая, лирическая живая речь, которую мне доводилось слышать на улицах, на базарах, на фермах, в церкви, на митинге радикалов»². Точно воспроизведенные эпизоды, слова, просторечные выражения, интонации, бытовые детали обогащались писательским воображением. По свидетельству Лесюэр, книга была задумана как своеобразный художественный памятник женщинам, вынесшим особые страдания в годы кризиса. Однако роман, завершённый в рукописном виде к 1939 году, был отклонен издателями и пролежал в архиве писательницы почти сорок лет. Ей удалось опубликовать лишь фрагмент «Одинокая девушка из прерий» в журнале «Нью каревен» (1945). В полном виде книга увидела свет лишь в 1978 году в небольшом издательстве «Уэст энд пресс» в Кембридже.

¹ Le Sueur M. Ripening, p. 11.

² Daily World, 11 Decembre, 1984, p. 90.

Роман выстроен как трагический, исповедальный монолог героини, имя которой так и не названо. Ее «безымянность» — многозначительна, судьба — типична, она — одна из многих девушек, кого нужда и отчаяние погнали из провинции в трущобы большого города. События окрашены ее субъективным восприятием, они развернуты не как неторопливый и последовательный рассказ, а даются в виде «кадров», цепи картин, сцен, эпизодов, иногда импрессионистически зыбких, проходящих как «образы памяти». В романе, отмеченном несомненной психологической достоверностью, немного описаний, зато велик удельный вес «диалогических партий». Героиня — наивная, простая девушка, поэтому в ее рассказе столь большое место занимают реплики, слова ее собеседников, детали, может быть, малозначительные, но важные с ее точки зрения.

В романе удачно передана специфическая атмосфера городского «дна» и его обитателей, людей, вынужденных из-за кризиса существовать на жалкие подачки безработным, прозябать, пребывать у самого подножия социальной пирамиды. Этот слой привлекал к себе пристальное внимание в литературе 30-х годов; свидетельство тому — знаменитая трилогия Джеймса Фаррела о Стадсе Лонигане. Лесюэр дает как бы «женский» вариант этой острой для тех лет темы.

Перед нами своеобразный микромир «другой Америки» — салун «Немецкий дворик», где трудятся несколько женщин и куда забредают их деклассированные, промышленяющие чем попало дружки. За плечами у героини — тяжелое детство в многодетной семье, нужда, мрачные воспоминания о грубости, ожесточении, постоянных конфликтах между родителями, ранняя смерть отца. Один из немногих светлых моментов в прошлом — тот день, когда мать достала барашка и они, дети, постоянно голодные, наелись ароматного, вкусного мяса. И еще ей посчастливилось: приехав в город, героиня устроилась официанткой. Но и здесь судьба обошлась с ней сурово.

Столкновение девушки, бедной, одинокой и неопытной, с миром жестокости — это тема, интересовавшая писательницу, начиная с ранних рассказов. В романе она получает дальнейшее развитие. Начав работать в салуне, героиня, в отличие от своей подружки Клары, ищущей «клиентов» на улице, находит в себе силы не пойти по этому пути. Все ее чувства и мысли сосредоточены на Буче, бесшабашном, обаятельном, сброшенном безработицей на «дно». Они мечтают пожениться, иметь ребенка. Цель Буча — стать хозяином бензоколонки. Но сколь безжалостно общество, если для реализации столь скромного намерения нет иного выхода, кроме как идти на преступление.

Именно любовь к Бучу, привязанность, объясняемая тоской и одиночеством, толкают героиню на соучастие в преступлении— ограбление банка, во время которого Буч оказывается жертвой вероломства своих сообщников. Все это передано в романе с захватывающим драматизмом. Буч и героиня—отнюдь не преступники, они предстают как жертвы общества, отнявшего у них право жить по-человечески. А ведь героиня не лишена и мужества, и самоотверженности, когда после неудачного налета на банк пытается спасти Буча, тяжело раненного увозит его от погони, ухаживает за ним до самого его последнего вздоха.

Кажется, мрачные краски предельно сгущены. Женщины в романе—люди обездоленные, отчаявшиеся. Все они, в том числе и героиня, ждущая ребенка, перебиваются на унижительные благотворительные вспомоществования. Горек их удел: убит Хойнк, муж Беллы, которая не может смириться с этой утратой, мать Буча пребывает в тихом помешательстве, Клара, физически и духовно сломленная, умирает. Однако в романе, достаточно мрачном, но небезысходном, пробивается жизнеутверждающая нота. Писательница верит в доброту, не угасшую в душах людей, с которыми жизнь обошлась столь немилостиво. Общее горе сплывает их. Оби-тательницы полузаброшенного дома делятся последним, поддерживают друг друга душевно и в меру своих слабых сил.

Так возникает в романе столь значительный для писательницы мотив женской солидарности, обретающий не только психологическую, но и социальную направленность. «За все надо бороться,—эти слова вложены в уста Амелии, жены погибшего профсоюзного деятеля, коммуниста.—Нельзя стараться только для себя. Надо для всех стараться. Надо быть вместе со всеми... У всех у нас один и тот же враг... одна и та же мать нас опекает».

Сколько раз этот мотив как эхо повторялся в произведениях «красного десятилетия». «Помогать надо, такая уж у человека потребность»,—говорит стейнбековская Ма Джоуд. «Человеку в одиночку жить не годится»,—вторит ей ее сын Том. «Человек один не может ни черта»,—вырывается из уст умирающего хемингуэевского Гарри Моргана.

Психологически тонко, избегая «лобовой» тенденциозности—чем грешили иные произведения пролетарской литературы,—проследивает Лесюэр, как постепенно, трудно постигает героиня новые для нее истины. С вниманием и волнением прислушивается она к Амелии, рассказывающей ей о Сакко и Ванцетти, других мучениках рабочего движения, о своем муже, который «не был бы мужчиной, если бы не вышел на борьбу с другими вместе». Для героини уже ясно, что Буч «не

в ту игру играл». Вместе с другими женщинами она чувствует, что спасение — в совместных действиях, в рамках Рабочего альянса.

И это начавшееся социальное прозрение героини соединяется в заключительных главах романа с обретением ею человеческого счастья материнства, с рождением ребенка. Подобный прием как-то «заштамповался» в литературе, но у Лесюэр он кажется достаточно органичным. Финал книги — «открыт», не поставлена точка в судьбе героини, она — на пороге какого-то нового жизненного этапа.

Своеобразным творческим итогом Лесюэр в 30-е годы стал ее сборник «Привет весне» (1940), тепло встреченный левой критикой; его составили более десятка новелл, очерков, этюдов, ранее печатавшихся в периодике. В сборнике действовали герои, во многом привычные для писательницы, — фермеры, рабочие, интеллигенты, представители трудовых профессий, бастующие, безработные, живущие на жалкое пособие... Сборник еще раз показал, что Лесюэр тяготеет к психологической зарисовке в большей мере, чем к остроумной новелле, что ее стихия — интонация лирическая, иногда романтически приподнятая, связанная с передачей настроений (в таких новеллах, как «Голодающий интеллигент», «Девушка», «Биография моей дочери» и др.). Отзываясь на выход сборника, Синклер Льюис писал: «Его отличают красота художественного выражения, рельефно выписанные характеры и оригинальность». По словам Нельсона Олгрена, известного писателя, автора популярных романов из жизни «людей дна» «Некто в сапогах» и «Человек с золотой рукой», Лесюэр предстает в этом сборнике как «представитель очень немногих революционных писателей, соединяющих впечатляющий реализм с глубоким чувством прекрасного».

...Наступают 40-е годы. Своим творчеством писательница включается в антифашистскую борьбу. Ее очерк «Помынем павших» посвящен последним часам американского солдата, умирающего на одном из затерянных тихоокеанских островов, уходящего из жизни с верой в солидарность людей труда. В эти годы Лесюэр, выступая в новом качестве как историк и этнограф, пишет оригинальную по форме книгу: «Страна Северной звезды» (1945)¹, очерк посвященный ее «малой родине», штатам Миннесота, Иллинойс, Дакота, начиная с эпохи первых пионеров, кончая современностью. В этой книге, вдохновленной любовью к родной земле, легенды, забавные истории и эпизоды, зарисовки отважных фронтир-

¹ Le Sueur Meridel. North Star Country. N.Y., 1945.

сменов, землепроходцев, охотников и рудоискателей чередуются с обзорами политических событий, сотрясавших этот край, один из очагов американской демократии, известный радикальными традициями, помнящий о боевитости ирмовцев, о Джо Хилле и Билле Хейвуде...

А потом приходит пора маккартизма и «холодной войны», рубеж 40—50-х годов. «Время темноты», если употребить выражение самой Лесюэр, вынесенное в качестве заголовка одного из ее очерков. В нем возникает образ скорого поезда, среди пассажиров которого немало солдат-отпускников. Иногда на маленьких полустанках состав останавливается, плачущие женщины встречают гроб. Впечатляющая, исполненная мрачной символики сцена: над страной висит тень корейской войны...

В эти годы Лесюэр, как и многие радикалы 30-х годов, подвергается репрессиям: за ней следит ФБР, ее переписка вскрывается, телефон прослушивается, слушатели ее литературных курсов «рассасываются». Имя писательницы занесено в «черные списки», и перед ней закрываются двери большинства издательств и журналов. Ее публикуют лишь левые журналы «Мейнстрим», «Мэссиз энд Мейнстрим»; в пору гонений на компартию она публикует стихи, посвященные видным руководителям американских коммунистов, У.-З. Фостеру и Элизабет Гарли Флинн, ставшим жертвами маккартистских гонений.

Один из ее лучших очерков в послевоенные годы — «Опустошенная женщина» (1948) — это голос не только в защиту человека, но и природы, безжалостно ограбленной компаниями, для которых цинк, убивающий людей и отравляющий землю, — источник прибыли. Образ героини, женщины-пролетарки, несущей зримые физические и нравственные раны, история ее жизни, многотрудной и неотторжимой от борьбы, жестокой, порой бескомпромиссной, между трудом и капиталом — все это исполнено обобщающей силы. Как и всегда, у Лесюэр повествование окрашено живым чувством «причастности», мы читаем в авторском комментарии: «Я не спала и думала о том, какие потери несет человек из-за равнодушия и бессердечия каждого из нас, о бесчисленных неродившихся детях, о многоликих темных страхах и печалях, которые мучают их, как меня, и заперты в бездонных глубинах американской жизни».

Да, когда Лесюэр пишет о труде и лишениях, это для нее личное. В эти годы она зарабатывает, трудясь то официанткой, то сиделкой. Возвращаясь домой усталой, обливает голову холодной водой, чтобы сбить сон и сесть на всю ночь за письменный стол. А в свободное время она много ездит по стране, в основном автобусами. Она как-то замечает, что «е

поэзия рождается на автобусных станциях». Об одной из таких поездок на родину Линкольна в город Элизабеттаун рассказывает ее очерк «Легенда о пустынной дороге», в центре которого выписанный с симпатией образ простой женщины Нэнси Хенкс, матери великого президента. Чутко улавливает Лесюэр настроения своих соотечественников в пору «запуганных пятидесятых». Безымянный пассажир (в очерке «Американский автобус») признается писательнице: «В моем родном городе люди перестали общаться друг с другом. Прежде все мыслили в либеральном духе. Теперь об этом бояться и подумать». Что поддерживало Лесюэр в эти годы? Наверное, убеждение в гуманистической миссии писателя. Потребность быть «голосом» народа. Его «вдохновителем и руководителем», наделенным «теплом, добротой и мудростью».

На рубеже 40—50-х годов Лесюэр пишет серию книг для юношества: их герои Дэвид Крокетт, легендарный фронтирсмен, Джонни Эплсид, выдающийся садовод, Авраам Линкольн, великий президент, покончивший с рабством. Несмотря на кампанию травли автора, эти книги имели успех. Тогда же в пору «запуганных пятидесятых» создает она и очерк о своих родителях «Борцы» (1955), не только дань уважения памяти Мариан и Артура Лесюэров. Это было и напоминание о животворности демократической, прогрессивной традиции в стране, которую, по меткому выражению Лесюэр, разбил «паралич».

Наступают 60-е годы. Негритянское и антивоенное движение в стране набирает силу. Резко меняется общественный климат. И Лесюэр словно бы обретает второе дыхание. Начинается новая плодотворная полоса в ее творчестве. Происходит нечто неожиданное для писательницы, перешагнувшей рубеж шестидесятилетия: она называет это «созреванием», кристаллизацией своих взглядов и принципов.

С еще большей энергией она колесит по стране. Находит свое место и в манифестациях молодежи, и в рядах противников вьетнамской войны. Ратует за права индейского населения. Как и всегда, ее особое внимание — женскому движению. Лесюэр становится видной фигурой неофеминизма, женщины — та аудитория, к которой она обращается с горячим проникновенным словом. Большую радость ей, ветерану, доставляют встречи с молодежью, пробующей силы в литературном, художественном творчестве. Один из начинающих литераторов свидетельствует, обращаясь к Лесюэр: «Я всегда искал такие творческие образцы, которые помогали бы мне идти вперед; вот почему я вновь перечитываю ваши книги. Вы писали о женщинах, о цветных, о рабочих... И вы продолжали делать это, несмотря на то что вас подверга-

ли цензуре и заносили в черные списки. Вы подобны тем библейским изречениям, к которым я постоянно возвращаюсь»¹.

В 70—80-е годы общественная деятельность Лесюэр и других художников радикальных убеждений (Джек Конрой, Томас Макграт, Трумен Нельсон и др.), проведение и литературных конференций, публичных чтений, издание небольших альманахов и журналов, другие культурно-просветительные мероприятия, проводимые на Среднем Западе, содействовали тому, что этот регион вновь стал возрождаться как один из очагов народной, антимонополистической культуры США².

В 1981 году происходит важное событие в литературной жизни страны. Впервые после «красного десятилетия» американские писатели собрались на широкий форум. Он прошел под лозунгами защиты жизни от опасности ядерной смерти. Почетное право вступительного обращения к делегатам было предоставлено Меридел Лесюэр. Свою речь она назвала: «Наших книг ждет множество читателей». Вспомнив об уроках истории, о нелегкой участи литераторов левых убеждений, о заветах Толстого, звавшего своим искусством к единению людей, Лесюэр развернула в своей речи широкую гуманистическую программу: «Великие темы сказаний прошлого ждут своего воплощения в великой драматургии грядущего... Настало время великого форума, чтобы судьба мужчины и женщины слилась в одну судьбу, чтобы жить нам не в потемках торгашеского мира, но озаренными солидарностью всех народов нашей Земли, жить и праздновать торжество нашей силы, нашей красоты, нашего расцвета. Пусть угроза смерти и мук сегодня велика, но ей нас не остановить»³. Обращаясь к делегатам, она еще раз повторила слова Уолдо Фрэнка, произнесенные на Первом конгрессе: «Давайте жить в единстве, в союзе, давайте явим собой человеческое братство»⁴.

Этот призыв преломляется и в ее деятельности, и в ее творчестве — а пишет она много, выпускает статьи, новеллы, сборники стихов. Возвращается она к уже испытанной тематике, воссоздавая «устную историю» своих героев в книге «Прислушиваясь к разговорам людей. Рассказы ранних десятилетий» (1984). Но в целом ее почерк несколько меняется, трансформируются и ее художественные приемы. Она отходит от непосредственного вторжения в мир политической злободневности в жанре репортажа, тяготея теперь к фило-

¹ People's World, 1984, May 5.

² См.: Верю в человека. М., Радуга, 1986.

³ Там же, с. 127.

⁴ Там же, с. 128.

софским, историческим обобщениям. В поле ее зрения—и это, наверно, естественно для художника, умудренного огромным жизненным опытом,—«вечные», масштабные проблемы: смысл человеческого существования, роль женщины на земле, вечный процесс обновления мира, защита жизни новых поколений от термоядерной смерти. Ее выросшая из творчески освоенного индийского фольклора книга стихов «Древние ритуалы созревания» (1975)—это хвала вечному, необратимому процессу: рождение, смерть и новое возрождение. Внутренне сопряжена с ней и книга «Происхождение зерна» (1976), своеобразный поэтический трактат, синтез стихов с ритмизированной прозой. Сердцевина книги—один из «ключевых» для позднего творчества Лесюэр образ зерна, вырастающий в емкий и выразительный символ сгустка жизненной энергии, динамизма, обновления. Это—история культивации злаков за многие столетия, начиная с индейцев и первых поселенцев и вплоть до современности, история труда и борьбы, когда зерно являлось и источником жизни, и объектом наживы и в то же время олицетворяло движение человечества, его силу, способность к солидарности и любви, к противостоянию стихии разрушения. Мотив зерна неизменно сливался с другим «сквозным» для Лесюэр мотивом—материнства. Пафос поздних книг Лесюэр—непреодолимая ценность всего живого и жизненного на планете.

Думается, что в стихах последних лет—с их философичностью и оптимистическим настроем—Лесюэр по-своему продолжает уитменовскую традицию. Созвучны они и творческим устремлениям другого ее соотечественника и современника, также «уитменианца», Уолтера Лоуенфелса. Для Лесюэр творческий труд ощущается как живой элемент вечно-го процесса движения в природе. Она любит повторять: то, что останется у нее недописанным, «завершит кто-то другой».

Оценивая сделанное писательницей, думается, неверно видеть в ее романе, рассказах, очерках лишь «привязанность» к определенной среде, конкретной исторической эпохе. Есть в них и более общее значение, потому что доброта и сострадание всегда, во все времена необходимы людям. А проблемы, о которых она пишет, одиночество женщин, неприкаянность ребенка, оторванного от родителей, трудные искания девушки, вступающей в жизнь, горечь старости,—все они неизменно актуальны.

Любовь к людям для писательницы—не отвлеченный благозвучный теоретический лозунг, а живой нерв ее творчества, чувство, движущее ее пером, как справедливо считает Э. Хеджес: «В своих последних произведениях Лесюэр продолжает отстаивать свою упрямую веру в буду-

щее. Ее художественная аргументация начиная с эпохи 30-х годов претерпела трансформацию. Но ее вера в коллективистское мировоззрение, в солидарность людей из народа... эта вера и сегодня остается непоколебимой»¹.

Сама Меридел Лесюэр так определяет идейно-эстетическую программу, и свою собственную и, говоря шире — искусства, одушевленного передовыми, гуманистическими идеалами: «Мы должны вернуться к народу. Только народ дает жизнь нам и нашей культуре, только он трудом создает ценности, материальные и духовные. Никакое искусство не может развиваться, пока не проникнет в глубины народной жизни»².


Б. Гиленсон

¹ Ripening, p. 253.

² Daily World, 23 June, 1982, p. 16.

ЖЕНЩИНА
РОМАН

ПЕРЕВОД В. БОШНЯКА



THE GIRL

1978

О, кто даст голове моей воду и глазам моим — источник слез! Я плакал бы день и ночь о гибели дочерей народа моего.

Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет врача? Отчего не исцелятся дочери народа моего?

Великим поражением поражены они, тяжким ударом.

По всей земле стонут раненые.

Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены.

Земля стала пустынею из-за присутствия в ней притеснителя.

Боль дочерей народа моего — моя боль.

ИЕРЕМИЯ (в переложении)¹



Глава I

«Немецком дворике», где мне в те трудные времена посчастливилось найти работу, по субботам бывало самое пекло, а официантки всего две — Клара и я, и нам непрестанно приходилось бегать то на второй этаж (там в укромных комнатках подавалось запрещенное спиртное), то обратно к стойке. Мне мама когда-то говорила, что города — это Содом и Гоморра, там с тобой ужас что может случиться, и я поэтому чуть не все время ежилась от страха.

Мне повезло, что мы с Кларой после всех наших мытарств и поисков получили эту работу. А еще повезло, что Клара мне показала, как не попадаться на улицах агентам в штатском и полицейским матронам. Клара объяснила мне, что стоит им только попасться, и тебя пошлют на всякие тесты и анализы, а потом стерилизуют или отправят в женскую тюрьму. Мне нравилось разговаривать с Кларой обо всем этом, нравилась Клара, да и Белла тоже, которая со своим мужем Хойнком и его братом Эком распоряжалась в «Немецком дворике». Заведение вовсе не было немецким, но по вечерам туда заходило множество очень даже приличных людей выпить самогона, который варили Белла и Хойнк.

Клара мне рассказывала про то, что происходит на втором этаже, и я пугалась — мужчины, входившие из

¹ Иеремия, 9:1; 8:22; 14:17; 51:52; 8:20; 25:38; 8:21.

переулкa через чернyй ход и шедшие мимо стойки сразу наверх, страшили меня. Клара мне и про Ганца рассказала—того, кто привозил контрабандный спирт из Дакоты и платил полиции, чтобы нас не трогали. При одном его приближении у меня мороз пробежал по коже. И если Белла присылала меня отнести им пиво, Клара шла вместо меня, потому что она, мол, все их «финты» знает лучше и может запросто отбить на угловой, когда они распускают руки и гонят мяч за штрафную линию. Порой я даже слов ее не понимала. Ничего, учись, учись, говорила Клара.

— Ишь, как ты загорелась насчет этого Буча,— однажды поддела меня Клара.—Сегодня рано его не жди. По субботам они с Хойнком ходят в турецкую баню, глянец наводят. А ты давай-давай, мешай бигос,—добавила она,—и гляди в оба. Этот твой Буч опасная штука.

Бигос, который Белла подавала суббoтними вечерами, был ее знаменитым фирменным блюдом. Это такая тушеная смесь из телятины, курятины или другого какого-нибудь мяса, а также всевозможных овощей, а готовить бигос надо очень медленно, всю ночь и целый день, причем постепенно он приобретает такой аромат, что слышно даже на улице, и в окно начинают заглядывать кошки.

— Молодец,—похвалила меня Клара, когда я с четырьмя горшочками бигоса ловко протиснулась среди пьяных, но я все не сводила глаз с двери, откуда должен был появиться Буч, потому что, едва увидев его, я вся начинала светиться, словно фитиль, к которому поднесли огонь.

К Кларе я старалась держаться как можно ближе. Была в ней какая-то уверенность, будто она знает то, чего я никогда не узнаю. Благодаря ей пустота в моем сердце заполнялась, населялась людьми, вдобавок она верила в то, что и любовь, и все прочее придет к тому, кто ждет,—да, детка, ты получишь все, к чему полностью, вся устремилась, говорила она, если веришь и твердо стоишь на своем. Пока ты тут помешиваешь бигос, чтоб не пригорел, говорила Клара, глядишь, и подвернется тебе—ну, вот хоть тот богатый джентльмен, помнишь? или директор киносъемочной группы, или режиссер, которому как раз твоя мордашка позарез понадобилась, а если натурщицей, так это тоже неплохо.

— О, будет и на твоей улице праздник,—говаривала Клара.—Только бы правильный расклад вышел, и

найдется тебе хрустальный башмачок. Главное ушами не хлопай и будь с ними со всеми пайнкой.

А какая Клара была хорошенькая! Личико таким сердечком, и кожа белая-белая: перед сном она всякий раз мазала лицо кремом.

В ту субботу вечером у нас был самый наплыв. И все вокруг озаряла собою Белла. Должно быть, она когда-то была красавицей. А субботними вечерами она и теперь была прежней. Дородная, с рыжими крашеными волосами и белой кожей, а глаза подведены так, чтоб блестели, и ее смех слышался то на верхнем этаже, то внизу, и даже из той задней комнаты доносился, куда мужчины заходили через черный ход, совали деньги, клали бутылку в карман пальто и исчезали. А когда шла туда я, чтобы налить в бутылки, Эк всякий раз пытался меня облапить, но Клара показала мне, как увернуться и при этом никого не рассердить.

Любо было глядеть, как Белла у стойки встряхивает стакан с игральными костями, а поодаль, около кассы красуется брюхатая кошка Сюзибелли — разлеглась в просторном коробе, и тут же рядом пузатый горшок — банк, где полным-полно денег: делались ставки на то, сколько котят она принесет. Еще в одну кружку клали ставки на то, сколько будет котиков и сколько кошечек. Денег там было уже битком. Белла всю пикировалась с мужчинами. Никогда я ничего подобного не видала. Здорово это она — Клара вот тоже подтвердила бы, дескать, Белла обалденная тетка: и умная, и все у нее на месте, только вот пьет много. А я все смотрела, как мужчины хохочут, а Белла кокетливо им подыгрывает, и они то и дело пытаются запустить ей руку куда не следует или шлепнуть по заду.

Тут музыканты нашего немецкого оркестрика (самито все ирландцы) начали польку, с залихватским видом выстроившись перед разрисованным розочками сетчатым занавесом, за которым были клозеты с табличками «ФРИЦ» и «ФРАУ».

— Угадаешь, — сказал один из музыкантов, — ставлю шоколадку.

— Шоколадку! — выкрикнула Белла, — а слабо со мной чокнуться? Я, может, чокнутых люблю! — и весь бар так и грохнул, зафыркали, заорали во всю глотку: вот чертова баба, чокнутых любит, а! — и даже в отдельных кабинках люди привставали глянуть.

Амелия уже была на месте — она каждую субботу приходила вечером выпить пива, — с неразлучной своей

дерматиновой сумкой, где носила книжки, в которых было про все написано: что кругом делается и как каждый должен идти и помогать тем, кто без его помощи пропадает.

Кларе она сказала привет, а кто эта новая девушка, а Клара говорит:

— О, это вообще: деревня, девчонка нецелованная, боится собственной тени.

А Амелия и говорит, да так сердечно:

— Добро пожаловать, девочка,—а Клара смеется, мол, девочке мама сказала, что город место скверное, и там провалишься в ад.

— Сама-то я,—добавила Клара,—из Кливленда, штат Огайо, моя мама там осталась, а когда я поехала ее навестить—все: дом пустой, и мамы уже нету.

— Слушай, а давай к нам,—сказала Амелия.

— Это куда это?—поинтересовалась я.

— В Рабочий альянс,—сказала она.—Где все рабочие вместе, и никого не надо бояться.

— У моей мамы детей было восемь человек,—сказала Клара,—и четверых у нее отняли, а я сбежала туда, где сытнее и лучше.

Тут Белла кричит:

— Эй, отнеси вот нашей старушке пиво!

— Слушай,—вмешался Хойнк,—ведь я говорил тебе насчет листовок!

— А ты заткнись и оставь ее в покое, сатанинское отродье. У тебя свои дела, у нее свои. Ничего, Амелия, приходи сюда когда вздумается, тебе всегда местечко найдется. Потому что она понимает меня, понимает, что у всякого своя важность имеется.

— Конечно, каждый важен,—сказала Амелия, и я подумала, что она похожа на маму—тоже будто много носила тяжестей, и много повоевала, и многое претерпела.

— Ну ясное дело,—усмехнулась Клара.—Знание—сила, а кто рано встает, тому бог подает. Что у тебя там в твоей сумке, Амелия?

— Не тронь, тяжелая,—говорит Амелия.—Там литература.

— Пора бы и мне на чтение приналечь,—смеется Клара.

— А мне можно глянуть?—сказала я, вытягивая тоненькую брошюрку. Большими буквами на ней было написано: «Чтобы не голодать—объединяйтесь!»

Тут Белла кричит:

— Четыре наверх. Давай-давай, живо!

Я хотела еще порасспросить Амелию, но мой взгляд

опять привлекло облако холодного пара от распахнувшейся двери, и снова это пришел не Буч.

— Как ты думаешь,—крикнула я Кларе, когда мы пробегали друг мимо друга с кружками пива,—с ним ничего не случилось?

Та покачала головой со смехом, от которого ее маленький рот сделался как ротик голодного кролика. И, удаляясь, прокричала:

— Когда вестей нет—это тоже добрая весть. Появится твой обормот, кому он нужен!

Стало очень шумно и людно. Никогда я ничего подобного не видала. И все держалось на Белле, которая смеялась и покрикивала и не уставала метать кости. Вот она зовет меня:

— Тебя Ганц спрашивает. Хочет, чтобы ты принесла ему бигос.

— Не пойду,—сказала я.—Клара вот согласна вместо меня пойти.

— Да ну, деточка,—говорит Белла,—он ведь тебя спрашивает. Стало быть, глянулась ты ему.

Клара ткнула меня под ребра.

— Давай, малышка, иди.

— Я боюсь, я не люблю его.

— А тебе и не надо любить его,—говорит Белла.—Ведь он всем нам прикрытие дает. Он тебе может здорово подмаслить. Полиция-то нас только благодаря ему не трогает. Он может все тебе дать.

— Лучше бы он позвал меня,—сказала Клара.—Вижу, малышка, ты вся так и светишься, хоть бы скорей твой Буч в дверь вошел, но нужно ведь тебе и масла на кусок хлеба, и сливок в чашку кофе. А Буч, милая, кроме любви ничего тебе дать не может. Вот, детка, отнеси это Ганцу,—и она протянула мне горшочек бигоса.—Веселей гляди,—говорит,—выше голову. Бери пример с меня: всегда гляжу вперед, в будущее. Оно придет, и все будет здорово, все будет чудесно.

Тут Белла кричит:

— Глянь, может, ему еще что надо. А ты это брось, парень, брось, кому говорят!—и снова смешала кости. Неужто и я когда-нибудь так же запросто буду общаться с мужчинами, как Белла и Клара. Что они такое знают, чего не знаю я? Клара говорила, будто мужчины, бывает, даже стонут—до чего хотят. Дескать, она рада, что родилась женщиной—пусть теперь мужчины из-за нее стонут и дрожат мелкой дрожью. Еще она говорила, будто Билл, брат Буча, так за ней бегают, прямо ни о чем больше думать не может, спит и

видит. А когда пристает с поцелуями, то все, мол, стонет и дрожит. И мне сразу тоже захотелось заставить Буча стонать и дрожать, а потом утешить его.

Сама стараясь не дрожать и не расплескать бигос, я поднялась наверх, а Ганц уже тут как тут: сразу попытался меня облапить. Вместе с подносом я увернулась.

— Что, узнаешь меня?—сказал он.

— Нет, я вас не знаю,—сказала я,—знаю только, что вас зовут Ганц.

— Для начала сгодится,—буркнул он,—но не мешало бы тебе еще знать, что все это заведение в моих руках.—Я кивнула, и он принялся рассказывать мне, какой он крутой, как он однажды послал в нокаут самого Хогена по прозвищу Четвертый Раунд. Сказал, что он так изметелил Хогена, потому что разозлился, а когда он на кого-нибудь зол, то сам не знает, что делает, на него тогда удержу нет, а уж силы у него хватает. Еще сказал, что девушке совсем не повредит быть с ним полубезнее, потому что он очень добрый, когда добрый. Я сидела с ним рядом как на иголках.

Сию, смотрю на дверь, то и дело она открывается, и входит Клара, принося рюмки с самогоном, или салфетки, или еще что-нибудь; при этом заходила она, похоже, чаще, чем это требовалось. Она закатывала глаза и головой дергала, вроде как намекала на что-то, только я не могла понять, что все это должно значить.

Как мне хотелось поскорей увидеть, как войдут Буч и его брат Билл! Тотчас, наверное, вскочила бы и побежала вниз. Но и боялась его при этом тоже. А Клара говорила, что он и сам ко мне равнодушен. На вид он будто весь гладкий, как шелковый. Они оба с Биллом стройные, ловкие, небрежно так выступают, плечи широкие, а к бедрам прямо на нет сходят, и узкие затылки лоснятся, а Буч такой ладный и словно немножко сонный, как кот перед прыжком.

В зале у нас хохот стоял, шум, гомон. Мне вдруг странно стало, как в бреду: жарко, и пот в три ручья из под мышек, а дым такой, что еле сквозь него видно, и свет какой-то непонятный.

Тут у меня будто полыхнуло что-то перед глазами, и вижу, он входит в облаке пара и снимает шляпу с черной своей зализанной головы. Клара к нам сунулась, кивает, я вскочила и бегом в дверь, вниз по лестнице, и гляжу на него: лицо худощавое, удлиненное, прямо какой-то лис. Испугалась ужасно. Вижу и то с трудом. Трясусь вся с головы до ног. А он будто с

угрозой надвигается—глядит сверху вниз, и руки этак расставлены.

— Как дела, крошка,—кричит,—как сегодня у тебя, все в порядке?



Глава 2

ромчавшись мимо с пятью кружками пива, Клара крикнула:

— Ну, крошка, довольна? Явились не запылились—что Буч, что Билл, коты-скорохваты. Смотри, мое дело предупредить!

Буч расположился у стойки, и я старалась оставаться внизу, чтобы все время смотреть, глаз не спускать с него. Вот тогда-то я помимо воли и подслушала разговор Беллы и Хойнка, которые вышли за самым для позднего посетителя.

— Это надо еще поразмыслить,—говорила Белла.—Милый, слушай, нет, ты послушай, Хойнк, нам ведь еще не приходилось участвовать в таком крупном налете.

Хойнк говорит:

— Когда капкан захлопнулся, кролику что—до размышлений, что ли?

— Да ну, Хойнк, эту не трожь, наливай похуже... А что, удача еще имеется—глянь, как кости-то ложатся, прямо как по заказу!

— Конечно, мое золотце. Ну-ка, по маленькой. Кинь-ка их еще разок, только встряхни хорошенько. Тряханем! Тряханем их!

Буч ко мне наклонился, и я почувствовала себя будто перепелка на вертеле.

— Смотри, какие мускулы, беби, я работал в литейке, когда мне еще шестнадцати не было. Если бы не депрессия, был бы мне сейчас бригадиром. Меня и теперь бы взяли.

Он заставил меня пощупать его мускулы.

— Ого,—сказала я.

Тут мне пришлось бежать туда, где отдельные кабинки. Когда я вернулась еще за пятью кружками, он сказал, вылив из кружки в рот остатки бочкового пива:

— Держись за меня, беби, и я научу тебя всему. Научу тебя, как надо во всем побеждать. Соплюшка ты, тебе за мамину юбку еще держаться, а то подожди, объясню, как зашибать настоящие бабки...

Но ждать мне было некогда, меня уже опять вызывали. Только в зеркале маячил его затылок, словно лис в зарослях. Когда народу еще прибавилось, на подмогу ему вернулся Билл, а мы с Кларой то и дело встречались у пивного крана, и Клара кокетничала с Биллом.

— Можешь Билла спросить,— сказал Буч.— Он подтвердит тебе, что побеждать мне на роду написано.

— Сейчас он тебе лапши на уши навешает,— усмехнулся Билл.

— Главное — победить, главное — выиграть,— твердил Буч.

— Ясное дело,— проговорил Билл.— Победить — в этом основа, победа это все.

Голос Клары:

— Бойкий скачет, а смирный плачет.

А Билл говорит:

— Да что там бойкий, детка! Мы же такие парни — только держись. Нам побеждать на роду написано, правда, Буч?

— Конечно, нам побеждать на роду написано. Ты бы видела, как мы в бейсбол играем. Наш старик не разрешал нам по воскресеньям в бейсбол играть. А я, бывало, только махну битой, и мяч, как заговоренный, куда надо летит. Я вдогон ему — этак вроде молитвы — дескать, давай, родимый, не выдай!

— Мы еще деньги лопатой грести будем. Выйти бы только на простор. За дело взятыся.

— Держись за меня, детка, и они к нам сами повалятся. Крепкие мускулы и молитва, да еще с такой девушкой, как ты, — ведь меня же ничто не остановит! Ты поняла меня?

— И уж всего тогда добьетесь, чего надо, — это уже говорит Клара.

— Небось Клара знает, чего добиваться! — говорит Билл.

— Но чего же? — вырвалось у меня. — Чего? Чего?

— Ах ты святая наивность — чего! Да все той же самой победы, того чувства, которое с ней приходит, и чтоб хороший человек полюбил, — почти кричит на меня Клара, — человек, у которого во Флориде дом с плавательным бассейном. А в доме — ну, хотя бы две спальни.

— И девушка, которой это в охотку, — добавил Буч, погладив меня по руке, которой я подымала пивные кружки с шапками белой пены. — Э-э, полегче, — смеется, — всю прибыль расплескаешь. Вот мать у меня тоже такая — вообще с приветом.

— Нашел посмешище! — огрызнулась я.

— Нашел — не нашел, — Клара говорит, — главное, ты не теряй.

Каждый раз, когда я к ним подходила, Буч разглагольствовал.

— Механизмы — чудесная штука, — говорил он. — Я тебе не рассказывал, как собирал плуги? Ага, вот именно, сваркой — работа будьте нате: только что плуга не было, и вдруг у тебя в руках он готов уже, и такую гордость чувствуешь!

А в другой раз:

— Ага, — говорит, — вот именно, работал я на шахте, девятьсот футов вниз, и день там все равно что ночь.

Тут Билл ему вопрос:

— А ты бы мог ударить женщину?

Буч подмигнул мне и сказал:

— Я бы ей просто бровки этак приопустил пониже.

А Билл говорит:

— Нет, этого маловато, ее надо так отвалтузить, чтобы вся спесь вон выскочила!

— Ох уж мне эти мужчины, — сказала Белла, поглаживая Сюзибелли, которая стала вести себя как-то странно. — Небось опять рассказывают, какие они удалые красавцы? Не верь ни одному их слову.

Подошла Амелия, поглядела на Сюзибелли.

— Время ей пришло, — сказала она.

— Нет, ты на нее глянь только, — сказала Белла, приподняв кошку из короба, — экая артистка. Самый выбрала что ни на есть суматошный день из всей недели. Ладно, о'кей, детка, давай.

А Клара говорит:

— Смотрите, надо же. За кошками лучше уход, чем за людьми. Все-таки молоко по чашке в день. Помогите же ей, кто-нибудь!

— Это приходится каждому в одиночку делать, — сказала Белла, сажая Сюзи обратно в короб. Мне было видно, как кошка тужится, чтобы разрешиться. И вот уже вижу маленький белый мешочек и в нем свернувшегося котенка.

— Что понеслась уже? — Буч склонился над коробом. — Ну, Сюзи, выдай мне шесть, напрягись, шестерку дашь — тузом буду.

— Во, пошла, пошла, — закричали вокруг, и на моих глазах вновь посыпались ставки. — Семь против одиннадцати: пять мальчиков... А что, Белла, может угодишь за счет заведения? Все же не каждый день у вас тут роды.

Мне было видно, как Амелия перевернула первого

мокрого котенка на спинку и склонилась за следующим.

— Ну и ну,—сказал Буч,—она их прямо как из пулемета запузывает. Сама-то считает ли? Три, четыре, пять,—смеясь, просчитал он.

— Так женского ведь полу, вроде нас,—сказала Амелия.—Отца не знает, но делает все, чтобы они появились на свет целехонькими, здоровенькими и полными жизни. Свет ближе держите.

Все сгрудились вокруг, заглядывали в короб, свет чуть качался, а Буч, склонившись над стойкой, смеялся и считал, словно шла игра в кости.

— Вот, наконец-то: шесть, мое число, в самую точку, Сюзи.—Тут по толпе прошел вздох, кто-то вскрикнул, и восклицания: стойте, стойте, рано еще банк вскрывать, ведь явно же еще один будет, семь—счастливое число... Хозяева, всем ставьте выпить за здоровье Сюзибелли!

— Да,—сказала Амелия и, вытерев руки, поправила сбившуюся на затылок помятую черную шляпу.—Одно за другим, одно из другого. То же я сказала бы и об обществе: одно порождает другое—так уж ведется, чего там. Одно умирает, другое нарождается...

— Ура, отлично, дернем-ка еще за новорожденных!—Билл с Бучем наливают самогон в фужеры: подняли, выпили,—и наливают снова.

И вот Амелия вскидывает свою тяжелую сумку на плечо, всегда чуть скошенное, как под тяжестью ноши. Я помогла ей, а она и говорит:

— Да, девочка, у меня ведь было шестеро детей. Да, шестеро,—и по глазам ее я поняла, что всех шестерых уже в живых нет—такое в ее глазах было жестокое страдание. А ведь и в маминых глазах я как-то раз видела то же самое, хоть она и не говорила ничего.

— Ой, мамочка!—вырвалось у меня, я обняла Амелию, и такой она показалась мне маленькой, хуленькой, что больно было подумать, что вот пойдет она сейчас одна, сквозь холодную ночь.

Крики и смех: делят свой доморощенный банк. Которые из котят оказались котами, а которые кошками, разобрать так и не вышло.

— Ладно, это потом,—сказала Белла. Меня тянуло быть рядом с Бучем, который не переставая говорил, смеялся и пил рюмку за рюмкой.

— Рот закрой,—сказала мне Клара.—Думаешь, Буч тебе привиделся, что ли?

Я прикрыла рот ладонью.

И словно тут же, в тот же миг Белла уже кричит:
— Закрываемся! Все на выход. Вам повторять надо?

У дверей полицейский. Наверху, на лестничной площадке — Ганц.

Разыграно было все как по нотам.

— Что вы нас на улицу гоните! Нужен нам этот ваш курятник, только и зашли, чтоб погреться! — Раскричались, раскудахтались.

Гуськом все посетители прошли мимо полицейского, высыпали на улицу, и Белла заперла дверь, после того как Ганц, по-моему, кивнул полицейскому.

Буч всюду развеселился — сгреб меня в охапку, пустился в пляс, а Билл точно так же с Кларой. Прежде я еще ни разу не ощущала Буча так близко. А он говорил мне на ухо:

— Вот так! Куплю себе свою, собственную бензokolонку. Буду сам себе хозяин. Смотри, держись за меня, я везучий!

Я прямо онемела, как моя мама — у той тоже бывает, как язык отнимется. Ни звука не могла выдать. Клара глянула на мою глупую ухмылку и скорчила мне рожу.

Потом постучали в дверь черного хода, что с переулка, и половина посетителей просочилась обратно, расселись по кабинкам, а нам опять их обслуживай — теперь уже по большей части самогон пошел, распивочно и на вынос, бутылками, чтоб было чем до утра людям заправляться. Ганц наверху, облокотившись, болтает с Хойнком и Эком, и у меня прямо сердце захолонуло, когда к ним Буч тоже присоединился и у них бутылка пошла по кругу.

Как сейчас вижу Беллу: рыжая шевелюра, а голову уронила на руки, большие такие, полные. Клара в дальней кабинке с Биллом тискается.

Ужасно я тогда устала, просто смертельно. Положила голову на руки. А перед глазами все Буч: серьезное лисье лицо, тянется к Ганцу, слушает.

И тут я заснула.



Глава 3

Бучем у нас уже всерьез закрутилось.

А так я все больше с Кларой: прохаживаемся по набережной, и у каждой стройки, где возводят новое

здание, останавливаемся, перекрикиваемся с рабочими (Клара говорит, что больше всего ей нравятся люди, занятые тяжелым трудом, нравится их слушать), а я все не пойму, что Клара такое знает, чего не знаю я. Я-то всего и могу, что поболтать да посмеяться, а частенько от них и удирать приходилось.

Клара говорит, что, если постараться, найти общий язык можно с каждым. А еще у нее есть коробочка, в которую она складывает свои деньги, только эта коробочка почти все время пустая—то заболеешь, то из одежды что-нибудь купить приходится. Но все же, говорит, когда-нибудь у нее скопится достаточно денег, и она выйдет замуж, будет петь в церковном хоре и играть по воскресеньям в бридж с приличными людьми. Или наймется в шикарный отель секретаршей, на машинке печатать, будет ходить в черном платье с белым воротничком и манжетами и следить, чтобы все приходили на работу вовремя. А еще неплохо занять свою гостиницу с кафетерием, причем некоторые сперва эту гостиницу сами целиком берут внаем, а потом сдают всяким разным приличным людям комнаты и спят себе хоть до десяти.

Хочется, она говорит, чтобы хорошо было, спокойно, а получаются одни неприятности,—а вообще-то ей всего хочется, что только глаз видит. Она называла это «устремляться». Я не вижу еще, на что смотреть, а она уже устремляется. Говорит, ни на какой работе столько не заработаешь, чтобы занять все, что необходимо. А пока мы так ходим и устремляемся, Клара рассказывает мне про всю свою жизнь.

Говорит, что ее мать работала в ресторане, пока у нее не родился ребенок, мальчик, и ее не выгнали, а папа, столяр, тоже работу потерял, и тогда чиновник социального обеспечения забрал ребенка, и ее мать отправилась в Буффало, а отец—дальше на Запад искать работу. В Буффало у нее родилась Клара, и мать запирала ее в комнате, а сама уходила искать ей пропитание. Мать устроилась на фабрику, а потом приехал отец, у нее родился еще ребенок, и ее уволили. Такое уж наше женское счастье, сказала Клара. Женщине всегда все боком выходит. Ее мать тогда перебралась на попутках в другой город, чтобы у нее и Клару тоже не отобрали.

Мать вышла замуж за другого, но тот бил Клару, так что мать опять сбежала, причем снова была беременна, уже от него, однако Клару от себя не

отпускала. Но Клара подросла и, скрыв свой возраст, в двенадцать лет пошла вкалывать.

Радости в этом, конечно, мало. Крутишься, крутишься, что-то вокруг себя выплетаешь, как паук паутину. Но все время взгляд в будущее. Оно придет, и все будет здорово, все будет чудесно.

Клара научила меня останавливаться около университетского клуба и ждать, когда оттуда начнут выходить богатые мужчины. А почему нет?—говорила она. Ничего страшного, ты ведь это не просто так, а ради лучшего будущего. Познакомишься с приличными людьми, а если что, закрой глаза и представь, как у тебя когда-нибудь будут крахмальные льняные скатерти и керамика ручной работы, в церкви своя скамья, а по воскресеньям—представляешь?—можно будет, приодевшись, погулять выйти: конечно, ведь по субботам уже не надо бегать, с ног сбиваясь.

А я рассказывала ей про своих домашних: как папа думает, будто мы ему все назло делаем, и бьет нас, и маму тоже бьет. Он потому дерется, что видит, как нам многого не хватает, но сделать ничего не может. Про то, как мы переезжали из дома в дом и из города в город по всему Среднему Западу, все время пытаясь устроить жизнь получше, повольготнее, чем прежде, что-то выменивали, переезжали, а однажды выменяли себе ферму, на которой оказались одни сливовые деревья, и снова мы куда-то ехали, ребятишки восседали на узлах со скарбом, а мама плакала и молилась.

И тут мы с Кларой друг дружку обняли—до того наши жизни были схожи!

— Ты любишь его?—спросила меня Клара про Буча.—Вот это плохо. Ничего хорошего из этого не выйдет.

— Мы, может, купим заправочную станцию на шоссе «Б»,—сказала я.

— Да ты что, вот здорово! Нет, все же любовь—колоссальная штука. А я, может, вступлю в клуб любителей книги. Спорим, ты раньше меня выйдешь замуж, и все твои просторные халатики по наследству мне достанутся. Как-то мне в русском ресторане судьбу предсказали. Гадалка сказала так: мол, множество дорог идут в разные стороны и в конце каждой из них любовь. А еще у нее птица была. О господи,—вдруг воскликнула Клара,—мы заслужили это. Как ты думаешь, я буду в аду гореть? Но ведь я же хорошая. Мы все хорошие, скажешь нет? Тебе-то что, ты у нас порядочная. Давай, детка, пробивайся—вверх, вверх, а меня тут брось.

— Золотце ты мое,— кричу я,— я не брошу тебя!— и чувствую, какое тело у нее худенькое, и на моей щеке ее голодное дыхание.

Пока мы так с Кларой бродили, слушала я и про мужчин, которые нам встречались у Беллы. Клара дважды попадала в исправительное заведение и говорит, что там многому, мол, научаешься по части того, как бы тебе лишний раз не вдели. Белла—та вообще утверждает, что весь этот мир дерьмо, а для женщин и того хуже: у тебя, может, уже от внутренностей одна труха осталась, а мужчины день и ночь все лезут, да еще из налогового ведомства ищейки по пятам ходят, а люди и сами-то живьем друг друга сожрать готовы—крысы, да и только. Грязь кругом сплошная, мерзость. Она и детей поэтому не хочет рожать. Говорит, что тринадцать абортс сделала. А Клара не унывает, знай, вырезает картинки из журналов, где всякие шикарные дома и обстановка, занавеси, мебелировка для детской и для комнаты бонны,—все самое лучшее, но по ночам она плачет: мол, в ад попадет за то, что она делает с мужчинами; правда, Белла говорит, что мы тут и так уже в аду и на бога это как-то не похоже, чтобы он сперва заставил мужчин и женщин хотеть то, чего они хотят, а потом, после того как они свое желание исполнили, пихнул бы их за это в ад.

С Бучем у нас уже всерьез закрутилось, так что я его то и дело разыскивала во всяких барах и бюро по найму. Меня как магнитом к нему тянуло. Сама и волнуясь, и радуюсь, но и страх берет. Он тоже всю за меня взялся, а разыщет—я убегаю или цепенею вся, стою перед ним как идиотка. Он не велел мне ходить с Кларой в дансинг «Мериголд», чтобы не танцевала там с кем ни попадя. Смотри, мол, зашибу к чертовой матери. Я вся аж зашлась от страха, но это все-таки лучше, чем болтаться ни пришей, ни пристегни и мучиться сама не пойми отчего.

Весь день я его разыскивала. Это опять суббота была. В субботу закрыто все, да к тому же он обмолвился, что с понедельника они с Биллом начинают работать в литейке. Амелия удивилась: ведь там забастовка, но они сказали, что все равно пойдут.

Клара посоветовала мне сидеть и ждать в нашем «Дворике»: он, дескать, сам объявится. Мол, только у нас и есть то, что им требуется, так что они в лепешку разобьются, а придут. Мозгами, говорит, шевелить надо, понятно?

И вот, не было еще семи, я даже сообразить не успела, гляжу—Буч, мой лис-ловчила, входит, будто

корабль во время шторма, весь этак набекрень: раз — дверь настезь, а меня якобы не видит; трое мужчин у стойки подвинулись, и сразу он занялся игрой в кости, а я так стою только и спиной его люблюсь, плечи тугие, спина широкая, ладная и прямо на нет сходит к бедрам. Обернулся наконец, протянул ко мне руку.

— Тридцать центов,—говорит,—у меня этот вот выиграл. Не могла бы ты за меня поставить, чтобы мне отыграться?

— Ах, Буч,—говорю,—как я рада, что ты пришел, я так ждала тебя!

— Ну ладно, на шею-то кидаться! Куда ни придешь, все так слюни и распускают. Ну-ка, Клара, пивка, с двойным прицепом. А ты давай, поругай меня.

— Да не буду я ругать тебя,—говорю.—Что я, дурочка совсем?

— Вот это по мне, годится. Я ведь работу нашел, с Биллом на пару, с понедельника.

Но ведь там забастовка, чуть было не сказала я.

— И нечего так смотреть, как-нибудь сам о себе позабочусь—с пеленок вкальваю, где только не работал. Всякая юбка будет еще указывать. Эй, где там пиво? У тебя деньги есть? А то капут, в кредит мне здесь больше не верят.

Я заплатила Кларе и уселась с ним вместе в кабинку. Рядом с Бучем я чувствовала такую легкость, тепло. Помню, я сказала:

— Ничего, все удастся, тебе всегда будет все удаваться.

Вдруг он стал печальным.

— Нам даже пойти некуда! Даже если б ты пошла со мной, так у нас же нет никакой норы, куда забиться, щели, и той нет.

А мне как раз три доллара заплатить должны были.

— Ну,—говорю,—будет и у нас кое-что. Я ведь деньги откладываю, на бензоколонку-то. Вот посмотришь.

— Господи ты боже мой,—говорит,—пойдем-ка туда, где другим еще хуже, а, беби?



Глава 4

ы поднялись наверх. Там посреди комнаты стоял стол, все сидели вокруг него, и Хойнк был очень пьян. За столом подвинулись, дали нам

место, и мы к ним присоединились. Я села рядом с Беллой, она обняла меня за плечи. Хойнк рассказывал про то, как они всей семьей ходили хоронить сестру Беллы, а фрак у них был на всех один; они разыграли его, выиграл Эк, на котором тот фрак как на вешалке, а Хойнку пришлось идти во всем затрапезном. Они наподдавались и пошли в очень шикарное похоронное заведение, где покойница, по идее, должна была находиться, а их туда не захотели пускать. Белла разозлилась, подняла крик, стала скандалить, за телефон хвататься, а Эк загремел с лестницы вниз прямо в морг, при полном параде и во фраке. Потом оказалось, что Белла эту свою сестру двенадцать лет в глаза не видела, в упор не узнала бы, а та к тому же и не померла вовсе!

Все долго хохотали. Меня, правда, Хойнковы рассказы почему-то не забавляли. А он говорит:

— Вот Белла—это женщина на все сто. Во я себе отхватил—всем бабам баба! Я как-то чек подделал, так она переоделась мной и в тюрьму за меня села, а аборт знает сколько?—тринадцать штук сделала! Я ей скипидара с сахаром даю по столовой ложке, да ведь без толку, правда, Белла?—Все опять захохотали. Белла тоже вроде довольная сидит. Меня это совсем не забавляло.

— А я вообще был чокнутый,—сказал Эк, да и Хойнк тоже: воспитали-то нас как? баптистами от и до. Мы и к другим вероучениям тоже причастны были, верно, Хойнк?

Хойнк ему в ответ:

— В былые времена,—говорит,—церковь в этой стране только на нас, похоже, и держалась. Как цент остался—ну, еда, там, квартира, то да се,—так его прямиком в церковь. Да чего там—я лично сам проповеди на улицах читал!

А Эк говорит:

— Конечно, нас так и прозвали: апостолы.

Хойнк продолжает:

— Мы с Беллой, бывало, чуть что, сразу молиться—брык на пол, с кроватью рядом, и давай: молимся, молимся, пока не заснем, прямо так, на коленях. Это еще что! Мы как-то раз языками заговорили ангельскими, когда на нас снизошел святой дух.

Тут все от смеха даже заухали. Буч говорит:

— Выпей, золотце. Полегчает. Ну вот, за маму, за папу...

Я выпила пива. И впрямь полегчало. Хорошо мне стало, вижу перед собой только Буча, а он меня за руку

держит; тут мне кое-что уже забавным стало казаться.

Еще какой-то старик там был, он все пел и перебивал всех. Жаловался, как ему одиноко, потому что его жена в Рочестере. Толстый такой грек, по фамилии Арцыбечев. Сказал, что жена у него цыганка, очень красивая, и что это ужасно — остаться без жены, пусть даже на одну ночь.

— Так-то вот, — сказал старик и снова запел.

— Расскажи, как языками-то заговорили, — попросила Белла Хойнка.

— Да, брат, — отозвался тот, — все четко: это по промежуткам между словами чувствовалось — ясное дело, языки какие-то! Белла, так та целый час говорила, истинный факт! На нее снизошло, когда она на коленях стояла. Я тогда грузовик водил, мне пора было в рейс, но я старуху свою попросил, чтобы помолилась, и на меня бы тоже снизошло. Ну, и точно: я как раз шнурки на ботинках развязывал в Цинциннати, усталый до смерти, вдруг бац — пожалуйста! Сорок минут я говорил, переключаясь с одного языка на другой без передыху.

Все аж взвыли.

— Святая правда, как перед богом, — сквозь смех сказала Белла.

— Но уж теперь-то с этим кончено, — сказал Хойнк. — Это еще тогда было, когда первой волной депрессии нас раздавило в лепешку, и я ни гроша не мог раздобыть. Да, брат, я делал кукольную мебель, а Белла, так та ходила от крыльца к крыльцу и пыталась её продавать. А церкви-то я до этого помогал, — ну, думаю, теперь и она мне поможет. Ходил к пастору, к причетнику, к дьяконам, к начальнику хора, а они от меня морды воротят.

Велели обращаться в благотворительные организации. Ну так я сдохну, а не стану подавания просить. Ни в жисть. К чертям этих старых дев, вот еще, дам я им в мои дела костлявые носы совать... А уж потом, когда с церковью расплевался, я прошел курс — в журнале пропечатан был, — курс по психологии. Да вы, наверно, все о нем слышали. А я вот не слышал, пока не попался он мне на бумаге черным по белому. Ну и вот — я другим человеком стал. Узнал я, что мысль может все. Внушишь себе, что так есть, и оно так и будет, насчет чего угодно. Любое благо себе сам сделаешь, и любое свое зло сам поправишь.

— Ну, — Буч говорит, — а сейчас Хойнк нам внушит, что у нас налито.

— Угощаю! — кричит Белла. — За счет заведения!

— Да, брат,—продолжал Хойнк,—никому тогда этого за тебя не придется делать. Сам, в своем сознании. Как раз наоборот против того, чему моя вера бывшая, вся эта религия учит.

— Да, брат,—сказал Буч.—И тут уж ты сознательно достиг невиданной нищеты!

Все засмеялись.

— Можете смеяться,—нимало не смутился Хойнк,—но система-то работает. Подумать только, ведь я Эка ругал когда-то на чем свет стоит каждый раз, как поймаю его, когда он любителю на картинки в витрине варьете. А теперь при первой возможности сам хожу на всякие шоу. Все, что угодно, хорошо. Раньше мы с моей старухой, бывало, аж плакали и молились всякий раз, как поддадимся плоти. Теперь она вроде меня. За любовь принимаемся, когда есть желание, и никаких проблем. Все, что угодно, хорошо.

— Аминь,—сказал Буч, и мы все засмеялись. Теперь мне это казалось очень забавным.

— И пиво хорошо,—сказал старик,—если хорошее пиво!

Потом греку понадобилось показывать фотографию своего брата, боксера, который погиб в автомобильной катастрофе. На фото он сидел, расставив ноги, весь намазанный чем-то жирным, с выпяченными мускулами.

Белла говорит:

— Буч, а ты работу нашел? Я тебя утром видела—идет, а лицо-то, господи! В таком виде разве найдешь работу? Рожа прямо вот такая,—она взяла себя пальцами за щеки и оттянула книзу углы рта. Этак не годится. Нет, надо, чтоб вид веселый был, и она потянула щеки кверху, так что в их толстых складках утонули глаза.

— Чему тут радоваться,—Буч говорит.—Радоваться мне нечему.

— А кто велит радоваться? Надо просто вид делать, и все тут.

— Ну, а я не хочу,—сказал Буч.

— Что за новости?—удивилась Белла. Она обожала давать советы, и все они были из тех, которые мужчины от женщин выслушивают, но никогда им не следуют.—Что еще за новости? Чего же тогда ты хочешь? Мы еще с тобой об этом поговорим.

Буч разозлился:

— Ради бога, не лезь не в свое дело.

— Это мое дело. Не хочу смотреть, как человек пропадает.

— Работу мне надо,—сказал Буч.—Бог ты мой, мне вообще что-то очень много чего надо. Хоть разорвись тут, сколько всего мне надо!

— Конечно,—согласилась она,—естественно, я знаю, что нужно молодому мужчине. Когда у тебя нет работы, это кошмар. Женщины это тоже понимают. Когда у мужчин нет работы, женщинам плохо приходится. Для женщин это ужасно.

— А, к черту женщин!

— Не надо так говорить. Когда женщины пойдут к черту, то и мужчины ведь с ними вместе, а как же иначе. Вообще-то нам бы надо...—Белла вздохнула,—надо бы нам уехать отсюда. Серьезно! Вот, в Канаду хотя бы—сколько там земли неосвоенной, простор, природа!

— Пожалуй,—сказал Буч.—Насчет природы это ты дело говоришь. А то в городе на каждое рабочее место больно много желающих.

Хойнк говорит:

— А какая там по утрам охота! В небо выстрелишь, вообще вслепую, и падает утка!

— Да,—снова вздохнула Белла,—там жизнь так жизнь.

Все ухватились за эту тему, всласть помусолили—насчет первопоселенцев, и какие им льготы положены, и о неосвоенных до сих пор землях, и о землях, которые возвращаются государству из-за неоплаченных хозяевами налогов.

— Нет, нет,—запротестовала Белла,—это земли мертвые. Надо на новые земли, чем дальше, тем лучше. Сейчас нам нужно что-то совсем новое. Эх! Канада! Прелесть, прелесть, такие там есть северные фиалки, совсем крошечные, ага, а еще—как они называются?—такие цветочки с длинненькими чашечками...

— Там получаешь землю,—перебил ее Хойнк,—и живи как знаешь. Ничего делать не надо, знай только ставь капканы.

— Да вам же всем от свежего воздуха худо станет,—сказал Эк.

— А правда,—воскликнула Белла,—берем нашу машину, и поехали. Сперва мы туда отдохнуть съездим, присмотрим участок, а все потом следом приедут.

— Идея!—заорал Буч.—Здорово. Отличная идея. Слушай,—в исступлении вдруг схватил он меня за плечо,—слушай, золотце, давай, а?—все бросим! Слушай, золотце, это же для нас выход. Ну, замечано?

— Да,—говорю,—конечно, куда угодно, Буч, куда угодно!

— Ну, ты молоток. Честно, золотце, я тебя обожаю, ты такое чудо. У нас будет земля, мы откормим тебя, чтоб на щечках зацвели розы, и тогда уж заведем нашего бейсболистика—толстый будет, такой нахальный!

Белла обняла, прижала к себе нас обоих, смеясь, откинув назад свою кудлатую голову.

— Пошли, поедem в моей машине.

— В нашей,—заорал Хойнк.

— В нашей, в нашей,—подхватила Белла, бросилась целовать его.—Все поедem в нашей машине.

— Ну как, золотце?—прошептал Буч.

— Конечно, конечно, Буч,—говорю,—конечно!

Да только знала я: не бывать их машине по ту сторону Миссисипи.



Глава 5

Весь тот уик-энд шел как в дурмане. Словно вокруг волны, выше, выше, и никак не опадут. Словно на всех нас что-то надвигается, невидимое, непонятное. В воскресенье, будто помимо собственной воли, все собрались в «Немецком дворике». Даже посетители, хоть и закрыто, то и дело скреблись в дверь черного хода, умоляли продать бутылку, чтобы было чем скрасить себе жизнь до понедельника.

В воскресенье, как любит повторять Белла, нечистая сила хозяйничает. Воскресенье—это врата ада. Самогон как раз для таких дней и создан. Пусть заходят, ханурики несчастные. Дай им клюкнуть, черт с ними. И все расселись, поникшие, как мокрые курицы.

Буч с Биллом сидели безвылазно, видимо страшно им было идти утром на завод, а радио они выключили, чтобы не слушать про то, как губернатору пришлось вызвать резервистов, чтобы войсками защищать штрейкбрехеров.

— Что ж, вот и начальник говорит: для каждого патриота это главный долг—поддерживать ихнюю литейку,—проговорил Билл, и оба с Бучем они одинаково заухмылялись, придумывая, чем бы еще оправдаться.

— А в скэбы идти—ничего, а?—сказала я.

— Так чего ж—начальник вот говорит, стачка-то без ведома профсоюза, дикая. Да и денег всем, кто придет, обещают.

— Слушай, что я тебе скажу,— заговорил Билл.— Когда мы с Бучем вместе, нас не побьешь. Вместе мы из любой заварухи с победой выйдем— всегда так было, с тех пор как мы сиську выплюнули и сказали здрасьте,— что, правильно я говорю, братец Буч?

— А то нет, братец Билл,— сказал Буч, и они тесно сдвинули свои гладко зачесанные черные головы.— Сила есть, да и удача нам как родная. Мы ребята что надо. Побеждать нам на роду написано. Да я вообще кому хочешь морду набью!

— Да ну,— усмехнулась я.

— Конечно, набить всем морды, и дело с концом. А как же иначе. Победа, чтоб ты знала, самое главное на свете, главней всего. Когда я играл в бейсбол, я махаловку больше всего любил. Я был хороший игрок. Господи, наш старикан не разрешал мне играть в бейсбол по воскресеньям. А я волшебное слово знал, ага, брат, и здорово помогало. Бывало, только подыму биту: давай, дескать, родимый, не выдай. Да, там приходилось лучше всех быть, чтоб никому не подступиться. Когда в бейсбол играешь, надо слово знать— вроде молитвы,— тогда мяч точно придет на биту, только разворачивайся. Вот это-то мне и надо. Выйти бы на простор да развернуться!

— А, ну конечно!— я улыбалась уже в открытую.

— А что— бывало, я так и делал, и не жизнь была, а загляденье, прямо как ты, мое золотце. Двадцать один гол забил однажды, представляешь? Это тебе не сопельки жевать. Оба глаза зажмурил,— бабах!— и в самую тютельку.

В жизни я ничего подобного не слыхивала. Все-таки странные люди мужчины.

— Ага,— говорит,— крепкие мускулы и молитва— и все, кто ж тогда тебя остановит? Но удача должна присутствовать и чтоб девушка у тебя была. Идет прямой, перехвати поближе и с подкруткой влепи, чтоб у них в глазах зарябило. Тебе понятно?

— Нет,— говорю,— для меня это как по-гречески.

— Господи,— удивился,— неужто напрочь в бейсболе не волокешь?

— Да нет,— говорю,— как-то не очень.

— Фу-ты,— изумился он,— еще и этому тебя обучать придется. Мне вообще надо много чему тебя научить, беби, и, кстати, хватит с таким испугом на все смотреть, пора научиться тоже добиваться своего в этом мире. Ведь очень многого стоит добиваться.

— Чего?— говорю.

— Ну, многого, господи, много чего.

— Ну чего?

— Да все той же самой победы, того чувства, которое с ней приходит; потом много есть разных вещей — тебе что, все надо разжевывать, не понимаешь, что ли? Ездить в мощной машине. И чтоб девушка была, которой все это в охотку и которая сама в этом соображает.

Я почувствовала, как кровь у меня прилила к щекам.

— Это не каждому дано, — продолжал он, — идти в одиночку, смело, сквозь ночь. В одиночку — это надо быть стойким, сильным.

— Да не хочу я в одиночку, — запротестовала я. — Чего это я в одиночку-то буду. Лучше буду с другими вместе.

Он этак глянул на меня.

— Фу-ты, — говорит, — женщины... господи! Вот у меня мамаша тоже — вообще с приветом!

Чувствую: не то сказала.

— А знаешь, как это у нее? Моя мать из всего, что с ней происходило, помнит только хорошее.

— Ну, например.

— Ну, например, она считает, что отец до сих пор жив. Думает, что моя бабка, ее мамаша, которая вот уже двадцать лет гниет в могиле, каждый день с ней вместе завтракает. Убеждена, что все ее дети до сих пор под стол пешком ходят. До сих пор думает, что мы еще в том пятикомнатном доме живем — просторней-то у нас и не было. На свете нет женщины лучше моей мамы, но она капитально съехавши. Впрочем, все женщины такие.

Похоже было, что он собирается рассказывать мне все снова: как он работал на шахте, как сваривал пуги для снегоочистителей за семьдесят центов в час и как там надо было собрать целиком всю машину, чтобы убедиться, что она работает, и все в этом духе. Не думала я, что мужчины такие.

— Слушай, золотце, — сказал он, — ты меня не обижай.

— А я что, обижаю тебя?

— Ты меня не обижай, и я так развернусь — меня ничто не остановит! Мы будем иметь все.

— Ну конечно, — сказала я с улыбкой.

— Конечно, — говорит. — Я ведь знаю, как это — побеждать. Мне побеждать на роду написано. Это уж не иначе. Я так чувствую. Понимаешь, мне надо победить. Я же сильный. У меня все на месте. Да было бы странно мне не победить. Хочешь, кому угодно

морду набью? Я лично—хочу: набить всем морды, и дело с концом!

— Да нет, не хочу, пожалуй,—сказала я.

Вижу, Ганц входит. Дверь была заперта, Клара ему открыла, предварительно сдвинув жестяной щиток, заслонявший смотровое отверстие, и выглянув наружу. И я услышала, как Ганц сказал:

— Между прочим, Хойнка забрали.

Белла вскрикнула. Сборище унылых личностей, заполонивших зал, дрогнуло, все как один встали, устремились к двери черного хода.

— Бегите, бегите, крысы,—закричала Белла, а потом ее пришлось оттащить от Ганца, которого она начала трясти со всей силы, а Эк стоял рядом, орал:

— Я говорил, говорил ему, что пора в бега!—Ганц одернул пиджак, поправил галстук и затоптал сигарету, отчего Белла опять взорвалась.

— Ты где это,—кричит,—находишься, а? В хлеву? И вообще, откуда ты все про него знаешь? Может, ты его за себя подставил?

А Эк кричит:

— Я говорил ему, выборы же на носу! Быть тебе мальчиком для битья у больших боссов. Надо же им показать: все, мол, конец, всем хвост прищемили и подставляют шуштуру. Вот и сделают из тебя козла отпущения.

— Заткнись,—раздельно проговорила Белла и принялась трясти теперь уже Эка, а Ганц сказал:

— Хойнк знает, с какой стороны ветер. Кончайте вы эту панихиду. К утру его выпустят. Пару деньков переждете, и все опять будет в лучшем виде. Сообразика нам выпить, Белла.

Белла говорит:

— Ганц, они же все забрали. Оставят эти полицейские хотя бы наперсток, держи карман!

— Не придуривайся, сама знаешь, что заначка кой-какая имеется,—сказал Ганц.

К моему удивлению, Белла вместе с Кларой вышла и возвратилась с подносом, на котором стояли полные бокалы.

Эк гнул свое:

— Эти большие боссы нарочно подставляют всякую мелкую шуштуру вроде нас.

Белла мне говорит:

— Дурень чертов. Он доболтается, что не только в наш кабак ему ход перекроют—домой, и то дорогу забудет!



осетители подходили, стучались, но никто не обращал внимания. Или Клара, наконец, чуть приоткроет дверь и скажет:

— Извините, ничего нет. Хойнка замели.— И посетители тут же сматывали удочки.

Раздался стук: два с перерывом и два подряд. Ганц поднялся, открыл дверь и впустил какого-то тщедушного человечка. Сказал:

— Вот, это мой адвокат, мистер Хоун.— Все промолчали. Ганц сел опять за стол.

— Ладно,—говорит,—нечего особо-то переживать. Утром я все улажу. Уж одну-то ночь он как-нибудь там перекантуется.

Белла с ненавистью поглядела на него. Ее глаза, черные и бездонные, были окружены тенями, губы казались синими.

Хоун сказал:

— Ладно, может, мне его удастся вызволить еще сегодня. Между прочим, я всегда готов помочь любому из людей Ганца. А переживать ни о чем не надо. Переживать предоставьте мне.

Я говорю:

— Интересно бы знать, кто все-таки настучал-то.

Хоун одним глотком опорожнил свой бокал неразбавленного виски и сказал, что ему надо пройтись тут еще за три дома—увидеться с парнем, которого тоже забрали и уже выпустили, а вы, мол, не переживайте, к утру все будет о'кей, вам придется только затаиться на пару деньков, а после это окупится.

Ганц поднялся, и они оба вышли, а Эк вскочил и снова принялся расхаживать взад-вперед.

— А почему бы и тебе не взяться за это благое дело?—сказал он мне.—Давай! Все стучат. Если сейчас не стучишь, значит, еще будешь. Мы все стукачи. Неужто не ясно? Каждый на кого-нибудь стучит. А что делать, жить-то надо! Как-то ведь жить надо. Тебе что, жить не надо? Да или нет? Ну вот, значит, рано или поздно придется пойти стучать. Человечество!—фыркнул он.—Блохастому человечеству надо жить, а потому каждый—хошь не хошь—стучи!

— Христом-богом тебя прошу, будь человеком, закрой рот,—прикрикнула на него Белла.—Нет, с меня хватит, я больше здесь не могу находиться. Пойдем отсюда,—обратилась она ко мне.— А вы, ребята, все на

выход, я и дверь запру. Пускай нынче клиенты хоть до утра в дверь молотят, мне плевать.

Все вышли, остался один Эк, сидит, молчит. Наконец Белла положила перед ним на стол пятьдесят центов, объяснив, что это на яблочный пирог,—купи, мол, Хойнку на завтрак, да смотри, не забудь.

Клара, Белла и я вышли на улицу. Было тихо, прохладно. Молчание прервала Белла.

— Вообще-то есть,—говорит,—еще с полканистры, но эта шатия у меня шиш чего получит. А то Хойнк выйдет, и ему не достанется. А мы, может, это дело обмоем.

Я говорю:

— А вы что, неужели за старое приметесь?

— Ну конечно,—отвечает.—Пройдет несколько дней, и все уляжется.

Клара улыбнулась.

— Не мучь ты ребенка, объясни ей как есть.

— Да ну, мала еще.—Белла засмеялась.

Я говорю:

— Это ладно, а вот хотела бы я знать, почему вы так уверены, что он утром выйдет. Сперва очень даже переживали, потом, когда этот Хоун явился, переживать сразу перестали, а теперь так и вовсе успокоились.

Клара посерьезнела.

— Слушай, дитятко, ты хотела знать, кто настучал, так вот Ганц как раз и настучал.

Они обе рассмеялись, глядя на выражение моего лица.

— Знаешь, как у них это состряпано?—сказала Белла.—Ганц большой босс, у него таких подпольных заведений не одно и не два. Хоун у него адвокатом, он тоже в доле. У Ганца большие связи. Если бы не прикрытые, которое нам Ганц обеспечивает, спиртным торговать мы не могли бы. Ну так вот: сейчас на подходе важные выборы, мэр кресло свое покидать не хочет, поэтому ему надо как-то ублажить общественность, и приходится делать кое-какую чистку, чтобы так называемые порядочные люди голосовали за его партию. Он, стало быть, вызывает Ганца на ковер и требует, чтобы тот придушил кое-какие из своих точек, какую-нибудь мелкую шушеру вроде нас—ну, чтобы никто внакладе не остался. В результате утром им есть что напечатать в газете, понятно? Вот Хойнк и оказался на сей раз мальчиком для битья, а больше ничего.

Мы шли вдоль реки. От нее приятно пахло. Белла заговорила снова:

— Хойнк боится, как бы вообще не пристрелили, все время нервничает. Поэтому-то Ганц за него и держится. Знает, что он ни на что большее не потянет, и оттереть Ганца от его кормушек не попытается. При этом Ганц все время обещает Хойнку, мол, даст покрупнее что-нибудь, повыгодней.

— Вот уж не знала, что Хойнк чего-нибудь боится,—сказала я.

А Белла говорит:

— Ха, жила я в Чикаго с парнем, который не боялся, что его пристрелят, но, боже мой, какой это был кошмар! Вообще-то Хойнк не такой уж ангел. Помнишь, у меня еще был фонарь под глазом, я говорила, будто ударилась о буфет,—так это он мне навесил, паршивец, а после говорит, не рассказывай никому. Не хочет, чтобы люди знали, какой он подонок, ведь обворовал бы собственную бабку. А еще был случай: мы как-то играли в карты, Хойнк рассвирепел, перевернул стол и двоим нашим партнерам в зубы съездил. Я разозлилась, выставила его вон, так они с Эком потом всю субботу где-то болтались, а я одна должна была с посетителями управляться. Когда он зол и пьян и видит кого-нибудь, кто ему не нравится, за ним не залежится. Чокнутый он, вот что я тебе скажу, совсем чокнутый, не разберу и почему я только живу с ним, как его хоть одну минуту можно вытерпеть! Но тут, понимаешь ли, детка, есть одна загвоздка.—Она поглядела на меня, и такое лицо у нее сделалось удивительное! Потом говорит:

— Господи, ведь это черт те что, но люблю я его, вот и мучаюсь с ним всю жизнь, черт побери, люблю я его.

Мимо, по дороге из парка, катили тележку с кукурузными хлопьями. Было прохладно, мы поплотнее кутались в пальто, и я сказала:

— А давайте хлопьев купим.

Кукуруза была такая воздушная, вкусная, щедро посоленная и пропитанная чем-то, по вкусу напоминавшим масло.

Той ночью, когда мы вернулись,—должно быть, уже часа четыре утра пробило,—к входу подкатило такси, смотрим, вылезают Хойнк с Эком. Нам сверху видны были только их макушки, но Белла тут же запричитала:

— Вот они! Явились не запыхались, а мне теперь ходи за ними. Небось в стельку оба, явились, а мне за ними ходи!

Нам было видно, как они роются по карманам, а

потом водитель такси поднялся на второй этаж и принялся дубасить в дверь. Эк с Хойнком пытались подниматься по лестнице в обнимку, слышно было, как они барахтаются в коридоре, и Белла там потушила свет, чтобы они наставили себе шишек.

Водитель такси говорит:

— Вы этих людей знаете?

Белла сразу в крик:

— Да мне ли их не знать! За одним из этих подонков я уже тридцать лет как замужем!

А шофер свое:

— Откуда я знаю, что они действительно из ваших?

Белла отвечает:

— Должно быть, вы недавно в этом городе, если вам впервые приходится доставлять сюда эту веселую парочку.

Тот говорит:

— Верно, я недавно из Чикаго. Откуда мне знать, что я не оставляю их в каком-нибудь притоне, где их разденут?

— Н-да, впервые слышу, чтобы в такси работали такие радетели,—поморщилась Белла.—Может, вы еще и церковный староста?

Из темноты выплыли Эк с Хойнком, друг друга поддерживая. Белла подошла к Хойнку, обхватила его и говорит:

— Золотце, ты не хочешь прилечь?

— Конечно,—обрадовался Хойнк,—прилечь с тобой—за милую душу, но кто ты, черт побери, такая?

Водитель такси нахмурился:

— Вот видите, он же вам не муж.

Она, возмущенно:

— Как так не муж? Я докажу. Если он не будет делать все в точности, как я скажу вам, везите тогда его в тюрьму.

— О'кей,—сказал тот.

— О'кей,—сказала Белла.—Он сейчас вон там встанет и примется шарить у себя по карманам, а потом скажет: золотце, у тебя есть какие-нибудь деньги? Долг надо отдать этому парню. Если он не сделает этого, можете везти его в тюрьму, а я за ним утром сама заеду.

— О'кей,—сказал таксист,—принято.

Они все вошли в зал, где у нас еще не было прибрано. Эк и Хойнк остановились под лампой, и Хойнк принялся шарить по всем своим карманам: сперва брючные карманы—боковые, задние, потом по всем карманам пиджака прошелся, потом по карманам

жилета, потом снова в ход карманы брюк пошли, и опять пиджак, жилет, брюки, потом постоял с минуту и говорит Белле:

— Золотце, у тебя есть какие-нибудь деньги? Долг надо отдать этому парню.

Таксиста так и скрючило от смеха.

— Ну,—говорит,—ваша взяла. Пожалуй, вы и в самом деле его жена.

Белла поднесла таксисту рюмочку и заплатила ему. Хойнк с Эком тут же заснули, еле до кроватей добрались, и их храп разносился по всему коридору.

К себе уходить мне было уже поздно, и я улеглась спать на кушетке.

Всю ночь перед глазами вертелись Буч с Биллом, все слабей, слабей, и все время они пили, ох, многовато они пили, обмывая свой завтрашний выход на работу.

А еще я, похоже, слышала ночью, как маршируют по улице солдаты, а уж стрельбу, так это точно слышала. И слышала, как Белла с Хойнком то кричат друг на друга, то занимаются любовью, то плачут, и так всю ночь.



Глава 7

от уж действительно — черный понедельник. Посетителей мы не впускали. Чувствовалось, что на улице небезопасно. К нам попытались ломиться солдаты из Национальной гвардии, чуть не снесли дверь с петель, но Клара выглянула, увидела людей в форме и вдвинула еще один засов. Мне показалось, что вдалеке слышится стрельба. Белла только отмахнулась: чушь, просто у кого-то шина лопнула, вот и все. Около полудня Белла с Хойнком, крадучись, выбрались наружу — отправились добыть еще «молочка с-под бешеной кобылы», как они выразились. Мы с Кларой разогревали старые котлеты. От бигоса ничего уже не оставалось.

Было где-то около часа, когда постучал Буч, и мы бросились открывать. Он проворно заскочил в дверь, а я смотрю — пиджак у него порван, и рука в крови.

— Дверь закрой,—говорит,—за мной гонятся.

Я отвела его в кабинку, Белла побежала за водой.

— Кто гонится?

— Помолчи.

— Где Билл? — вдруг вскрикнул он. — Он же сразу за мной бежал. Выгляни, посмотри, не видно его?

— Не открывай дверь,—сказала Белла.

Буч затих, как в обмороке. Белла глянула:

— Ничего, его просто избили. Да нет, он не ранен.

Снова слышались удары в дверь, три с перерывом и два подряд, как стучат посетители. Клара выглянула, потом отперла дверь, и вошел старый Джош, придерживая Билла, словно тот идет сам, но голова Билла безвольно свисала. Клара с Беллой подхватили его под руки, усадили в кресло, но он стал заваливаться, и когда они его выпрямили, в глаза бросился огромный красный круг у него на рубашке.

— Да он умрет сейчас. Его застрелили!— вскрикнула Белла.

Буч долго поддерживал ему голову. Помню белую руку Буча на черноволосой голове брата, а у Билла одна рука лежала на колене, и могло показаться, что он просто сидит и ждет, если бы не его лицо—оно становилось все бледнее, а кровь текла у него из обеих ушей.

— Вот и иди в скэбы,—проговорил Буч.—Нас заперли на заводе. Меня послали наладить освещение на погрузочной платформе. Я как раз чинил там прожектор, они за мной полезли, а я сбросил на них провод под напряжением, и меня избили.

— Кто?

— Да забастовщики, дубина стоеросовая, тамошние рабочие. Люди, которым я срывал стачку.

Клара вызвала полицию. Полицейские явились довольно скоро и сказали, что Билл умер. Это я поняла еще за несколько минут до их прихода. Они перенесли кресло в кухню, набросили на Билла скатерть, а он так и сидел в кресле, прямой и застывший. Один из полицейских сказал, что за фургоном из морга сейчас пошлют, а Буч встал, загородил собой брата.

— Нет, нет,—говорит,—не надо его в морг. Это мой брат.

А полицейский в ответ:

— О'кей,—говорит,—парень, допустим, что он твой брат, и что из этого?

Буч на него так посмотрел, словно сейчас ударит, но сдержался. Обратившись к Белле, которая плакала навзрыд, он сказал:

— Позвони Пеку и Нордстрему—у них лучшее похоронное бюро в городе.

Белла говорит:

— Слушай, золотце, ты лучше вызови Свинсона, там будет дешевле, а качество то же самое, к тому же он мой старинный приятель, и он...

— Заткнись,—рявкнул на нее Буч, и его шея вздулась, как у кобры.

— Ладно,—Белла говорит,—сейчас свяжусь с Ганцем, тебе сделают скидку.

Но Ганц исчез.

Мы оставили Буча на кухне, и в раздаточное окошко нам было видно, как он стоит рядом с прикрытым скатертью телом.

Заходили все новые и новые полицейские, бесплатно угощались нашим пивом, а Клара до вечера просидела за машинкой, выстукивая одним пальцем табличку: «СЕГОДНЯ УЖИНАЕМ ИНДЮШКОЙ!» Полицейские все поглядывали на кровь в кухне под креслом. Похоже, они только в том и были уверены, что Билл мертв, да мы это и без них уже знали.

Буч раз за разом твердил:

— Нет, сэр, ну что вы, сержант, у моего брата в жизни врагов никаких не было. Откуда же у него врагам взяться, у кого угодно можете спросить. Мой брат был достойным человеком. Он бы далеко пошел. Никто вам по-другому не скажет.

— Тьфу, бестолочь,—ругались полицейские.

К трем часам мы уже наторговали на пятнадцать долларов, причем все строго в рамках, а это и для субботы неплохо, не говоря уже о понедельник.

Потом, когда Буча перестали донимать полицейские, он то и дело заходил ко мне на кухню, где я мыла посуду, и губы у него были белые, словно он сметану лизал.

— Вот говоришь им, говоришь...—все повторял он.—Лучше бы эти вшивые полицейские объяснили, что мне делать теперь. Нет, ну ты глянь только, беби!

Он показал мне фотографию, где был снят Билл, совсем еще мальчишка, с матерью; они стояли у виноградной лозы, оба улыбались.

— Родного брата, ведь родного брата!—почти выкрикнул он.—Ну, я теперь знаю, что мне делать. Теперь я знаю.

Что он хотел этим сказать, я не поняла. В Кларе сквозь испуг чувствовалось возбужденное любопытство. Я тоже была испугана, но ничего любопытного тут не находила. Часа в четыре мы уселись на кухне пить кофе, и Клара принялась рассказывать мне про смерть. Сообщила, что когда-то собиралась покончить с собой, так что про смерть она все хорошо знает. Убежала, говорит, из дому, долго не возвращалась, а потом уже страшно стало возвращаться. Жила, говорит, в комнате у одного моряка. Через три дня ей

надоело. Не очень-то это, мол, интересно, не то что в кино. Тут бы и домой вернуться, но страшно. Ходила, говорит, каждый день к реке топиться. Матери написала обо всем этом длинное письмо, начинавшееся словами: «Дорогая мамочка, когда ты это получишь, я буду уже мертвая, как ты не понимаешь, мертвая!» А вообще, говорит, моряка или солдата легче всего подклеить, и иногда с ними бывает занятно, но трех дней за глаза хватает. Потом, дескать, встретила как-то в трамвае мать и пошла с ней домой, потому что все равно стало, будь что будет.

Но зато, говорит, с тех самых пор она про смерть все как есть понимает. А единственное, мол, почему она живая теперь, а не мертвая вроде Билла, единственное, почему она удержалась, так это потому, что каждый раз, как она совсем уж было соберется, непременно случалось что-нибудь интересное. Один раз, например, по мосту проходил симпатичный солдатик и пригласил ее пойти с ним пить пиво, а для солдата чего только не сделаешь, и потом—с солдатом—это ведь патриотический долг! В другой раз она забыла о своем намерении из-за того, что день был такой погожий и на деревьях распускались листья, а на реке вовсю играли ребятишки и резвились утки.

Наконец по вызову Буча приехали из похоронного бюро, Билла положили на носилки и вынесли, Буч шел рядом, и все, что я могла сделать, это выбежать за ним следом с забытой им шляпой в руке; шляпу он принял.



Глава 8

а следующий день я старалась окружить Буча заботой, ходила за ним, все приносила, и он временами поднимал взгляд, касался моей руки. Наконец говорит:

— А хочешь, съездим, посмотришь на него?

— На кого?—глупо удивилась я.

— Ну на него, на Билла,—говорит.— Его там четко подправили. Как живой смотрится. Ей-богу, нормально выглядит. Поехали.

— Да нет, не хочется мне.

— А что, выглядит вполне. Они там в своем деле специалисты каких мало. Для брата я уж расстарался. Четко они его подправили. Хочу, чтобы ты посмотрела,

что у них вышло. Не дешево, между прочим, стоит, так ведь ну, к черту! Хочу, чтобы все было в лучшем виде.

По дороге Буч непрерывно говорил о брате. Я ловила каждое его слово. Он сказал, что Билл по части бейсбола был настоящий дока, а в детстве, ух, шустрый паренек был, куда там.

Буч остановил машину у элегантного особняка, помог мне вылезти, и уже на лестнице нам встретилась санитарка, к которой Буч обратился, сказав, что хочет видеть брата.

— Фамилия? — проронила она.

— Хинкли, Билл Хинкли, — выкрикнул Буч.

— А, вот сюда, — сказала санитарка и проводила нас в роскошную залу, а там — мы только вошли, сразу глядь: внизу перед нами какое-то восковое лицо, все раскрашенное, а волосы черные как смоль. Совсем в этом лице не было сходства с Биллом. Куда как больше сходства было тогда, когда он на кухне сидел под скатертью в кресле.

Но Бучу, похоже, нравилось. Он прошептал:

— Смотри, как лицо-то подработали! — Ему это, видимо, представлялось невесть каким чудом.

— Чертовы полицейские, — говорит, — столько продержали со своим дознанием, что у него началось это, ну, как они его называют — ригор мортис¹, а в результате пришлось ломать челюсть.

— Ломать челюсть? — Я так и ахнула.

— Ну да. Ничего, нормально смотрится. Правда же, смотрится как надо? Нынче они прямо чудеса делают. Замечательно. Чудесно.

Ничего чудесного я в этом не находила.

— Пойдем, — сказала я.

— Боишься, трусишка, — усмехнулся он и положил мне на плечо руку. Мне и впрямь стало теплее.

— Боюсь, — сказала я. Глянула я на него и вижу — до чего же они похожи: у обоих одинаково продолговатый узкий затылок, нос тонкой лепки, будто чуть-истый, как у какого-нибудь лиса, и широкие скулы. Мне стало страшно, и я пошла к выходу. Мы сели в машину и быстро поехали прочь от города; стояла ранняя осень.

Я оперлась рукой о сиденье рядом с ним, чтобы не заваливаться на его сторону, а он положил свою руку поверх моей.

— Ей-богу, — говорит, — занятная штука смерть.

¹ Трупное окоченение (лат.).

— Да,—говорю.

Мы ехали по набережной мимо окраинных хибарок.

— Ты знаешь,—сказал он,—мне тут сон на прошлой неделе про смерть снился. Кстати, довольно забавный. Снилось мне, будто Билл какой-то очень бледный и что-то он мне такое говорил. Да, брат, забавно, знаешь ли, если вдуматься.

Я говорю:

— Да, и правда забавно.

— Ты только подумай: неделю назад мы в это время с Биллом на бильярде играли. А теперь его нет. Забавно, знаешь ли, если вдуматься. Правда же, забавно?

Я не ответила. Мне было нехорошо.

— А ты ведь красивая. Руки у тебя красивые.

Они были в волдырях от щелока, в котором у нас мыли посуду. Я стала вырывать у него руку, чтобы спрятать куда-нибудь подальше.

Мы подъехали к какому-то полю. Буч остановил машину, и тут я почему-то вдруг выскочила, перебежала через дорогу, и оглянувшись, и позвала его—не знаю, зачем я все это сделала, а он выпрыгнул из машины, бросился за мной и схватил меня сзади за руку. Я испугалась. Не знаю, зачем я все это сделала.

Он попытался поцеловать меня и крепко держал за руки, выкрутив их назад. Я вырвалась и снова побежала. Под нами был луг с низкорослой травкой. Он подошел ко мне, а я говорю:

— Буч, не надо.

— А зачем ты выскочила и побежала?

— Не знаю,—говорю,—я не хотела.

— Сама меня втравила,—сказал он,—сама все затеяла, теперь сама и отдувайся. Будешь теперь отвечать за последствия.

Это меня удивило.

— Ага, придется принять микстурку-то,—сказал он,—раз уж втравила меня в это дело. Ведь ты же нарочно. Взбаламутила меня, а теперь что? Не скажешь ведь, что я не вел себя с тобой, как со своей сестренкой, а сама вдруг ни с того ни с сего—прыг из машины и удирать, как последняя шлюха.

— Да нет же,—говорю,—я не хотела этого.

— Она не хотела!—передразнил он и, возведя глаза к небу, произнес:

— Господь всемогущий! Неделю напролет хожу сам

не свой, изо всех сил стараюсь быть с ней пай-мальчиком, потому что она у нас такая пай-девочка, а потом вдруг—бац!—такие пенки, ну...

Клара была права. Я совсем не понимаю мужчин. Мне стало очень грустно.

— Прости,—сказала я,—если я тебя так обидела.

— Боже ты мой!—воскликнул он,—чего только не натерпишься от женщин! Знала бы ты, как страдает мужчина!

— Откуда ж мне знать было,—говорю.

Мы медленно пошли назад к машине.

— Вот так всегда,—сказал он,—стараешься, стараешься, а никто ни вот настолечко не ценит. Все только и норовят на тебе проехаться. Набить кому-нибудь морду, что ли? Мне победа, победа нужна, вот что. А всех этих сволочей—по морде, по морде! Душу из них вынуть и ничего взамен не дать.

— Ну перестань, не надо,—взмолилась я.

— Да, а ты как думала—так и только так! И не дави на меня. Полжизни я уже прохлопал, но уж теперь знаю, что мне делать. Я еще повыше других запрыгну. И нечего на меня так смотреть. Тоже небось подраться любишь.

— Нет, Буч.

— Не нет, а да. Что же ты тогда любишь?

— Ой, ну я не знаю,—говорю.—Просто быть. Люблю, чтобы хорошо было, что же еще-то?

— Ну вот, начинается,—говорит,—пошло-поехало! Все-таки бабы дуры. Никогда ничего определенного не скажут. Господи—женщины! С ними сгоришь синим пламенем.

Что бы ему дать, чем утешить? Поглядела я на небо, поглядела на траву. Должно быть, в траве куропатки водятся. Мы шли обратно, и я чувствовала, что он не любит меня. Не любит и никогда не полюбит.

Темнело. Мы сели в машину, а он и говорит:

— Эх, одиноко-то как!—И, даже не взглянув на меня, взял за руку.

Может, он все-таки любит меня, хоть немножечко.

А он говорит:

— Эх, малышка, полюбила бы ты меня, что ли.

Я говорю:

— Ой, Буч, я ведь не умею.

— Эх,—сказал он,—ну ты такое чудо, золотце мое, малышка, но нельзя ж быть такой маленькой.—И бросил на меня голодный взгляд.

Интересно, подумала я, вот когда спят с мужчиной, нельзя сперва свет выключить, чтобы он не заметил, какая ты тощенькая?

— Ну так как?—сказал он.—Нет? Не хочешь? А то нам обоим одиноко, да ты еще и страху натерпелась.

У него у самого на лице был написан страх, но я ему об этом не сказала. Я и двинуться-то не могла. Он поцеловал меня, чуть раздвигая мне при этом губы.

— О, господи,—сказал он.

Я испугалась. Вдруг ему не понравилось. Вдруг у меня вышло неправильно.

— О, господи,—сказал он.—А ты, видать, правду говоришь, что никогда ни с кем не целовалась.

— Ни с кем,—говорю.

— Честно?

— Конечно.

— Во дает!

Мы проехали мимо каких-то скотных дворов, а потом остановились выпить кофе с пышками, я глотала, а вкус как бы за него чувствовала, и вообще пыталась понять, как это—быть им.

Когда он съел три пышки, я вскочила и принесла ему на тарелке еще две, я держала перед ним тарелку, а он сидел, склонившись к ней лицом.

*Ой, мамочка, что ж мне делать-то?
Ты права была, всюду страх.
Не видать бы мне света белого—
Не в ладах я с ним, не в ладах...*



Глава 9

олучить письмо от отца я никак не ожидала. Мне даже что-то не по себе стало. Если он письмо пишет, значит, хочет тебя обвинить в чем-нибудь. Вывести на чистую воду. Ему вечно кажется, что мы все перед ним в чем-то виноваты. Стоит мне только попасться ему на глаза, как он уже готов навешать оплеух. Наверное потому, что видит во мне ту же неустроенность. Мне чего-то очень-очень не хватает, а ему-то ведь тоже.

Последний раз мы переезжали после того, как выменяли было себе ферму, на которой росли одни

сливовые деревья да еще стояло несколько ульев (что мы смыслили в этом? — тоже мне, фермеры!). Переехали обратно в свой старый дом, и его я уже не забуду в жизни. Когда я уезжала в Сент-Пол, мама стояла у окна и плакала, а я прощалась с нашим стареньким деревянным домишком — с его висящими на одной петле дверьми, с его косоватыми окошками и скрипучими, хлопающими на ветру ставнями. Вот мамино лицо в тусклом свете у окошка — очень белое, и взгляд такой, словно она в последний раз на меня смотрит. Напоследок она сказала:

— Про Мерилин не говори никому, господь нас так наказал, так наказал, а теперь и ты в этот содом. — Мерилин, говорят, связалась с бандой торговцев наркотиками. — Я даже не обернулась помахать матери, рта не раскрыла ни всплакнуть, ни слово сказать.

У меня такое ощущение, что мои родители и пострадали, и изувечены не меньше, чем если бы в их плоть вонзались пули или пришлось бы лишиться рук или ног. Одно к другому, а в результате они теряли детей. Последний, младший сын исчез за поворотом дороги, и все — ни слова, ни весточки. Мерилин, красавица, куда красивее меня, услада отцовских глаз, брошена, как сам он говорит, в клоаку города. И я ушла — из-за того, что отца приводила в ярость необходимость сидеть сложа руки, когда вокруг столько голодных ртов. Нам даже есть приходилось посменно. Он мрачно, истово любил своих детей, а все, в чем он мог быть уверен, так это в том, что им уготованы несчастья.

Поэтому, когда я получила от него письмо, я сразу поняла: произошло что-то ужасное, и все никак не могла заставить себя его распечатать.

Буч говорит:

— Давай я тебе его распечатаю. Тонуть в море, умирать на диком Западе, присылать открытки из Канады или с Аляски — это ведь отцам так и положено, какого черта. — В результате он распечатал письмо и принялся смеяться, — ха-ха — склад черных металлов, литье и прокат, качество металла и поставок гарантируем, здравствуй дочинька... — Я вырвала у него письмо и поскорей спрятала.

— Разве можно забыть отца, — говорю, — это же все равно как перед тобой череп — и смотрит на тебя пустыми глазницами! А вообще-то, — говорю, — неудачи преследовали отца чуть не с рожденья. В чем только он их не натерпелся — не упомнишь.

— Да просто руки у него не из того места растут,— сказал Буч.

— Да нет, из того. Но что-то все время было против, и сколько ни работай—без толку, и хоть тресни. Вкалывал, тужился, пытался устроиться получше, выменивал одно на другое, надеясь вырваться, напасть на что-нибудь такое, что положило бы конец нашим невзгодам прямо сейчас, завтра же.

Помню, мне было тогда три года, мать еще всю ночь молилась, чтобы он в себя пришел, но отец вернулся из своей поездки и говорит, выменял, дескать, наш прекрасный городской дом на ферму в Висконсине—сливовое садоводство с пасекой. Мама—плакать: ну что ты смыслишь в этих сливах да пчелах! Ничего, говорит, но ты только представь: пчелы, сливы, это ведь не то, что всякие шахты да уголь, в котором я по уши с детства. Ветхий завет, да и только. Всю ночь мама плакала.

Переехали мы на ферму. Ульи стояли в долинке, а подальше высились горы. Красиво. У нас было две коровы. Одна корова лягнула моего брата в ухо, и он оглох. Мать сказала, что это кара господня. Мама все лето просидела, плетя кружева на платье, чтобы не вспоминать о том, что моя сестра так оступилась. Джим принялся разводить кроликов, и когда он спросил, надолго ли надо запускать кролика к крольчихе, все взвыли от хохота, но надолго ли, никто не знал. И как раз когда у нас развелось приличное поголовье кроликов, они заболели и за одну ночь все разом передохли.

Картофель в тот год засох в земле. Старшие дети его выкопали и свалили в кучи, корова и лошадь отвязались, наелись его и их вспучило. Корове проткнули брюхо мясницким ножом, и она потом поправилась, а лошадь задохнулась и пала.

Во время засухи смерть была повсюду, и мама целыми днями плакала, боясь, как бы не дошла очередь и до детей, все повторяла, что господь на отца ополчился—да что ж такое, теперь, когда он всю жизнь проработал, всегда был праведным, делал все, что в его силах, руки до костей износил работой!

Помню, как я впервые пошла работать: у мамы как раз родился седьмой сын. Мне тогда было одиннадцать. Служба социального обеспечения послала меня работать к миссис Кранах за комнату и стол, и мать сказала: что ж, одним ртом меньше. Отец

ничего не сказал. Казалось, он стал только еще тощее и печальней, дал мне монету в четверть доллара и вроде как все хотел что-то сказать мне, но так и не сказал.

И когда я вернулась от миссис Кранх из-за того, что ее старик забирался в мою комнату и пытался улечься ко мне в постель, отец опять ничего не сказал. Только курил без передышки, а когда я проходила мимо него на кухне, потреплет меня по спине—и все. Когда он спросил меня, как они там со мной обращались, и я сказала, что работала по восемнадцать часов в день, он только взглянул на меня и затянулся сигаретой.

Помню все дома, где мы жили, старые коридоры, помню комнату, где у матери еще до меня родился ребенок, старший брат Джо. Рожала мать всегда легко. Отец этим гордился. Нет, вы только на нее поглядите!—говаривал он.—Вот так женщина, родит где придется, тут же встала и давай ужин готовить!

— Пусть мертвых хоронят мертвые,—сказал Буч,—ты ведь не просила, чтобы тебя рожали. Они напортачили, а ты отдувайся, что, скажешь, не так? Не из-под пистолета же их заставляли! Да ты собираешься письмо читать или нет? Кстати, мой папаша, скажу я тебе, еще тот был туз трэф. Картежник, каких мало. Домой только и приходил, чтобы сделать матери очередного поганца. И тут же рвет когти опять куда-то в голубую даль. Говорят, ходок был; красивый. А что,—вот хоть на меня поглядеть.

— Прочитать тебе папино письмо?

— А что, можно, хотя вообще-то мне все равно. Мой папаша время от времени присылает открытки с горными видами—у меня, мол, все в порядке, как жизнь, как детишки. Жаль, что вас нет со мной. Но ни разу не сообщил, где он. Н-да, всем папашам папаша...

Читать письмо или не читать? Мне подумалось, что если его прослушает Буч, мне будет не так страшно. Я знала, что если я прочитаю его одна, мне потом будет ужасно страшно. Наверняка все это к тому, что недолго отцу жить осталось.

Я так и видела его невьносимые глаза. Не известно еще, что хуже—читать ли вслух или про себя, в одиночестве.

Здравствуй дочинька!—так оно начиналось. После шестого класса учиться отцу не пришлось. Он этим уши всем прожужжал, выкрикивая как какое-то заклинание.

Письмо было такое:

**СКЛАД ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ЛИТЬЕ И ПРОКАТ
КАЧЕСТВО МЕТАЛЛА И ПОСТАВОК
ГАРАНТИРУЕМ**

Арт Шаффер

Листовая сталь и ремонт котлов

Здравствуй дочинька! Я получил твое письмо и очинь удивился чего ты надумала писать мне неужели действительно хочиш знать как я, жив и не помер ли?

Нет ты и правда что ли больше не сердишся на своего никчемного папку?

Ну если и впрямь интирисуешься скажу тебе, так что я не живу а существую. Работы никакой стоящей нету и нету нету больше склада. Так только если что-то случайно подвернется. Насчет денег у меня полный крах. Физически я человек сломленный а умственно бог знает, пускай твоя мать и все остальные, которые довели меня до такого радуются, чего они добились.

Ну и пусть веселятся!

Все равно придет день даже если я не доживу и не увижу, но день настанет и все они получают по заслугам, а если ты опять скажеш что я нытик тогда и вовсе, нечего мне писать больше.

Лучшие годы моей жизни я принес вам всем в жертву а теперь когда я в таком состоянии хочу остаться один со своим нищадьем.

Вся любовь к моим Детям которая горела в моем сердце уже потухла и только язва осталась, которая болит.

Отвичаю тебе только что б ты знала если так уж любопытно.

Если так уж уж понадобилось тебе писать мне твоему бесталанному папке.

Все равно тебе не причинить мне никакого вреда больше чем ты мне уже причинила.

Совисть у меня чистая и ясная. Господь свидетель я выполнил свой долг перед дитьми и если ты думаиш по другому пожалуста на здоровье.

Прощай и будь щаслива и пусть мои внуки накажут моих детей как они наказали меня.

Твой отец,

Арт Шаффер.

Буч задремал.

Я убрала письмо в карман.

Невыносимое отцовское лицо казалось погруженным в сон, как лицо Буча. Это его ужасное обвинение закрыло ему глаза навеки.

И впрямь, пусть бы он лучше умер.



Предчувствие меня не обмануло. На следующей неделе пришло заказное письмо, в котором сообщалось о его смерти. Мама просила приехать. Я и сама была рада на время вырваться. Буч преследовал меня день и ночь. Я любила его, но этого все же страшилась. Не знала, что и делать. Мы оба прямо с ума сходили.

Родители жили в деревне, чуть выше по течению Миссисипи. Всего в двух часах езды.

Наш старый дом я увидела еще из окна автобуса. Постучала в дверь. Мать вышла. Она казалась еще меньше, чем всегда, и еще старше.

— Ах ты, моя девочка,—вскрикнула она,—ведь они меня винить будут. Как ты думаешь, ведь они меня винить будут?

— В чем винить?—отозвалась я. От матери шел странный запах.

— Не моя это вина,—не унималась мать.—За что им меня винить? Вызвать доктора—это же так дорого!

— А ты разве не вызывала доктора, а, мама?

Она закрыла лицо фартуком.

— Ну вот, и ты будешь винить меня. Ну мы же не могли позволить себе—ведь это такой расход! Ему повезло, что он умер так быстро и совсем не болел. Я всегда говорила, что так лучше всего.

Дом был все тот же—старый, деревянный, те же холодные комнаты, в которых теснились семеро маминых детей; они все еще жили дома, даже Джо, которому двадцать два, больше чем мне. Мы прошли через переднюю. Я все поняла. Вошли в гостиную, и все со мной поздоровались. Мать все еще плакала и стонала. Я не могла смотреть на нее.

— К тому же это не моя вина,—всхлипнула мать, глянув на меня одним глазом поверх фартука.—Я попросила Фреда—он тут был, сосед наш,—я его попросила, и лучше уж не просила бы, пора бы знать, что если что-нибудь нужно, так нечего поручать кому-то, сама сделай, а я его попросила, чтоб вызвал по телефону, и думала, он это мигом. Чтоб я когда еще кого-то о чем-нибудь попросила! Твой отец не стал бы меня винить.

Все так же она смотрела на меня одним глазом. До чего можно довести женщину! Что за жуткие вещи хранит женская память!

— Хочешь взглянуть на него?—предложил Джо.

Джо машинист, но работы у него нет. Лет ему примерно столько же, сколько Бучу. Он положил руку на мамино плечо. Я бы ни за что этого не сделала. Никогда уже не смогу дотронуться до мамы. Джо сказал, хорошо, мол, что сейчас не лето.

— Почему? — спросила я.

— Потому что от папы пошел бы запах.

— Запах? — эхом отозвалась я.

— Конечно, — говорит, — хоронить его должны за счет округа, его должны забрать, да все не приезжают, и лежит он уже два дня, а в нем ведь полно всякого.

— Христом-богом тебя прошу... — пробормотала я.

— А я этим, из комиссии помощи безработным, говорю, убирайтесь, — сказала мама. — Я им сразу дала понять, что знаю их повадки. Вот угля у нас нет, да и еды почти что нет тоже, только рису немножко. Нам бы сейчас окорок или хоть...

Шестилетняя Эйли перебила ее:

— А нам для папы венок, что ли, не нужен? Папе положены ведь какие-то цветочки.

Мама говорит:

— Подойди, посмотри на него. Что бы нам такое придумать? А венок, деточка, мы не можем купить; венок! скажешь тоже. А если могли бы, какими бы мы цветами убрали отца и мужа? Может гвоздиками? А что, гвоздики — цветы красивые.

— Всегда называла его мистер Шаффер, не иначе, — тихонько хихикнула мама, все еще глядя на меня одним глазом. Да и отцом его никто не называл, просто па.

— Или папа, — послышался голос кого-то из детей. — Неужто у нас и венка для папы не найдется?

— Пока что мы только его хороним, — сказал Джо. — А покойник — он и есть покойник, с голоду, по крайности, уже не помрет.

Вошли к нему. Он лежал на кушетке, а по бокам мама зажгла какие-то огарки свечей. Отец. Я поглядела на его лицо. Длинные висающие, как у моржа, усы, такие забавные, казались живыми. Глаза закрыты. Я вдруг обрадовалась, что он не увидит меня и не примется ни орать, ни драться. Черные брови свирепо сдвинуты, и словно чуть движутся, будто мыши, вгрызшиеся в его лицо.

Последний раз, когда я его видела, он бродил по дому и вопил что-то про то, сколько ртов ему приходится кормить, — на щеках серая щетина, а серые кальсоны болтаются, отвисшие оттого, что он в них спал. Он был зол на мать за то, что она решила обратиться в комиссию помощи. Я проработал всю жизнь, кричал

он, и пока у меня две руки к плечам присобачены, буду сам кормить свою семью, и никаким дамочкам из комиссии здесь шнырять не позволю, это я тебе говорю, ты слышишь?

Мама подошла совсем близко и чуть приобернула ко мне маленькое испуганное личико, словно извиняющееся за все, за все. Я как увидела мамино лицо, сразу мне захотелось плакать. До этого не хотелось. Он был нам как чужой. Что значит отец? Она никогда его толком не знала. Он только бил ее да делал ей детей.

— О, он хороший был человек,— сказала мама,— он хороший человек был, настоящий добытчик. Если хоть какая-нибудь была возможность, никогда не упускал ее.

— А, бред,— сказал Джо.— Круглый болван был.

— Замолчи,— сказала я.— Ой, мамочка...

— Детонька моя,— отозвалась мама, ее личико сморщилось, и она принялась беззвучно плакать, словно боялась кого-то побеспокоить.

Младшие девочки сварили кофе, накрыли стол. Похоже, и впрямь в доме был какой-то запах. Меня начало подташнивать. Я никому об этом не сказала.

Мама говорила все так же тихонько, то и дело косясь на дверь, словно папа мог выйти и наорать на нас.

Она начала рассказывать мне про всех своих детей. Подняв взгляд, я могла видеть, с какими испуганными глазами они сидят по всей комнате, слушают.

— Мы всегда были бедными,— говорила мама,— всегда было трудно сводить концы с концами, но никогда нам не жилось так плохо, как сейчас. У меня тоже со здоровьем нехорошо нынче, совсем здоровье пошатнулось.

Анджела чудесная девочка,— продолжала мать.— С родителями ласковая. Стася не то. Очень стала противной последнее время, не отвечает, когда папа к ней обращается, уйдет и дверью хлопнет. Плохо к папе относилась. Он заставил ее бросить школу и идти искать работу. Без денег-то нам никуда, деточка. Она обозлилась, проработала на фабрике всего два дня, и нам приходилось отбирать у нее деньги. Она так гадко начала себя вести со своим отцом, что он перестал с ней разговаривать и однажды так разволновался, что упал в обморок. Стася большая аккуратница, чистюля, любит поплескаться в ванне, но нельзя же так разговаривать с папой. Он, что ли, виноват, что не может найти работу и кормить семью? Папа всегда считал, что дети в долгу перед своими родителями.

— А, бред,— сказал Джо.

— Тшш...— прервала его я.— Продолжай, мама.

— Сыновья хорошие,— сказала мама.— Генри нервный, но неплохой мальчик. Папа всегда хотел, чтобы его мальчики поступали правильно. Когда вы были поменьше,—она чуть помедлила,—с вами было меньше хлопот. Но Стася,—ой, Стася всегда плохо вела себя с папой. Бывало, домой придет, видит же, что он за столом сидит, но даже не посмотрит в его сторону.

Стася привстала.

— Он хотел всем приказывать, царствовать над всеми,—сказала она.— Потому что сам неудачник, он и других хотел такими же сделать, чтобы им не стать лучше его. Когда он вслух читал газету, мы не смели слова сказать—ничего; дескать, болтать, меня все слушайте...

Элен ей в ответ:

— Зато когда папа хотел дать тебе ремня, ты начинала бегать от него, руками махать—конечно, он злился. Почему было не подчиниться, ну выпорет...

Стася заплакала.

— Он меня бил при людях! Больше уже не тронет. Рада я, рада, что он умер!

Никто ничего не сказал.

Снова мама:

— По-моему, в доме должна быть любовь.

Никто ничего не сказал

— Теперь только для вас буду жить, дети,—сказала мать.— Хочется, чтобы у вас дела пошли лучше. Хочется дать вам образование. Хочется, чтобы у вас не так получилось, как у нас с папой.

Никто ничего не сказал. Потом, среди молчания, голос Элен:

— Спасибо, мама.

— А как папа умер?—спросила я.—Еще на прошлой неделе с ним было все в порядке, и вдруг умер.

Все переглянулись.

Джо говорит:

— Я спросил папу, можно мне взять его инструменты.

И мама—быстро-быстро:

— Эти инструменты—все, что у папы оставалось, он любил их, они у него очень давно.

— Ну так а я ведь ничего им плохого делать не собирался, мне подвернулся случай немного подзаработать, а он не велел мне их трогать, а я все равно взял.

Тут Стася вступила:

— И тогда он вскочил и начал все в доме крушить как сумасшедший, а мама говорит, ты бы Джо встретила, предупредила его, и я весь вечер просидела у окна, но заснула, а Джо все равно со двора вошел, и я проглядела его.

А Джо говорит:

— Папа дожидался в темноте, а я-то вошел в комнату и разделся, стою уже гол как сокол, тут он как выпрыгнет, схватил меня и давай ремнем лупцевать.

Мы все опустили глаза.

— Если бы он выпорол меня нормально—днем, разложив на скамье,—говорил Джо,—я бы не возражал, но он лупил меня в темноте и все приговаривал, мол, нечего по девчонкам шлаться... да и вообще, ну что это—в темноте, как зверь какой-то на меня напал.

Генри добавил:

— Спускаюсь я на первый этаж, гляжу, мама удерживает папу за руку и говорит:

— Не бей моего сына;—мы все стоим там внизу, а он как заорет на нас:

— Вы все против меня, весь белый свет на меня ополчился,—и застонал, заплакал.

Джо говорит:

— Он отпустил меня и завыл, как побитая собака. Ужасно. Мы испугались от этого еще больше, чем когда он на нас орал.

— Я уйду,—все всхлипывал он,—я уйду. Дайте мне наволочку, я брошу туда жалкие свои пожитки и уйду, вот что я сделаю! Всю жизнь тружусь как каторжный. Ишачил, вкалывал, ни один отец больше делать для вас не мог бы. День и ночь хребет гнул ради детей, дома строил—все для вас. Пешком полстраны обошел в поисках работы, везде искал, всюду спрашивал—работы, работы!..

Мы все переглянулись.

— Фу-ты, как это ужасно было,—сказал Джо.

— А ведь правда,—сказала мама,—вы, дети, не знаете, что такое одиннадцать ртов, которые надо кормить день за днем.

— Ну, и кто виноват в этом?—пробурчал Джо.—Кто-нибудь из нас просил, чтобы его рожали?

— Тшш... Тшш...—сказала мама.

А Стася говорит:

— И тогда мама с ним не пошла спать, а легла со мной, а он пришел, сказал, что место женщины рядом с мужем, страшно выругался и ушел, побросав кое-что из одежды в наволочку, а мама всю ночь проплакала,

дескать, брошу его, вот увидите, сорок лет прожила, а теперь брошу, вот прямо на днях, и что тогда с ним будет... Да что бы с ним сделалось? О, никогда, в жизни я никогда не выйду замуж! Ненавижу мужчин. Никогда, никогда замуж не выйду!

— Он был хорошим отцом,—сказала мама.

— Самое смешное,—сказал Джо,—это что спать он лег прямо тут, под яблоней, и десяти футов от дома не отошел...

Младшие захихикали.

— А на следующее утро,—сказала мама,—ваш бедный отец входит бледный как смерть. Проспал ночь в сырости, ему поясницу-то и прихватило.

— Никогда я не стану замуж выходить,—сказала Стася.

— Ха,—усмехнулся Джо,—вы только послушайте ее.

— И не стану. Как ты-то могла, а, мама? Папа ведь только слонялся без толку да детей плодил.

— Он был моим мужем,—нахмурилась мама.

— А по мне хоть кем, ничего общего с этой поганью иметь не стала бы,—сказала Стася.

— А помнишь, как папа всегда объявления выискивал о купле-продаже?—вдруг сменил тему Джо.— Меняльщик он был будь здоров.

— Это да,—воскликнул Генри,— всю дорогу шило на мыло менял.

— Помнишь, однажды мы поехали смотреть дом с участком, а участок-то весь под водой оказался!

Мы все переглянулись, а Стася уронила голову на стол, и у нее затряслись плечи.

— Папа был фру-укт! Бывало, вдруг как вскинется: вот, кое-что стоящее нашел, и зачитает нам какую-нибудь объяву, как будто там дураки все и себе в убыток что-нибудь отдадут.

— О, папа как раз и искал, кто бы что отдал себе в убыток.

— Дети!—прикрикнула на них мама. Ее лицо сморщилось, дыхание стало каким-то чуть-чуть прерывистым. Смеясь, я обняла ее.

— Помнишь, как папа пытался обменять Генри на автопокрышку?

— Ой-ой,—вскрикнула мама и испуганно заозиралась.— Ой-ой!

— Нет, ну это ж—господи!—посмеивался Джо, прислонясь к дверному косяку. Генри вопил и прыгал как заведенный, стараясь на лету ухватить себя за лодыжки.

— Ой-ой! — опять вскрикнула мама. — Но это же он только на то время, пока мы съездим в город... Ваш папа...

— Нет, ну это ж — господи! — захохотал Джо уже во всю глотку. — Да ему лишь бы менять, хоть что, хоть святую деву Марию.

— Точно, он бы и ей нашел применение, — зашелся смехом Генри.

— А помнишь, как он искал для дома основание попрочнее, и выстроил дом на скале, а в сильный ветер она качалась туда-сюда, и у нас волосы на голове дыбом вставали...

— Но дом ведь так и не развалился, — кричала мама, — так и не развалился!

— Не развалился, — сказал Генри, — он-то не развалился, зато мы, случилось, из него вываливались...

— Ну, папа!

Все мы смеялись, все были счастливы. Теперь можно было смеяться, потому что папа умер. Вроде бы странно, а вроде бы и в порядке вещей.

— Ну, ты теперь одна, мам, — сказал Джо, — теперь и поразвлечься можно, гуляй, танцуй, пей пиво — а что, веселая вдова...

— Джо, — всхлипывала мама, — Джо, как тебе не стыдно, ведь отец еще и остыть не успел...

— Да успел, успел. Куда там... окочился в лучшем виде.

— Прекратите, — кричала мама, — ну прекратите же. — Она уткнулась лицом в фартук...

— Мама! Мамочка! — бросился к ней Джо, поднял ее на руки и подбросил над нашими головами.

— Да что же это, — кричала мама...

— Мамочка, если бы я был миллионером, я пригласил бы тебя на пир, угостил бы конфетами, накопил бы тебе побрякушек, пускай все идет в тартарары!

— Ой! ой! — вскрикивала она, из последних сил хватаясь за его могучую шею.

Ужинали мы рисом.

— В Китае, говорят, бедняки за свою жизнь съедают целую гору риса, — сказал Джо. — Мы свою, кажется, уже доедаем...

— Еще хорошо, что у нас рис есть, — сказала мама.

Я не могла заставить себя лечь в постель. Помыв посуду, я принялась скрести пол. Скребла его, где только могла. И кухню выскребла, и крыльцо. Припомнилось мне, как однажды папа стоял, опершись на метлу, а я подумала: ой, папочка, как хочется поцеловать тебя. Я не сделала этого, потому что побоялась.

Хотела притвориться, что вдруг заснула или споткнулась, и повиснуть у него на шее, но так и не решилась.

В дом вошла, когда все уже спали, один Джо сидел в гостиной, курил трубку.

Он улыбнулся мне,—запах, говорит, отшибает.

Все было тихо. На папино лицо я не смотрела. Но вокруг весь пол выскребла дочиста.



Глава II

Джо уехал в город. Услышав, как мама спускается по лестнице, я подумала: надо же, совсем легонькая становится. Ее шаги были едва слышны, робкие, как у пугливого зверька.

— Мамочка,—позвала я, и она вошла в комнату.

— Детонька,—говорит,—ты почему не легла так поздно? Тебе надо отдохнуть. Что ты все делала?

— Полы мыла.

— Ой,—сказала она, застыдившись,—давно у меня не мыто; ты, верно, думаешь, бог знает в какой мы грязи живем, а я ведь как раз вчера Стасе говорю: пора, пора помыть. Прости, детонька, что у нас так грязно...

— Что ты, мамочка,—говорю,—у вас чисто, мне просто надо было заняться чем-нибудь. Привыкла целый день с кружками пива бегать. На месте не сидится.

— Ой,—говорит,—так и работаешь в этом ужасном месте? Я-то тебя приличной, хорошей девочкой воспитывала, а тебе теперь приходится работать в таком скверном, порочном месте. И отцу это не нравилось. Но и о пособии хлопотать он не хотел. Сказал, что никогда в жизни он не просил ни цента подаяния; так он и умер, будто новорожденный—никому не задолжал. Так-то вот, никому ни цента.

Чувствовалось, что она отцом гордится. Я не сводила с нее глаз. Хотелось задать ей тысячу вопросов. Хотелось рассказать про Буча. Про то, что мне надо уже решаться.

— Мама,—сказала я,—ты когда-нибудь жалела, что вышла за папу замуж?

— Силы небесные,—отвечает,—что же ты говоришь-то такое... Жалела ли я, что вышла за папу замуж? Да что бы иначе со мной было! Сорок лет я прожила с твоим отцом, детей ему родила. Силы

небесные, дочь, да что это на тебя нашло, как можно задавать мне такой дикий вопрос?

Присели. Папа на кушетке, казалось, просто спал. Только бледнее был и тоньше обычного, словно ужасная какая-то лютость покинула его.

Мама сидела очень прямо, как молоденькая. И это после всего, что ей пришлось вынести! Со двора доносились голоса детей, занятых игрой, потом вдруг пропадали, беготня стихала, и только изредка тишину нарушали птичьи крики.

— Ай, как нехорошо,— сказала мама,— как нехорошо, что у нас нет для папы приличного гроба. Помню, у моего папы был очень приличный, серый, а вокруг такой бордюрик вроде как цветочками и надпись: «ОТЦУ, МУЖУ».

Эти слова — отцу, мужу — болезненно меня резали.

Мама все говорила, говорила. Я ей сказала, давай, мама, выговорись, не молчи, тебе полегчает. Расскажи мне еще что-нибудь.

Может, она что-нибудь объяснит мне. Может быть, сквозь ее слова что-нибудь вдруг проглянет, и я пойму, что делать. Что ни говори, а ведь есть же у мамы за душой и прожитая жизнь, и дети; ведь знает она, что все это значит, хотя и не умеет высказать. Кое-что она знает. Знает, зачем все это. И ведь она многое перечувствовала.

— Сколько всего было,— сказала мама,— детонька моя, малышка, а он сейчас совсем такой же, как тогда, в день свадьбы. О, была же ведь у нас и свадьба все-таки, шикарная свадьба, гость клал на блюдо монетку и шел плясать, а сливового вина наделали целый котел. Он тогда два доллара в день получал — всего десять часов работы, и два доллара. Но с каждой ночью он становился легче и легче, а кашель у него был прямо волчий. Все у папы было вечно не слава богу. Я бьюсь, как лучше для него стараюсь, но не судьба ему, видно. Однажды удивила его. Помню, как он изумился. Откуда, говорит это, Эмили? Очень был удивлен.

— А что ты сделала, мама?

— Говорю тебе, депрессия была, давняя одна депрессия. Эта ведь не первая уже. Сейчас не вспомнить, который был год. Но тяжело приходилось. Люди голодали. Мы лишились дома, папе ни цента не удавалось заработать, мужчины стояли в очередях за хлебом, в длинных, с целый квартал, это уж точно. Ох, тяжело приходилось, а когда сам голоден да столько ртов

кормить нужно, тужишься, будто мышь, что перетаскивает гору. Да уж, удивила я его,— что, мистер Шаффер, здорово я тебя удивила?

— А что ты сделала, мама?

— Что-что! Тряпок достала—подбирала старые комбинезоны, брошенные рабочими на пристани, дочиста отстирывала их, когда из дому все уйдут, распарывала и плела половик, а потом отнесла его мяснику с песчаной косы и выменяла на целого барашка. На славу половик-то получился, чего уж там, и мясник мне за него целого барашка дал. Мальчики притащили его домой и подвесили в угольном сарае— зима, помнится, была, а когда ты пришла домой из школы, я говорю: глянь, дочка, я целого барашка добыла. Ты еще удивилась: целого барана?

— Правда? Это я была?

— Да, дочь, это была ты, и каким же ты была милым котенком...

— Продолжай, мама.

— Ты сказала: мам, где? Я руку сразу к губам, чтоб не улыбнуться. Пошли, увидишь! Закутала тебя в свой фартук от ветра и отворила дверь сарая, а он там и висит, подвешенный за две связанные вместе ноги, целый, только кусок я на жаркое отрезала, и там кровь застыла. Прелесть какой барашек, а уж я их навидалась, еще на родине. Вот, висит, стало быть, и я его сама добыла, чтобы накормить мужа да чтоб детишкам было чем набить исхудалые животики, которые поди накорми, попробуй...

— Ой, мамочка, видно, тяжелая у тебя была жизнь!

— Да ну тебя, дочь, чепуха. Жизнь у нас с твоим отцом была хорошая.

Мать поглядела на него.

— По сию пору помню запах той баранины,— сказала она,— добрый мясной дух, что прямо до самой середины пробирает, когда ты мяса бог знает сколько не видела.

Мама и теперь была голодна.

— Каждый замечал сразу, как только войдет; улыбаются, во все глаза смотрят, кричат: баранина! настоящая баранина! Мама, где ты достала? На меня все такими глазами глядели! Смех, да и только. А правда, смеяться хотелось, петь. Все детишки мои, только войдут—с мороза съезжившиеся, личики с кулачок,— почуют запах горячей баранинки, и уже переоделись, помылись, напоминать не надо. Говорю тебе, на славу получилось. Мы из окна все глядели, когда покажется папа, а там уже пошли мужчины, у которых работа

есть — каждый с бидончиком. И то сказать, для женщины вечер — нехорошее время: сиди, жди, когда мужчина домой придет, а твой папа кашлял, сильно кашлял, я уж ему грудь терла, спину терла — спина мускулистая, о, было на что посмотреть, он был мужчина сильный, видный, утеша бедным моим глазам. И вот что ни ночь, я лежу там, а он все кашляет, кашляет и плюется кровью. Да, ну так вот: он придет, и все как разорутся, а в нашей хибарке этакая орава детей здорово может шуму наделать, хотя к нему и привыкаешь, так что без папы кажется ужасно тихо. Да, теперь будет ужасно тихо. Папа идет! — орут, — папа идет! — и вот уже он в дверях стоит и глядит на нас как бы сердито, ну, ты знаешь, он всегда так. Я всегда говорила, что весь этот уголь с шахты так в нем и остался. Он весь был словно божий гнев — жесткий такой, но добрый. Со мной он хороший был.

— Правда, мама?

— Да, никто бы не мог лучше быть. Правда.

— А как это — когда мужчина хороший?

Мама поглядела на меня. Принялась что-то выискивать на своем фартуке. Улыбнулась.

— Ну, ты молода еще, — говорит, — для таких вещей ты еще молода. Но это очень хорошо — когда мужчина хороший, это очень хорошо.

— Продолжай, мама, что было дальше? Расскажи.

— Помню все, словно вчера это было. Я стояла, помешивала мясо в латке, улыбалась и немножко тревожилась, потому что это его заботой было — добывать мясо, так что как бы он на меня не обиделся. Он встал сзади, заглянул через мое плечо в латку. Потрепал меня по спине. Все ребятишки притихли, словно мышата. Чувствую: во все глаза смотрят все мои ненаглядные детки, и от их дыхания туманятся окна. А он стоит там, резкий, как томагавк, и теплый, как голубь. Он ведь ласковый был, но заботы его донимали, неприятности.

«Эмили», — сказал он, а когда он со мной говорил таким тоном, у меня в глазах темнело. Передо мной всегда, всегда будет стоять его лицо, как он тогда надо мной склонился, всегда оно будет у меня перед глазами.

— Не плачь, мамочка.

— «Эмили!» — сказал он. — Как ты ухитрилась это добыть?. Тут все принялись выкрикивать: «Жаркое из баранины, с компотом!...» «Барашек!» — пробормотал он, когда дети ему рассказали. — Надо же, целый барашек! — Ой, он тогда был от меня в восхищении,

точь-в-точь как тогда, когда я рожала: никто, мол, не рождает легче, чем Эмили, ну-ка, послушай, как она крикнула, это она нам с тобой, а потом она встанет и приготовит ужин. О, он восхищался мной. «Как,—говорит,—ты это сумела?» А я прямо так и свечусь вся. Твой папа мог дать мне столько радости, когда хотел, но жизнь у него была злая, горькая, так и норовила ухватить побольнее, что твоя уличная собака. «Ах ты, наша мамочка,—сказал он.—Ты что, украла его, что ли?» Я засмеялась. «Постой,—говорю,—ведь дети же смотрят!» А я следила, чтобы дети не видели, как мы целуемся.

— Почему, мама?

— Да и так уж вы больно шустрые. Дети сидели тихо, глядели на нас, а он говорит: «Ты что, украла его, что ли?» Я сказала, дескать, хочу тебя накормить получше. А это острое такое чувство, когда ради мужа, ради детей готова самое себя, свое тело на куски изрезать, чтобы накормить их. Жаркое давно было готово, постреливать начало, пора было его раскладывать по тарелкам. Ах, какая еда, какая еда, все так и следили за каждым моим движением, как бы кому больше других не положила, мясца того драгоценного. Да, скажу я тебе, бывает, что таким драгоценным мясо кажется, и слюнки так и текут. Как сейчас вижу вас всех за столом. Хорошо бы тебе, дочка, выйти замуж за человека вроде папы и нарожать детишек. А папа сказал: ну, поехали!—и все принялись за еду.

— А мне тогда сколько было, мам?

— Если я правильно помню, вроде бы десять. Ах, хорошо жить. Много-то ведь иметь не обязательно, нет, мы никогда не требовали многого. Понимать друг друга, быть рядом, бок о бок, чтобы жить как песню петь—всею грудью, всем существом. Надо жить с этим и с этим умереть, и только тогда поймешь. И никто ничего не объяснит, доченька. Надо жить с этим, а иногда и умереть с этим, и тогда это в тебе, тогда ты это понимаешь все время.

Он ведь высокий, до сих пор его не согнуло. Когда я обмывала его, а потом обряжала, я видела его расслабшие мускулы—весь мощный костяк ими перевит, как старыми веревками. Его заставляли делать одно, а создан-то он для другого был, это точно. Совсем не для того он был создан. В молодости запальчив был. И еще—может, скажешь, дурно это... Я все на него голого глядела, когда обряжала его. Детей всех выпнала и глядела на него, глядела... Думаешь, дурно, а? Грех это?

— Нет, мама.

— Я ему и усы причесала, красивые усы-то. Бывало, пыль угольную все не вычесать никак. О, он был мужчина видный, ловко скроенный, такой ладный. Плохо с ним обошлись. Оттого и хворь завелась в нем. А дети от него хорошие пошли, добрые получились дети.

Мы еще посидели.

Я говорю:

— Ты, мама, может быть, снова замуж выйдешь.

Она глянула на меня, и я поняла, что не сделает она этого. А мне и невдомек было. Я ведь всегда думала, что папа неудачник и вообще злыдень.

На следующий день за ним приехали, положили на носилки и унесли; он потерял в весе, и нести было легко, это в глаза бросалось. А мама стояла посреди комнаты, спрятав лицо в фартук.

Ждать я не стала, потому что комиссия помощи безработным похорон не устраивает. Везут прямо на кладбище, туда где хоронят бесплатно. Мама все мучилась, что нет у нас для него венков, а Хелен и Руфь все утро оборачивали грецкие орехи серебряной бумагой, которую они собирали, чтобы продать в Красный Крест. Джо сказал, что не понимает, чем орехи хуже цветов, но мать слыхом не слыхивала, чтобы на гроб клали орехи, да и все равно бы распорядители из комиссии им не разрешили. Я им сказала, чтобы сходили потом и выложили бы на могиле узоры из орехов, папе это будет приятно.

Мне надо было уезжать. Все равно когда-нибудь возвращаться надо. Мама хотела что-нибудь дать мне в дорогу. Я говорила ей, что мне нужно одеяло. стыдно было брать, но она меня заставила.

Мама была как сама не своя. Сказала мне, что я должна стараться, пробиваться наверх.

— Хорошо, мамочка, я попытаюсь.

Про Буча я ей так и не сказала.

Я дала ей три доллара, все что имела—отложены были за комнату заплатить, а она сказала, что я плохо кончу, она это чувствует, и что все это из-за тех, кто молоденьких девочек домогается,—мол, в городе надо держать ухо востро, не дай бог мужчине что-нибудь позволить, смотри, дескать, помни, что я тебе сказала, и положишься на господ, иже еси на небесах.

— Хорошо, мамочка,—сказала я.

Она пригрозила, что придет сама, положит конец этой моей ужасной работе в вертепе порока, иначе я кончу так же, как моя сестра, погрязну в наркотиках,

сгину без следа, сказала, что не следует мне работать в этой ужасной пивной, надо что-нибудь отыскать получше, нужно пробиваться наверх, найти каких-нибудь приличных людей...

— Хорошо, мамочка.

А если, мол, со мною что-нибудь случится, с ее самой любимой дочерью, в этом мерзостном городе, в этих вертепах порока, она прыгнет с моста, она убьет себя или же мы однажды утром найдем ее в постели мертвой, умершей от горя.

Прощай, мама, прощай.



Глава 12

«Немецкий дворик» я вернулась другим человеком. Да, теперь, когда папа умер и мама мне все рассказала, я стала другой. Впервые я задумалась о маминой жизни и поняла, как все это время, терзаемая будто стаей волков, мать поддерживала нас, несмотря на все ужасы и испытания. Что бы ни случилось, она давала пищу нашим голодным ртам, и нечто благостное было во всех превратностях ее жизни, словно она знала какой-то секрет. Да, она знала секрет. Она дала мне понять это, дала почувствовать. Не могу сказать, чтобы мне уже не было страшно, не бросало бы из жара в холод, как над пропастью, но я знала, что прыгнуть придется, надо окунуться в это, как мама.

Последние свои три доллара я отдала маме. У Беллы и Хойнка денег, естественно, не было, они полностью зависели от Ганца, а я им буквально криком кричала: заплатите! А Белла мне: мол, было бы чем. Спасибо Ганцу, что их вообще, мол, из помещения вон еще не вышвырнули. Никто мне не хотел сказать, где Буч, и мне было не до посетителей, не до работы. Необходимо было найти его. Он никому даже на миг, даже мельком не попадался, и мне уже начинало казаться, будто он скрывается от меня специально: слоняется по барам где-нибудь на приречной окраине, чуть ли не под прилавки прячется.

Клара сказала:

— Была бы я парнем, я б тоже от тебя спряталась. Уж ты такая у нас красоточка, явно свое возьмешь.

— Да что возьму? — вскинулась я. — Что я возьму? Клара смеется.

— Любовь, ой, ну любовь же, а что еще-то! Ты, главное, лицо не прячь под передник, и мимо тебя не пройдут. А лучший способ заманить коня назад в стойло—это припасти ему свежего сенца. Ну, брось, не хмурься, детка. Буч насчет тебя сам не свой. Боится просто, что захомутают.

— Да ему-то что, это я боюсь!—простонала я.

— Пошли, погостишь у меня,—сказала Клара.—Я с этих фраеров выколачиваю прилично: хватает и за квартиру заплатить, и еще кое-что остается. У тебя бы тоже все путем получилось, это ведь ничего страшного, деточка, ты же не просто так, а ради лучшего будущего. А там, глядишь, с приличными мужчинами познакомишься, заведешь крахмальные кружевные скатерти, керамику ручной работы.

— Ой, Клара,—заплакала я,—ведь я на все готова—жить, познавать, людей касаться.—Клара обняла меня.

— А может, все-таки не стоит, детка, нет, больно уж ты у нас святая.

— Надо мне найти его,—говорю.

— А ты посиди в парке,—сказала Клара,—подожди. Он тебя как ищейка нюхом найдет.

Да я-то уж насиделась и в парке, и во всех пивных и быстро на Третьей улице. Вы Буча не видели?—спрашиваю, но какое там, только смеются.—Буча? Нет, сто лет как не попадался.

Такое было ощущение, словно надо спешить, мчаться как через лес, когда за тобой охотники и стрелы свистят вокруг и в тебя впиваются. А потом пошли дни, когда мне стало казаться, что больше я его не увижу. Ушел, решила Клара, на товарняк сел, смылся.

Ганца тоже не было видно, или, может, они вместе где-нибудь затаились?

Мне было хоть спать не ложись: каждую ночь один и тот же сон. Виделся Буч в могиле вместо папы, а потом они оба за мною гонятся, бить хотят, а мама меня прячет. Или вдруг Буч вбегает, весь простреленный, как решето, кровь брызжет, а я его поддерживаю, гремят выстрелы, и я просыпаюсь в слезах и с искусанными в кровь губами. Или снится, будто выхожу по ночам с Кларой и меня обнимают мужчины во фраках, а лица у них волчьи, и клыки торчат. Клара все успокаивала меня: ничего, мол, объявится, куда ему деться. А Белла наоборот: скатертью дорожка, по мне так пропади они все пропадом.

А потом, как это и бывает обычно, сижу я в парке, в полдень,—там еще два мужчины друг на друга

кричали, ссорились, а из-за дерева вышла женщина, и давай орать на них обоих, они развернулись, и к ней, вот-вот прибьют,—и тут вдруг откуда ни возьмись появился Буч—идет нога за ногу через парк, мимо них прошел, сигаретку выкинул,—ну да, Буч собственной персоной, улыбочка его чудесная из-под надвинутой на глаза кепки; я так и обмерла.

— Буч! Буч!—кричу, подбегая.

— Привет, беби,—говорит,—ты где пропадала?

— Где я пропадала? Господи,—отвечаю,—я же ездила на похороны отца.

— Дело хорошее,—говорит,—мертвых надо хоронить, это ж я всю дорогу твержу, всех бы их перехоронить.

Взял меня за руку.

— Как мне это видится,—сказал он,—от родителей нам достается одна злоба. А что—нынче детей иметь не сладко. Ну вот зачем вам всем дети? Скажем, война: не застрелят к чертовой матери, так с ума сведут. Что в них хорошего?

— О, в них много чего,—сказала я.

— Слушай,—говорит,—у тебя нет чего-нибудь типа чипсов? А пива ты мне не можешь выставить?

Повеселей стало. Все прямо посветлело вокруг.

Вошли в наш «Дворик». Думаю, Эк не откажет ведь налить кружку пива в счет того, что он мне должен, потому что у меня-то в кармане последний пятицентовик. Бутерброд на него взять решила.

В пивной было битком.

Клара протираала поднос, в окно буфетной было видно, как она дохнула на него и поглядела на свое отражение. Вид у нее был усталый.

— Ну, ты молодец,—сказал Буч, стиснув мои руки горячими ладонями.—Ты такое чудо, сил моих нет.

Я прямо вся—как мама говорит,—так и засветилась в улыбке.

Он принялся мне рассказывать какую-то очень длинную сказку про двух своих знакомых, которым здесь все никак не освоиться,—боксера-профессионала и некоего выходца из Сицилии, потом переключился на приятеля итальянца, землекопа, который то ли тупит, то ли как-то еще портит свои собственные лопаты, потому что ему нравится, с каким звуком они входят в землю. Болтая, он приходил в хорошее настроение, а я слушала, слушала, но мое внимание было обращено не столько к его словам, сколько к тому, что при этом происходит со мной, пока я сижу, смотрю на него.

Вдруг говорит:

— Тьфу, беби, не могу: ты их на меня так наставила! Сперва я не поняла, о чем он, потом заслонила груди рукой.

— Слушай! Я ведь, ей-богу,—говорит,—я обязательно заведу свою бензоколонку. Сейчас-то нам нельзя жениться, правда же? Но я куплю бензоколонку. У меня есть один знакомый, у которого другой знакомый готов дать мне кое-что в долг, чтобы можно было арендовать—ну, бензоколонку эту, а тогда уж все, золотце мое, тогда уж я кум королю. Ты не сомневайся, ну, понимаешь, мы поженимся потом. Нельзя ж ведь жениться без ничего за душой, это любой мужчина себя уважать перестанет, если такое допустит. Ты что-то сказала?

А что я могла сказать? Я чувствовала, что готова на все.



Глава 13

Лара принесла нам с Бучем пиво и похлопала меня по плечу, а я гляжу, и Белла из кухонного окошка на меня смотрит.

— Слушай, а может, нам пойти к тебе?

— Ой, нет,—говорю,—там хозяйка... Нельзя туда.

— У тебя есть рваный?

— Нет,—отвечаю.

— Вот то-то и оно,—сказал он.—Одного доллара и то нет. Господи, да как же это? Что за дела? Что вообще за дела? Ну понятно, разумеется, я уж и так стараюсь: сам живи и других не дави, не кусай руку, что кормит, не буди спящую собаку, да, но эти собаки черта с два будут лежать спокойно, не нам чета, идти надо и кусаться без разговоров. Что же это, совсем мы измельчали? Люди мы или мыши?

— Тшш,—говорю,—всем же слышно.

— Ну так что? И пускай. Я что—прошу у тебя чего-нибудь? Отвечай: да или нет? Прошу я чего-нибудь?

— Нет.

— Ну вот и ладно, и все в порядке. И расстанемся. И никаких обид. Разбежимся. Расстанемся.

— О'кей.

— О'кей.

.....

— А чего ты плачешь?

— Не знаю.

— Ха, не знаю. Боже ты мой, вот у женщин это и весь сказ: не знаю. Дьявол-черт-все-это-побери-проклятье!

Клара все терла и терла поднос, хоть в нем уже, как в зеркале, отражалось ее лицо, грудь, золотистые волосы.

— Что ж, все отменяется,—сказал он.—Давай, будь по-твоему, заводь их всех, вон—так и смотрят. Знаю ведь, чего ты хочешь.

— Ага,—говорю,—конечно, мужчины мне нужны!

— Давай, давай, к черту препоны, крути направо! О'кей, наконец-то! Во, праздничек! Лови момент, мой мотылек. Правильно, а что еще остается!

— Пять дамб,—во весь голос вещал какой-то мужчина у стойки, пять дамб на реке возводят. А все это—Управление общественных работ. ...Нет, ну чудесно же!

— Пошел к черту!—выкрикнул Буч.—Ничего тут нет чудесного. Мне вообще плевать, что они там...

— Тшш, тшш,—пыталась урезонить его я.

— Все к чертовой матери! Так, хорошо, девять часов. Пятница. Мы женимся и в ту же секунду расстаемся. Данным мне правом венчаю тебя, да будешь со мной одною плотью, и все мое земное имение для пропитания твоего...

Он вывернул карманы и вытряс из них все на стол. Один гвоздь, английская булавка, кусочки папиросной бумаги и пилка для ногтей. Пожалуйста, миссис Хинкли. Северо-запад—богатый край. Вот как раз—и от минералов, и от растений...

— Молчи, Буч!—взмолилась я.

— Что, может, признаешься? Поглядываешь небось на мужчин-то. Ты только мигни, любой твоим будет. И в карманах у них побольше моего. Ведь вот как: конец у нас получился прежде начала.

Я перечитала все ценники: американский сыр, курица - ветчина - свиная - отбивная - кофе - молоко - масло - сливочное-салат-помидоры-горячие-бифштексы... А виделось вместо этого другое: любовь-ревность-ненависть-брак...

И еще табличка: «Выхода нет».

— Все, ладно, пошел,—сказал Буч.

О, где же он—отец, брат, муж? О, где же он, где муж для нас?

— Не уходи, Буч.

— Пожалуйста, уходи сама, ищи себе достойного мужчину.

— Где?

— В Сан-Франциско, в Нью-Йорке, в Чикаго, в Цинциннати, в Кливленде, в Бостоне.

— О нет, не отпускай меня. Так велика эта страна, так бесприютна.

— Конечно, давай, поплачь. Поплачь, слез у тебя на всех хватит. И на китайцев, и на эфиопов, а меня пошли к черту.

— Да, иди, иди к черту. Раз ты сам хочешь, чтобы я тебя к черту послала. Что ж тут поделаешь, иди к черту. Конечно, иди к черту.

— Вот это другое дело. Давай разберемся как есть, детка, давай по правде, что ты собираешься делать? Скажи мне. Руби с плеча. Я выстою. Ну, ударь меня. Удары мне и раньше доставались, и еще много их мне предстоит.

— Нет у меня желания тебя ударить, Буч.

— Да ну, нормально, давай, выдай с размаху, врежь мне, я выдержу. По этой части я большую школу прошел. Можешь ты напрямик жахнуть или нет?

— Не хочу я ни жахнуть, ни врезать, ни ударить.

— Все правильно, с плеча рубануть женщине не дано. Вечно топчутся вокруг да около. А так чтобы ударом на удар—этого нет. Вот почему у меня на вас всегда кулаки чешутся. Мужчине надо жить, а не плясать на задних лапах ради каждого куска мяса—я ж не собака. Все ясно, я пошел.

— Не уходи.

— Если ты собираешься сидеть тут и реветь белугой, ей-богу, я пошел.

— Хорошо, уходи!

— Хорошо.

— Не уходи. Куда же я-то денусь?

— Ну а сейчас ты куда деваешься?

— Между прочим, мой папа все-таки был хороший человек.

— Ну вот, приехали. Я же как раз и говорю: у женщин всегда так. Только что про одно толковали, и уже про другое. Кому, к дьяволу, интересно слушать про твоего папу? Ну наплодил вас, так его за это зарыть надо, и не на шесть футов, а поглубже.

— Он зародил во мне желание жить.

— Дурь он в тебе зародил, больше ничего. Какого черта тебе нужно? Одно, другое. Тебе бы, я смотрю, вообще весь мир к рукам прибрать!

— Конечно. Да. Мне все нужно. Конечно. Такие у меня аппетиты. Всю землю хочу. Я богатая. Я большая. Хочу мясо, хлеб, в конце концов, я детей хочу. Изголодалась я. Сажу тут и голодаю!

— Замолчи.

— Не замолчу.

Кто-то поставил на проигрыватель пластинку «Мне нечего дать тебе, беби, кроме любви». Старая такая песенка. Голова у меня прояснилась. Смотрю на всех, слышу все. Самой землей мне обещаны величайшие радости, разве нет? Я это вижу. Чувствую. Хочу быть счастливой, для ребенка, для себя самой. Хочу быть здоровой и сильной. Чтобы нам жить и радоваться жизни на этих улицах.

— Буч,— плачу,— Буч, помнишь, как мы лежали в траве у самой обочины, а в десяти футах проходил трамвай, и в высокой траве нас никто не видел, чуть ли не на главной улице. О, Буч, ты ведь сильный!

Он поглядел на меня.

— Ах, девочка моя, ты такая прелесть, что прямо больно. Нам нужна комната. Позарез нужна.

Он схватил за рукав проходившую мимо Клару.

— Слышь, Клара,— говорит,— нам позарез нужен один рваный.

— Один доллар?

— Слушай, я тебе отдам завтра. Больше отдам, в полтора раза. Два к одному, клянусь на целой куче Библий. Банк грабану ради этого!

— Буч,— я говорю,— уймись.

— Вот это, я понимаю, любовь!— сказала Клара.— О'кей, ребята. По-моему, когда такое идет в руки, надо пользоваться. Вам хоть будет что вспомнить, ребята, такие вещи не попадают на каждом шагу. Ничем хорошим это у вас не кончится, но будет хоть пара приятных мгновений.

Она оттянула носок и вынула зеленую бумажку.

— Бабах!— говорит,— вот вам, ребята, мое благословение.— Она наклонилась, и я обхватила ее, прижалась лицом к ее тоненькой шее.

— Ой,— говорю,— Клара, миленькая, думаешь, надо?

— Давай,— сказала она.— Будет, что вспомнить.

— Пошли, моя прелесть,— сказал Буч.— Тебе будет, что вспомнить.



Глава 14

о мне так вовсе бы не выходить больше из этой замызанной комнатки в долларовой гостинице. Не хотелось открывать дверь и вылезать в

промоглый коридор с журчащей в конце него зловонной уборной. Век бы не отрываться от теплой груди Буча. А ему вроде как только бы скорей натянуть одежду да выбраться снова на улицу. Причем нам вообще не обязательно было покидать комнату до одиннадцати часов дня. Мне хотелось спрятаться, остаться там навсегда. Никогда не вставать, не вылезать на холод. Как странно: в городе, и вдруг лежим ничком, словно на лугу под безмятежным небом, ощущая друг друга близко-близко, впитывая телесное тепло и словно проникаясь друг другом, будто где-то по ту сторону всех катастроф и расставаний, ударов и столкновений, взаимных обвинений и неожиданных встреч.

Я чувствовала себя разбитой. Заплакала. Буч обозлился и шлепнул меня. Мамаша, мол, у меня тоже все плачет, а самой только бы заставить тебя сделать то, что ей надо. Может, тебе не понравилось? Я, может, не так что-нибудь сделал? Вот и мамаша у меня тоже с приветом. Плачет, плачет, а самой даже не вспомнить толком, случилось что или нет. Женщины все чокнутые, это как пить дать.

— Больно,—сказала я. Что этакое придется вытерпеть, я ведь не догадывалась. Правды ни от кого не дождешься. Теперь я поняла маму: почему она так страдала, и вместе с тем почему всегда возвращалась к папе, и какой это для нее был кошмар, и как она любила его. Мне казалось, что на улице каждый все сразу заметит. Теперь знала я, к чему все эти перемигивания и ужимки, зачем друг друга подталкивают локтем в бок и чего ради ждут на углах улиц. И даже подчас ежедневно рискуют жизнью. Разве мама не рисковала жизнью каждый раз, когда поворачивалась к папе, чтобы, как он сам называл это, принять микsturку. Слышала я, как он говорил эти слова, и слышала мамин вскрик. Теперь знаю, что этот вскрик значил. А так ведь никто не скажет.

Плохо мне было. Плохо, как никогда. Хотелось скорчиться, встать на колени. Взвыть, зарыдать.

Что-то раньше никто не жаловался, говорил Буч, натягивая штаны. Помню, с какой злостью всегда мой отец натягивал штаны и уходил, выкрикивая непристойности, а потом возвращался пьяный и частенько бил маму, и на слух это было почти так же, как когда они занимались любовью.

Я чувствовала, что никогда уже мне не быть прежней. Что-то вошло в меня, раскрыло настежь в каком-то яростном томлении. Или нет, скорее некие

существа мне что-то передали от своей плоти, перевоз-могли меня, что-то говорили — что же они говорили? — все его тело что-то сказало мне, пусть мне не вспомнить слов, но изменили они меня навсегда. Никогда, мол, уже не быть тебе глухой стеной, запертой дверью, пустым сосудом. Всем существом я чувствовала, как я вздымаюсь, словно мамино тесто, из которого она печет свой чудный хлеб. Я ощущала, как все во мне теплеет и неостановимо вздымается, тянется к нему, к его ладному телу, к его яростному томлению.

Мне хотелось выставить перед ним свое тело ковром — для мягкости, для тепла под его длинными немислимыми ногами. Он хмурился, натягивая через голову свитер. Я навсегда познала обнаженность тела мужчины и женщины, их жар и трепет и ужасную тягу слиться воедино, не оставаться порознь, в одиноких своих устремлениях. Познала плоды земные, словно разрешила яблоко и вижу маленькие коричневые семечки — лежат, спящие, рядышком в сердцевине.

И мы уже виделись мне не простертыми ниц, а двумя огромными огненными сгустками, превращающимися один в другой, пронзающими друг друга и распадающимися, стонущими и поющими, сливающимися воедино и вновь разрывающимися надвое.

Я подумала о Кларе: о том, как она это делает за доллар с чужими людьми, и о том, что, по ее словам, это равным счетом ничего не значит, если при этом нет чувства. И о том, как она однажды сама заплатила за это Биллу, потому что испытала сильное чувство, за которое сочла необходимым его отблагодарить.

У нас с Бучем все было чудесно, он даже шептал мое имя, а это — Белла говорит — верный признак, что у них к тебе любовь по-серьезному. Теперь хорошо бы сложить наши деньги вместе и записаться мужем и женой (теперь-то, когда портье внизу уже знает нас), уплатить вперед (в долг вряд ли поверят), пройти мимо сидящих в холле стариков, — все ухмыляются, даже полицейские, зашедшие, как они говорят, на посошок выпить, — и как было бы чудно потом пройтись по улице, чтобы никуда не спешить и шуриться от солнца.

Кстати, о Белле: она ведь тоже про Хойнка так говорит — мол, хорошо с ним, даже после всех этих ужасных лет, как, мол, им хорошо вместе! У нас во «Дворике» это сразу чувствовалось, когда им хорошо было вместе — над нами словно яростный свет сиял, и некая плотская радость изливалась на нас и всех оживляла.

— А нельзя не ходить?—спросила я у Буча.— Давай побудем еще немножко.

— Ты можешь поспать,—поглядев на меня сверху вниз, отозвался он.— А мне надо с одним парнем встретиться. Надо дела делать.

Что ему за дела делать надо? Так нервничает. Ему что, тоже больно? Явно ведь плохо ему.

Я протянула к нему руки. Хотелось, чтобы он вернулся, чтобы снова он вошел в меня. Может, теперь это уже не будет так больно. Должно же что-то в этом быть кроме боли, иначе почему люди так хотят этого, так дорого за это платят.

Я почувствовала, что превратилась в свою мать и могу ощутить все ее ужасные страдания и радости и то, как она все время отдаст себя. И то, как из нее появляются ее дети, а папа так горд, а потом опять сердится. О, как это было странно и таинственно, ужасно и упорительно!

Потом я заметила странный взгляд Буча, искажившееся его лицо.

Я испугалась.

— О господи,—сказал он.—Кровь на простыне. У тебя кровь идет.



Глава 15

Я вышла из той пакостной старой гостиницы и как из адского пекла, и как из райских кущей одновременно. Хотелось отыскать сразу и Беллу, и Амелию, и Клару, и маму. Вот улица: такая знакомая и в то же время такая долгая, узкая—казалось, стены норовят сойтись вплотную, раздавить меня, а я и так едва иду, словно меня, как цыпленка, взяли за ноги и разорвали пополам. И я подумала: интересно, что каждая из них сказала бы, станут ли они надо мной смеяться или начнут припоминать, как это впервые было у них самих? Я что—прошляпила?

А Буч что—выиграл? забил гол, загнал в ворота, влепил в девятку, засадил в кольцо? Разве теперь поймешь? От кого ждать объяснений, вообще каких-то слов, а может быть, насмешек?

Позади осталась греческая бутербродная, и вот уже дверь «Немецкого двора», похоже запертая, яростным отсветом послеполуденного солнца слепит глаза; тут я подумала, что хорошо бы, поскольку нынче

суббота, у Беллы был бы готов бигос, еще горячий. С радостью я увидела огромный, обведенный тенями Кларин глаз, выглянувший на мой стук в смотровое отверстие; она сразу широко распахнула дверь, выкрикнув своим тонким птичьим голосом мое имя, и вцепилась в меня как голодная птаха, а Белла крикнула: кто там? И вижу, Амелия в своей черной шляпе режет морковь для бигоса, а на стуле сидит и нарезает лук сумасшедшая мать Буча, и волны пара от огромных котлов поднимаются к свисающей с потолка голой лампочке.

Когда Белла вышла мне навстречу, я поняла, что она уже знает, и сунулась лицом в ее огромные пивные груди, а она приподняла мне голову, поглядела на меня и говорит:

— Что ж ты, деточка! садись скорее, вид у тебя как у покойника.

Мать Буча отложила лук и принялась вытирать глаза, а Амелия воскликнула:

— Ах ты, моя девочка, как я рада видеть тебя, словно я возвратилась после того, как меня выкрали.

— Вот, давай,—сказала Белла,—ноги повыше положи. Кровь должна прилить к голове.

— Когда родился Буч,—рассказывала его мать,—меня, доложу я вам, чуть на куски не разорвало, зато какой это был, доложу я вам, прелестный ребенок! А он, поди, тут сейчас, в песочнице играет. Надо кому-нибудь присмотреть за ним.

— Сидите, мамаша, сидите, я пригляжу. Вот, лучок надо дорезать,—сказала Амелия.

— Выпей рюмочку неразбавленного,—подошла ко мне Клара,—сейчас тебе в самый раз будет.

— Дай ей побыть одной,—сказала Белла.

— Нет,—вмешалась Амелия,—никто один быть не должен. Ты молодец, что пришла сюда, когда тебе плохо.

— Хо-хо, ей плохо!—заухала Белла.—Ничего, первый раз оно, конечно, трудновато, зато был бы не последний! Побольше, побольше морковки, Амелия, этакие лошадки, я их с рынка принесла, твердоваты, но ничего, сойдут. И побольше лука, мамаша, надо, чтоб лука было много. Говядина дорога нынче, да и с душком попалась. Да уж, у меня-то неплохо в первый раз все вышло, зря замуж не выскочила—а что, приятель отца как-никак. Я была совсем дитё. Когда он усадил меня к себе на колени, я думала, он просто приласкать меня хочет. Ну, и повезло, как всегда: в первый же раз залетела. Снабдил он меня кой-какими

деньгами, и я поехала в Сент-Пол, а тут за десятку втыкают в тебя огромную ветеринарную иглу — пшик, и иди гуляй. Тут, доложу я вам, множество фермерских девчонок головы сложило, побывав у этих сент-полских коновалов. У меня, слава богу, в ту же ночь все вышло, завернула я это дело в газету «Диспатч» и вышвырнула в реку. О, мне еще повезло!

— А Буч у нас тоже газеты разносил; однажды ему такой маршрут длинный достался! А не пора ли ему возвращаться к ужину? — опять забормотала мать Бу-ча. Какая она маленькая, какая немощная.

Белла помешивала бигос. От виски мне стало лучше, к тому же славно пахло бигосом, а вокруг эти женщины, которые знают то, что теперь и я знаю.

— Могу показать тебе фотокарточки, — сказала Белла, вся окутанная густым паром из котла. — Могу показать тебе моих бабушку с дедушкой, когда они приехали из Уэльса, и девчушку в крахмальном платье, стоящую в дверях. Должно быть, это я. А детей у меня так и не было, мне надо Хойнка нанять, тоже ведь дитё дитём.

Тут и Амелия кое-что нам поведала, чего я не знала прежде: что у нее уже было шестеро детей, когда началась та забастовка. Я, говорит, мужу в то утро сказала, что с пикетчиками идти опасно, можно под пулю угодить, а он мне ответил, и я никогда не забуду его слов: дескать, он лучше умрет, сражаясь, чем станет скэбом или будет жить, как трусливая крыса. Я ему: какой нам прок, мол, с этой прибавки к заработку, если тебя не будет. А он ответил, что живем мы не только для себя. Прибавка пригодится другим нашим сестрам и братьям и всем тем детям, что появятся после.

Она подошла ко мне и погладила меня по волосам.

— Не замыкайся в себе, девочка, — говорит, — никогда не будь одна.

А Клара подмигивает:

— Я напишу в молочный фонд миссис Херст, чтобы тебе давали молока. Чтоб любовь была нежна, добрая еда нужна, — а как мед да масло, так и жизнь прекрасна. — С этими словами Клара взяла мою руку и поцеловала ее.

Я заплакала. И не от одной только печали. От радости тоже. Плакала за всех нас, таких родных, близких, как семечки в яблоке.

Амелия прижала мою голову к своей груди, которая так много детей выкормила.

— О,—говорит,—сердца наших женщин вмещают всю великую жизнь народа.

Теперь я понимала, что она имеет в виду под народом, видела даже, как под землей мой отец ждет, когда жизнь изменится к лучшему.

— О,—Амелия перебирала мои волосы, гладила шею и плечи,—жизнь, что в нас зарождается, обязательно пробьется к свету, станет привольной и цветущей.

Я притронулась к ее животу, все еще тугому, словно в нем зрело живое семя. Теперь я чувствовала, что не одинока в этом городе—ведь все мы одно, поскольку знаем одно и то же. Чувствовала свой худенький живот и благодаря этому понимала женское тело, тело всех женщин вообще, и даже мамин опавший живот, которому никогда уже не вернуть форму.

Клара резко повернулась к окну.

— Ой, мамочки, ну когда же весна придет? Неужто доживем до лета?

— Хо,—засмеялась Амелия,—хо, мы и до следующего лета доживем!

— Да ну,—вступила в разговор мать Буча, вся в слезах из-за лука,—ну что ты, вот ведь и лук уже пошел в огороде. Пожалуйста, откройте ту дверь, там детишки мои.

— Да ну,—сказала Белла,—вечно украдкой, и ждешь, ждешь—я ждала в Кливленде, в Цинциннати, в Буффало, в Чикаго, в Нью-Йорке; могу подождать и в Сент-Поле, пока не отворятся склепы и отдадут нам наше семя. Если женщина хочет что-то получить в этой жизни, ничего у нее не выйдет, пока не превратится она в разбойника в какого-то, в вора, в фокусника, в фигляра. О господи, что за доля у женщины! Ну вот, малышка, теперь ты знаешь кое-что из того, что знаем все мы. Девочки, смотрите, чтобы бигос не подгорел. Чуть что—ко дну пристанет, а это хуже нет, если горелым отдает.

Немного погодя меня заставили пойти прилечь в Кларину комнату. Потом вернешься, убеждали меня все, поди приляг. Поспи.

Клара легла рядом со мной, обвила меня руками и попросила, чтобы я ей все рассказала, но еще больше ей хотелось рассказать о себе. Она сказала, что впервые у нее это было в двенадцать лет с компанией мальчишек в старом сарае. Сказала, что до этого никто на нее и смотреть не хотел, а тут она оказалась в центре внимания. Всем стала нравиться, все стали от нее добиваться: кто, мол, из них ей больше по сердцу?

Для них в этом масса удовольствия, говорила Клара, ну почему не дать им его, зато сколько внимания, подарки! А для меня это был всегда сущий пустяк, и, кстати, для моей матери тоже. Хотя это единственное, что в тебе есть ценного. Потом она принялась говорить странные вещи, в которых никак не сходились концы с концами. Никогда не позволяй мужчине думать, что ты принадлежишь ему вся без остатка или что он для тебя свет в окошке. Они такие, могут в одну ночь перемениться и стать хуже некуда. Мол, это даже хорошо, если ты ничего не чувствуешь. Потому что если что-то чувствуешь, то платы требовать уже нельзя. Однажды, говорит, она сама заплатила одному парню, причем черному, он был с ней таким ласковым, таким хорошим, заставил ее такое удовольствие испытать, что она заплатила ему. Ну да, говорит, и он принял. А еще было время, с сутенером жила. Тот непрестанно уверял ее, будто деньги, которые она ему приносит, он откладывает, чтобы на ней жениться, начать нормальную жизнь. У них даже картинка была — одноэтажный домик, где под крышей еще комнатка, вроде как второй этаж — они в таком доме собирались поселиться. Ей даже нравилось — ну, там, заботиться о нем, приносить ему деньги, покупать подарки. Так ведь лучше, потому что деньги, которые с этих фраеров снимаешь, вроде как совсем дерьмо, и от них хоть бы уж скорей отделаться, отдать или закупить какой-нибудь ерунды. Грязные деньги, если это не ради лучшего будущего.

— Слушай, детка, — сказала она, — а почему бы тебе не заработать ему на эту бензоколонку, тогда бы он крепко от тебя зависел. Намертво пристегнулся бы. Я тебя возьму с собой, покажу как. Выйдем попозже: всякие шоу и ночные клубы как раз закроются, и богатые фраера вылезут поживу искать. Ты свеженькая, для них прямо лакомый кусочек.

— По-моему, у меня кровь идет, — сказала я.

— А, это ерунда, клин клином... ничего страшного.

— Ой, Кларочка, — говорю, — так спать хочется. И потом люблю я его. Люблю его и хочу помочь ему. Не могу без него.

— Ой, деточка, это плохо. Как полюбишь парня — все, попалась. Ему тогда из тебя хоть веревки вей, и ведь не преминет. Сначала кажется, будто он тебя любит, но это не так, им бы только вставить. Делают вид, будто заботятся о тебе, но ты не верь, малышка, не верь. Они черт знает до чего доведут, потом забьют до полусмерти, изведут под корень. Ой, маленькая, будь осторожна!..

Мне было не заснуть. Я смотрела, как она наклеивает ресницы, взбивает свои кудряшки и прилаживает шиньон.

Одновременно она принялась говорить сама с собой про бессмертную свою душу и про то, что фраеров клеить грешно. Дескать, гореть ей за это в аду, и вдруг встала перед самой кроватью и как закричит: уноси, мол, отсюда ноги, пока не поздно, пока не заработала себе ад и вечное проклятье.

— Ой, Кларочка,—говорю и руки к ней протягиваю,—ты такая хорошенькая, такая добрая, ты не попадешь в ад.—И тут она вскрикнула, упала на кровать, и я обняла ее.



Глава 16

Вечер был субботний, но оживления особого не ощущалось, и Белла все гнала меня домой отдохнуть. А я высматривала Буча, но он так и не пришел, и я решила, что он обиделся. Я все испортила. Он никогда уже не захочет ко мне вернуться. Белла была иного мнения: нет, просто у мужчин это в обычае—притворяться недоступными, чтобы забирать над тобой все больше власти. На самом-то деле, мол, ты Бучу и впрямь нравишься, поверь мне, уж я в этом разбираюсь. Бог даст, будет у вас все хорошо и прочно, как у нас с Хойнком. Когда ты нашла мужчину, который для тебя создан, это сразу чувствуешь, причем это лучшее, что за всю твою жизнь с тобой может случиться, а чувствуешь это сразу и навсегда.

Клара спросила, нельзя ли нам уйти чуточку пораньше, благо народу мало, и вытолкнула меня на холодную полуночную улицу. Надо, говорит, тебе добыть для него кое-какую «капусту», они это уважают. И тогда он твой, опять же бензоколонку свою придорожную купите—не надо ни в долг брать, ни в скэбы подаваться.

Я ничего не спрашивала, шла рядом.

Становилось ужасно холодно, ветер так и метался по улице, под фонарями, пронизывал насквозь.

Клара и говорит:

— Ты себе стой на другой стороне улицы и близко не подходи, просто наблюдай. Когда вдвоем, это без толку. Мужчины лишних глаз не любят.

Я встала около университетского клуба, а Клара напротив, через дорогу. В зале внутри мелькали люди. Клара подошла и сказала, что еще рано, можно пойти выпить кофе, а когда у них там кончится, дело пойдет. Сказала, что троих-то уж она всяко в эту ночь обработает.

Я смотрела на Клару так, словно вижу ее впервые в жизни. Мы сидели за столиком, Клара все время деловито поглядывала в окно и строила мужчинам глазки. Мне было неловко. Глаз было от стола не поднять. Вошел какой-то молодой человек, остановился у стойки и поглядел на Клару. Она улыбнулась ему, и я подумала, что она его знает. Он подошел и говорит: как насчет прогуляться? Я в стол гляжу, а она говорит: о'кей,—и ушла, прильнув к его локтю и с улыбкой заглядывая в лицо. Я, говорит, скоро вернусь, ты тут подожди. Взглянуть на нее я не смогла себя заставить, но потом, когда за ними закрылась дверь, я посмотрела в окно и вижу: Клара, такая тоненькая, прижимается к его локтю и смеется какой-то его шутке. Было девять часов. Я сидела, глядела в стол.

Когда она вернулась, на часах было двадцать минут десятого. Ее не было двадцать минут.

— Фу-ты,—говорит,—как удачно. А он ничего, между прочим.

— Он тебе нравится?

— Нет, ну при чем тут... просто по-быстрому, не то что эти старики, и не воняет от него, молодой, быстрый, чистый. Не так-то просто нынче, когда столько мужчин без работы. Слушай, давай пива выпьем. Эй, ну-ка, налей нам.

— Что, на весь улов?—подмигнул бармен.

— Ишь, остряк какой,—нахмурилась Клара.

Мы снова вышли на улицу, а я все выглядывала Буча. Все ждала, что вот-вот он из-за угла появится. Мы опять разделились, пошли к набережной, Клара медленно шла по одной стороне улицы, я, так же медленно, по другой. Все мужчины, казалось, очень торопились, шагали, нагнув головы, и когда Клара останавливалась и заговаривала с ними или несколько шагов семенила рядом, они качали головами и шли дальше. А один вывернул карманы и остановился поболтать с Кларой под фонарем.

В десять она поманила меня к себе, и мы снова побрели на взгорок, встали около университетского клуба в ожидании, когда повалит толпа из зала. Клара сказала, что не надо было терять целый час: и так было ясно, что без толку.

— А знаешь, малышка,—вдруг сказала она,—что-то, по-моему, вид у меня становится потасканный. Уже не получается как прежде с ними заговаривать, когда они думали, что им невинная овечка в руки идет.— У ограды парка показался полицейский, и Клара сказала,—атас, малышка! Мы пошли по улице дальше.

Огромный детина, с виду вроде как принаряженный рабочий, вывернул из приречной улицы и устоялся на Клару, а она улыбнулась и пошла прочь; он— за ней. Кларе не надо было даже оглядываться, она и так знала, что он идет следом; она остановилась, поглазела на какие-то зеленые причиндалы для ванной, потом зашла в аптеку с кафетерием. Я подхожу сзади, а тот детина остановился: Клару возле прилавка ему было видно сквозь витрину, а она улыбнулась и наклонила голову; он мигом в дверь и тут же с ней рядом уселся. Чуть погодя они вышли, он вел ее за руку, да еще держал ладонь в своей, будто она его девушка.

Я подождала, и вот Клара вернулась и говорит:

— Малышка, ты знаешь, он дал мне три доллара и к тому же хочет, чтобы я встречалась с ним в этот час каждую субботу. Здорово, правда?

— Да,—говорю.— А как насчет перекусить?

— Перекусить—это как раз то, чем мы сейчас займемся.

Перекусить это всегда хорошо. Сразу как-то лучше себя чувствуешь. Каждый раз, когда дверь открывалась, я ждала, что войдет Буч.

— Пошли, мы теряем время,—сказала Клара.— Каждая минута на счету, кроме того, в этом деле имеются свои часы пик.

— Ты что— снова пойдешь?— удивилась я.

— Конечно,—говорит.

— Ну и ну!

Мы вышли на улицу, а там повалил снег, и после этого уже куда бы мы ни шли, со сколькими бы мужчинами она ни заговаривала, трогая за рукав, что-то нашептывая или говоря прямо: знаю, мол, теплое местечко, давай вместе укроемся,—ни один не отзывался, ни один к ней головы не повернул; все обходили ее, а она так и оставалась с рукой, протянутой к их замкнутым лицам, к зябко ссутуленным спинам; передо мной прошли сотни человек, сотни лиц: бородатых и усатых, костистых, щекастых, грубых и злых, сотни мужских ног, плеч и спин.

Снег валил крупными хлопьями; Клара стояла одна. Я очень замерзла, подбежала к ней, взяла ее за руки.

— Пойдем,—говорю,—Клара, холодно очень, так холодно, что на сегодня уже все наверное, пойдем.

— Нет, уходить нельзя еще,—сказала она.—Всего-то десять долларов заработала.

— Да ну их,—говорю,—ну их, пойдем.

Было очень холодно, и снег все валил, мы шли, прижавшись друг к другу, и я держала ее за холодную руку, а когда мы вернулись, я сбегала, заняла чаю у миссис Френч и заварила Кларе погорячее, сняла с нее туфли, замотала ей ноги теплой тряпицей и все глядела на нее, глядела, как прежде не глядела никогда.

Что ж за поля это, в которых мы произрастаем,—поля холодные, мрачные, злые, и нет в них никакой жизни.



Глава 17

Погода установилась совсем зимняя. Клара теперь все время жила у меня. Она часто болела, лежала в постели, в комнате стоял холод, поэтому, как только хозяйка не видит, мы оставляли газовый рожок горящим, а Клару я накрывала маминым одеялом и принесла со двора кирпич, грела его и клала ей к ногам. При чем на еду у нас пошли уже последние Кларины пять долларов. Однако, поселив у себя Клару, я начисто лишилась места, где можно было бы встречаться с Бучем, а он крутился как белка в колесе, и все с Ганцем, все они о чем-то сговаривались. Мне они ничего не рассказывали, и как-то неприятно было видеть их вместе, тем более что Ганц, вечно в этом своем дорогом пальто с бархатным воротником, непременно меня домогался.

— Ты не отшивай меня,—то и дело повторял он,—мне надо почувствовать, что ты своя девчонка. Ты ведь деньгу можешь грести лопатой. Зачем тебе ходить без зимнего пальто, ты можешь загребать лопатой, и, кстати, без всякой этой панели, я тебе сам все устрою.—Видеть его мне было невыносимо.

— Ты меня не обижай,—повторял Ганц, наклоня ко мне маслянисто поблескивающую черную голову.

— Ты Ганца не обижай,—все время уговаривал меня Буч. Один с одной стороны, другой—с другой, а я хоть разорвись между ними. И чувствую: опасность надвигается.

Тут у меня вдруг аппетит разгорелся. Язык во рту

сам стал словно диковинный какой-то сладкий плод. У меня будто весенние листья распускаться начали, а может, мама заговорила во мне, напоминая, что плоть может умереть, что она уязвима и брэнна. Такое ощущение, будто огромный корень рвется книзу, а огромный цветок — кверху, будто у меня прямо волосы на макушке зазеленели, а бешеный этот корень ищет во тьме себе пищу тысячей ртов.

Однажды поздним вечером Ганц, Буч и я встретились во «Дворике».

— Тут, тут твой парень, — говорил Ганц, — в полном ажуре. Хороший парень. Будет меня слушаться, оба круто приподыметесь, мое вам слово. Слово Ганца.

— А уж у Ганца слово железное, — довольно-таки подхалимски поддакнул Буч и, когда я на него поглядела, опустил глаза.

— Верняк, — сказал Ганц. — Секретарь рано приходит — ясно, да? — в восемь часов. Мы снаружи, девчонка тут, за рулем, с видом невинным, как у младенца. У тебя, кстати, вид очень невинный, беби. Буч выходит из-за угла в восемь ноль пять.

— И, как думаешь, сколько отломится? — спросил Буч.

— Много, — сказал Ганц, — много. Не беспокойся, каждый свое получит. Ну что, беби, как думаешь, сосунок твой не захныкает? головку держать будет? Уж там придется. Он входит, а у меня как раз кассир уже на мушке. Главное, точно согласовать по времени.

Я старалась слушать и хорошенько запоминать.

— Ты сидишь в машине — мирная девушка, мирное утро. Полицейский, что на углу — рыжий такой, — к девушкам благоволит. Да и не будет у него в такой ранний час времени ни за чем следить, кроме как за движением на перекрестке. Я за этим бобиком каждое утро наблюдаю, он всегда так. Сделает шаг — погудишь клаксоном, ясно?

— Сколько раз?

— Высунешься, будто гудишь кому-то на той стороне улицы, и давай — один длинный, два коротких. Запоминай.

— Запомню, — сказала я и сняла его руку с моего плеча.

— В зеркало поглядывай, но не суетись. Вид сохраняй естественный и глупый, как всегда.

— Да уж, глупости у меня хватит, — говорю, — коли иду на такое.

— Шучу, шучу, золотце, ты молодец. И каждый миг будь готова рвануть с места. Без суеты и по-

быстро, Как Гитлер, чтобы оглянуться не успели...

— Нет, серьезно,—опять вскинулся Буч,—на сколько ей это потянет?

— В смысле, кому—девчонке или кассе банка?

Оба засмеялись. Ганц добавил, что Бучу, главное, не дать ни единой живой душе выбраться из банка. Как думаешь, мол, справится?

— Справится в лучшем виде,—сказала я.

— Дээ, любовь... Не дай бог кого-нибудь пропустит—в тот же миг у меня схлопочет пулю.

— Да ну, можешь на меня положиться,—сказал Буч с видом довольно кислым.

— А ты смотри язык-то не распускай,—сказал Ганц.

— Сам не распускай,—говорю.

— Вот это по-боевому,—одобрил он.—Дай им, дай им всем по мозгам. Ну, мне еще надо нужных людей повидать. До встречи у нашего святого причастия.

И пошел, а Буч так и стоит, повесив голову.

— Ты чего это ему глазки строишь?—сказал он, явно пытаюсь сорвать на мне зло.

— Так ты же сам мне велел не обижать его!

— Все-таки лебезить-то не обязательно.

— Это я лебезила? Сам ползает перед ним на брюхе, как побитый пес.

— Да ну, просто чтобы не сердить его. Как только дело будет сделано, и мы огребем свои бабки—все, в глаза его больше не увидим. Мое тебе слово, обещаю—тут же хвост трубой и прочь отсюда, купим бензоколонку, и никаких больше дел с такими, как он.

По улице медленно ехала патрульная машина полиции.

— Атас, детка,—прошептал Буч.—Спиной к ним повернись, и пошли в парк.

Я говорю:

— Мы же ничего еще не сделали. А за рукава их хватать я ведь не собираюсь. Неужто надо начинать прятаться еще до того, как что-нибудь сделаешь?

— Ну, и все-таки,—сказал Буч.—Не стоит так уж маячить. Чтобы лица им наши не примелькались.



Глава 18

канун рождества я должна была встретиться с Бучем и Ганцем в Райс-парке. Договорились, что я съезжу поменять номера на краденом

автомобиле. Посреди лужайки стояла большая елка, заснеженный парк лежал по обе стороны дорожки, словно огромный пирог, разрезанный ножом. Нельзя думать о пироге, и вообще о еде нельзя, решила про себя я. Если хватит сил не думать о еде, смогу хоть рождеству порадоваться. Вокруг елки уже собирался народ, но елка была темной, гирлянды еще не зажигались. Кто-то сказал, что попозже придут из общества христианок-трезвенниц, зажгут гирлянды, песни заведут и, может быть, устроят раздачу кофе и пышек.

Я простояла там около часа. За пазухой у меня был спрятан бутерброд с говядиной, припасенный для Буча. Становилось холодно. Я все думала: вдруг полицейские пронюхали, или вдруг он напился какой-нибудь дряни, или вдруг он в тюрьме. Разок я отлучилась, прошла мимо тюрьмы, заглядывая в окна. Но разве разглядишь, даже если бы он был там.

Ветер прямо как собака кусался. Когда мне Армия Спасения выдала пальто, оно казалось вроде как совсем хорошим, но пальто было демисезонное, а на дворе стояла зима. Стоять я старалась на одной ноге, чтобы снег на забивался в дырку на подметке. Прислонилась к какому-то черному стволу, над головой шуршали и пощелкивали на ветру ветви. Похоже, вот-вот собирался повалить снег.

Потом смотрю, между деревьев идет Буч. Мне всегда виделся вокруг него словно некий свет. Буча я заметила издали, он еще только показался, а рядом шел Ганц и еще двое мужчин, и походка у них была какая-то волчья. Всегда видно, когда человек что-нибудь замышляет. Бучу все это нравится. А мне так поперек горла.

— Буч!— кричу, да еще у него ворот был этак поднят, а лицо— ну, прямо сердце сжимается.

Ганц и те двое уставились на елку, а я вынула бутерброд и развернула газету.

— Господи,— прошептал Буч,— даже с мясом!— Он спрятал бутерброд за пазуху, и я поняла, что он не хочет, чтобы Ганц и те двое знали, каково ему приходится.

Народу в парке все прибывало. Ганц говорит: подождем, его нет еще. Тем двоим он кивнул, и они двинулись прочь, а Ганц встал в темноте под деревом и закурил.

— Ну что, каков план действий?— шепотом спросила я.— А ты ешь, ешь пока бутерброд.— Он с жадностью на него накинуся.

— Чего народ-то собрался? — полюбопытствовал Буч.

— Елку собираются зажигать, — ответила я.

Он поглядел на высоченную елку, окутанную темными гирляндами.

— Ни фиги себе, — говорит, — рождество, что ли? Машина будет стоять на Пятой авеню, — сказал он. — Ты готова?

Я глянула на него и кивнула.

— Вы с Ганцем поедете, поставите ее в гараж. Там поменяют номера. Минутное дело.

Он сжал мою руку.

— Готова? — говорит.

— Да, — ответила я.

Мы все смотрели на елку, чуть отступили; мужчины деревянно, надломленно нагибаясь, сплевывали через плечо во тьму.

Я старалась держаться как можно ближе к Бучу, и от какого-то льдистого жара у меня тело словно паром подернулось. Вид Буча надрывал мне сердце. Ах, как бы я его согрела, думала я. Как ему было бы хорошо и тепло.

— Они, видать, задумали зажечь огни прямо из Капитолия, — донесся чей-то голос.

— Ах ты, господи, — раздалось в толпе, — тоже еще умник выискался!

Пошел снег, пушистый, мягкий. Припорошил шляпы и кепки.

— Снег пошел, — раздался чей-то голос, когда все и так уже это заметили. Люди похлопывали себя руками по плечам, стряхивая снег с пальто, и горбились все ниже, словно это давало им какое-то укрытие.

— Говорят, будут раздавать жрачку, — сказал Буч какому-то своему знакомому. Казалось, он знает здесь всех.

Сбоку от меня оказался Ганц, я на него не смотрела.

— Как насчет прогуляться? — сказал он. — Получишь за это двадцать пять долларов.

Двадцать пять! У меня сердце захолонуло.

— Это большие деньги, — сказал он, — хотя мне и так телки не часто отказывают.

Я ему не ответила. Буч все еще разговаривал с приятелем.

— Будут раздавать жрачку, — сказал чей-то голос.

— Жди, скорей по ушам будут раздавать, причем дубинками, — сказал другой. Пробежала волна то ли смешков, то ли нервного сопения. Елка казалась черной

и траурно вздымала к низкому небу свою верхушку, которой на фоне туч не было видно.

— Ну и елка,—сказал Буч.—Должно быть, влетела в копеечку.

— Хотя в снег ложись и помирай,—сказала я себе,—только б не видеть Буча с этим Ганцем,—На лице Буча не было той печати прожженности, что у Ганца, во всяком случае, она не была столь явной.

На меня напал страх.

Ганц говорит:

— Боже, что за пальто. Тебе надо пальто получше. Ты что, язык проглотила?

— Было бы хоть лето,—сказал мне однажды Буч,—полегче было бы. Может, и не пришлось бы нам идти на такое.

Людей в парке прибывало, и все какие-то черные, обугленные, как подгорелая картошка; в воздухе стоял гул голосов.

— На этой елке кто-то неплохо, видать, погрел руки,—раздалось неподалеку.

— Уж лучше бы на те же деньги нам хоть сухого спирта, что ли, выдали. Кстати, это ж идея! Намекнул бы кто-нибудь отцам города. Да, брат... Под хлебную корочку за милую душу идет.

— Что идет?—пробормотала я.

— Что-что?—насторожился Буч.

— Что-то там идет под хлебную корочку.

— Сперва надо, чтоб эта самая корочка была,—нахмурился Буч, а у самого вид, словно страх ему все печенки выел. Видно, как он сам с собой борется, а на меня взглянет, и лицо хоть чуть-чуть, да зажжется слабеньким таким светлячком в окружающем мраке.

— Ты замерзла,—сказал Буч.

— Нет-нет,—отвечаю,—пальто теплое. А что это идет под хлебную корочку?

— Да сухой спирт,—сказал он,—но я слышал, что имбирный концентрат лучше.

— А ты откуда знаешь?

— Да все знают. Надо ведь, чтоб хоть какая-то была жизнь. Хоть чуточку чтобы встряхнуться.

Глядела я на всех этих людей вокруг, и у меня кровь застывала в жилах при виде этой безропотной разобщенной толпы, чего-то ожидающей в полутьме. Голод и боль сжали мне горло, фейерверком искр брызнули у меня из глаз.

— Почему же они ничего не сделают?—вырвалось у меня.—Ведь в парке сейчас человек сто.

— Да ну, бараны! — отозвался Ганц. — Им никогда ничего не сделать. Запала нет.

— Но они ведь люди, ведь мужчины же, — сказала я.

— А что они могут сделать? — пожал плечами Буч.

— А я-то что делаю? — сказала я. — Мы-то чем кончим?

Все это явно не сулило ничего хорошего — ни бензоколонка, ни налет на банк. Не верилось, что мы это сделаем, не верилось, что вообще что-нибудь из этого выйдет. И такое было ощущение, будто заглядываешь в черную пустоту, а оттуда ветер, и пронизывает насквозь. Мороз пробежал у меня по рукам, по груди, и я почему-то вспомнила слова Клары: мол, у девушки это бывает только раз.

— Я бы не смогла есть сухой спирт, — сказала я.

— Совсем сдурела, — отозвался Буч.

Ганц поглядел на часы.

— Ублюдки, — сказал он.

— Сейчас будут, — произнес один из тех двоих из-за дерева.

Мы глядели на черную хвою, проглядывавшую сквозь заполненный мельтешением пушинок воздух на фоне неба, по зимнему насупленного над всеми этими мертвецами в парке. Ссутулившись, втянув в себя пустые животы, мы все мучились от голода, как от рака, причем ни один не глядел на другого, и никто не видел, куда идти. Чего мы все там на холоде ожидали? Снова поднялся ветер, принялся метаться среди толпы, где каждый сам по себе, и никто не понимает, что вместе они море людей, совсем одинаковых до того, что и не разберешь, не разнимешь силу одного от силы другого, слабость одного от слабости остальных.

На здании суда забили часы. Стало темнее.

Тут от почты послышались шаги и донеслись огрубелые женские голоса. Слов было не разобрать, и мужчины неловко топтались, словно до них донесся строгий зов погибших жен, голоса всех замученных женщин.

Потом, когда стало совсем тихо, слова тоже проре-
зались.

Колыбель — в хлеву колода,
На челе нездешний свет...
Спит младенец, всей природой
Без пуховиков согрет.

— Пойду, пожалуй, — сказала я.

— Да погоди, — вскинулся Буч, — может, они еще кофе давать будут.

— Нет, я пойду.

— Погоди, золотце, погоди!

Стоявшим позади двоим мужчинам женские голоса о чем-то напомнили, и один из них разродился скабрёзной шуткой.

— Тьфу, алкаши,— сказал Буч.— Видела, какие у них рожи свинские — раззявились, и ни одного зуба во рту.

Пение прекратилось.

— И это все? — спрашивали друг у друга собравшиеся. — А жрачки, что ли, не будет? Это и все? Черт! На кой им вообще петь понадобилось? А насчет младенца, так если бы он у меня был, то вид получился бы, словно мешок костей носится с писаной торбой. — Справа и слева зазвонили колокола, причем казалось, что звон льется с небес и пробивается снизу, из-под земли.

— Ну, так, и дальше что? — спросил кто-то в толпе.

— Очень мило,— сказал какой-то молодой парень,— но из этого каши не сварить.

Колокола смолкли, словно в планах организаторов не очень-то четко сходились концы с концами, несколько минут не происходило ничего, все глядели на елку и ждали. Гирлянды все не зажигались.

— У них, видать, за свет заплатить денег не хватило,— раздался бодрый голос, и все засмеялись.

У алкашей позади нас шел свой разговор:

— Это куда же? Ну да, сейчас оттуда полицейские как выскочат да как зададут нам перцу. — Они начали было продвигаться к елке, но остановились, будто перед ними стена, а один вдруг отступил и наскочил на меня, так что я увидела его глаза — совершенно белые — и вспомнила их: он лежал тогда в парке, спал, а по векам у него ползали мухи, словно черви. Я отвела его к дорожке и повернула лицом к просвету впереди.

— Ты что делаешь? — нахмурился Буч.

— Он же слепой, — ответила я.

— Ладно, — говорит, — давай, если тебе охота с каждым, кто попадется под руку, обжиматься, с каждой пьяной образиной, тогда давай, конечно.

— Да ты что, Буч! — изумилась я.

— Ладно, давай, — не унимался он, — шуруй, а я пошел.

— Не уходи, — сказала я, оглядываясь на Ганца. — Куда же я-то денусь?

— А так ты куда деваешься? Давай, вон, с Ганцем иди, — сказал он. — Ганц тебя всем обеспечит. Вот, слышишь? — обратился он к Ганцу. — Она с тобой пой-

дет, я ей сказал уже, можешь ее забирать. Ты дашь ей то, что ей надо.

Я семенила рядом с Бучем.

— Прочь! — крикнул он. — Ишь разбегалась, вся нараспашку.

Я бежала с ним рядом, цеплялась за него.

— Буч, — кричу, — Буч, что ты делаешь?

На нас стали оглядываться мужчины.

— Эй, парень, чего это она к тебе пристает?

Я все бежала рядом с ним, но он вырвал свою руку и толкнул меня так, что я упала, а когда поднялась, его уже не было. Он исчез, а на елке зажглись огни. Потом снова погасли, и опять огни зажигались и гасли, и снова зажигались, освещая тощих обугленных людей, их отработанные, обветшалые тела-подпорки.

Ганц уже держал меня в это время под руку, и от него доносился запах виски, бриолина и чего-то еще.

— Она что, растет тут? — кокетливо произнес мужской голос с интонацией извращенца, и все мужчины захохотали.

— Нет, беби, — отозвался густой бас. — Олдермен Джонсон ее сюда припер.

— Вот они, — еказал Ганц. — О'кей, пошли.

Послышался гудок клаксона. Ганц вел меня под руку, мы прошли через парк, прямо по снегу, через кусты, и сели в большой автомобиль, стоявший у обочины. В машине никого не было, ключ торчал в замке зажигания. Я заметила медленно удаляющиеся по тротуару фигуры тех двоих, что пришли с Ганцем.

— Вот, — сказал Ганц, — стартер здесь. Давай, врубай. Пора валить отсюда.

Я сделала, что было велено.

Мы ехали от парка к реке, было холодно. Ганц обнял меня за плечи.

— Что, беби, замерзла?

Я вся дрожала, рождественские песнопения доносились все глуше, и никаких огней — только холодный, плотный воздух.

— Ты хорошо с машиной управляешься, — сказал Ганц.

Я подумала, что хорошо бы так с ней управиться, чтобы через парапет да в реку и, провалившись в темноту, разом все это дело шмякнуть, как гнилой помидор. Хотелось ударить Ганца.

— Убери руку, — сказала я. — Не нервируй, мне машину вести.

— О'кей, — согласился он. — Ты у нас капитан, беби, тебе и распоряжаться. А уж как мы это отпразднуем,

когда все получится,—лучшая будет вечеринка в твоей жизни, и ты будешь королевой бала, все будет для тебя. Вон та машина не за нами едет? Давай-ка лучше свернем тут направо к складам.

— Давай-ка спрячемся,—передразнила я,—давай-ка сбежим, давай-ка свалим, давай-ка слиняем...

— Ага,—повторил он,—давай-ка лучше, чтоб нас не видели.—А я смотрю, у него глаза такие жуткие, взгляд тряский, будто игральные кости по столу прыгают,—змеиные глаза.



Глава 19

анц говорит:

— Еще недельку, и все будет тип-топ.

Я ничего не ответила.

— Неужто я тебе ни капельки не нравлюсь, беби? Обычно девушки к моим ногам штабелями укладываются.

Я ничего не ответила.

— Слушай,—говорит,—насчет двадцати пяти долларов—это все в силе, а деньги-то ведь большие.

Я задумалась. Двадцать пять долларов. С тем, что может достать Буч, на бензоколонку уже хватает.

И я сказала:

— Согласна.

У него сразу глаза другого цвета сделались.

— Ты не пожалеешь. Уж я для тебя постараюсь.

— Где?—сказала я.

— Вот,—сказал он, протягивая мне пять долларов.—Иди в эту гостиницу. Возьми номер получше. В десять я подымусь к тебе. Ты точно там будешь?

— Да,—сказала я.—Буду точно.

Пошла домой. Спросила Клару, не одолжит ли она мне свое лучшее платье. Она согласилась. Поглядела на меня. Вид у нее был скверный.

— Тебе получше, Клэрочка?—спрашиваю.

— Да,—отвечает.

— Я принесла тебе апельсинов.

— Апельсинов,—эхом отозвалась она и искоса взглянула на меня.

Я надела ее платье, густо намазала губы, поцеловала ее, и когда она снова взглянула на меня, ей уже все было ясно. Она отвернулась лицом к стене.

Спускаюсь по лестнице. Странно, но мне казалось, что уже на лестнице я увижу Буча на площадке за колонной. И на улице все ждала встречи. Вот, думаю, сейчас из-за угла покажется, вот сейчас выйдет из бара «У Эдди». Но так его и не встретила, а уже и до Семи Углов дошла, и тут гляжу, он через улицу идет, уже здорово на взводе—все понятно: Ганц и ему аванс выдал. Черт бы побрал этого Ганца.

Буч меня увидел, обрадовался. Было всего только шесть часов. Я говорю: хочешь, мол, повеселиться?

— Конечно,—отвечает,—а вообще-то я уже и так веселюсь повсюду.

— Отлично,—сказала я.—Зайдешь через двадцать минут в отель Рассела, спросишь меня, и поднимайся. Все будет в лучшем виде.

Встал посреди улицы как вкопанный.

— Как это?—говорит.

— Послушай, золотце,—сказала я.—Вечно я делаю все, что ты велишь, и ни о чем не спрашиваю. Можешь, ты раз в жизни сделать, что велю я, а?

Он улыбнулся.

— О'кей,—говорит,—заметано. Значит, через двадцать минут.

В гостинице я потребовала лучший номер за пять долларов и непременно с ванной. Заплатила эту пятерку, поднялась, да еще мальчишке коридорному дала на чай последний свой двадцатипятицентовик, и когда осталась одна, смотрю, комната ничего себе—мебель красного дерева, розовые абажурчики над кроватью и большие подушки под розовым покрывалом с оборками. Я подлюбовалась мебелью, посидела в креслах, полежа на кровати, потом открыла краны и приняла горячую ванну, воды не жалея, причем нигде никаких тараканов, и тут пришел Буч, я впустила его голая и в мыле, он обнял меня, а самому не удержать никак, потому что я вся скользкая, и он засмеялся, а я пихнула его на кровать и сама легла рядом.

Он говорит:

— Ух ты, золотце мое, здорово-то как, все кругом надушено. И ты тоже надушена.

— Ну и как это вам,—говорю,—мистер Хинкли, нравится?

— Что ж, нравится, миссис Хинкли,—сказал он.—Смотри, вид прямо на Райс-парк, а помнишь, как мы в сумерках лежали там долго-долго, и я все потягивал виски из горлышка.

— Давай не будем ни о чем вспоминать,—сказала я.

— Правильно-правильно, миссис Хинкли,—сказал

он.— Что назад глядеть, что вперед забегать, все равно что за борт на ходу сигать. А как сиганешь за борт, не спасет тебя сам черт.

— Именно,— сказала я.

— Вот бы отсюда вообще не вылезать,— сказал Буч.— Вот бы тут'насовсем остаться.

— А что бы мы ели?— говорю.

— А я бы тебя съел,— отвечает,— сладкая ты моя.

Ах, как это было чудесно, какой чудесной жизнью он меня там одарил. А потом он уснул.

Снаружи пробили часы. Они били каждую четверть часа. Я считала. Когда они пробьют четвертый раз, придется будить Буча. Я приподнялась на локте и стала на него смотреть. Смотрела на его руки, на его черноволосую голову, волевое лицо, твердое, как топор.

Вот так всегда он будет уходить, вставать с кровати и сразу к двери. Увиделось воочию, как через пару минут это случится снова: он встанет — и за дверь.

Часы пробили четвертый раз. Я коснулась его плеча, а он выбросил руки вперед, как для обороны. Я поцеловала его, и он обнял меня. Я знала, что долго он после этого в комнате не засидится. Не медля пойдет опять, в который раз, попытать счастья, проверить, не сподобилась ли судьба сменить гнев на милость. Я знала: беспокоиться за то, чтобы он вовремя ушел, не нужно.

Потянувшись, он перевернулся на бок.

— Привет,— проговорил он.

— Привет.

— Все лучше и лучше,— сказал он.— Здорово, когда твоя девушка это любит.

— Вообще-то я тебя люблю,— сказала я.

— Ну, это понятно,— отозвался он.— Я нынче в порядке. Теперь-то уж мне должно повезти, обязательно.

— Обязательно,— сказала я.

Он поглядел в потолок. Встал. Потом я слушала, как он плещется в ванной.

— Гляди-ка,— кричал он оттуда,— ну и ну!

Вышел мокрый. Я лежала в кровати и любовалась тем, как его торс красиво переходит к бедрам, как движутся, будто мощные ножницы, его ноги, и этой его висюлькой, маленькой, словно птенчик.

Он быстро оделся. Я все лежала, смотрела на него, и тут он подошел к кровати, поцеловал меня и говорит, спасибо, все было чудесно, а потом надел кепку, крепче натянул ее, став таким далеким, уличным, и

прямо на глазах он забывал меня, забывал, еще только подходя к двери, а когда он затворил ее, я заплакала, а потом заснула.

Услышав стук в дверь, я сказала: подождите, встала, надела платье, в темноте застелила кровать, а потом включила свет и отперла дверь. Ганц пришел вдвоем с Хоуном. Оба вошли, и Ганц говорит:

— Ты зачем нас ждать заставила?

— Я спала,— отвечаю,— сморило меня.

— Ах, тебя сморило,— сказал Ганц и поглядел на кровать.

Да,— говорю. Я стояла около комода. А они по другую сторону кровати, у окна, за окном темнотища.

— Что ж, ладно, золотце,— сказал Ганц, и странная улыбка заиграла на его губах.

Я продолжала стоять. Не знала, что делать дальше. И говорю:

— Может, хотите выпить!

— Идея хорошая,— сказал Ганц и вынул из кармана фляжку.— Все вместе выпьем.

Хоун говорит:

— Начинай.

Я говорю:

— Он что— здесь будет?— и на Хоуна показываю.

— Ну конечно,— сказал Ганц.

— Нет,— говорю.

— А что такого?— Ганц изобразил удивление.

— Тогда уйду я.

— Да я посижу в ванной, газету читаю,— сказал Хоун.

А я говорю:

— Как насчет денег? Давай-ка их сюда.

— Каких денег?— заухмылялся Ганц.— Имей в виду, мой адвокат здесь.

— Те двадцать пять долларов, что ты обещал мне,— сказала я. Мне были отвратительны его изуродованные, приплюснутые к черепу боксерские уши, жирная шея, усеянная шрамами и болячками в тех местах, где черные волосы вросли в кожу.

— Двадцать пять!— воскликнул Ганц, и они оба покатались от хохота, словно это было очень забавно.

— Ничего смешного,— сказала я.— Я хочу деньги вперед.

Ганц положил руку мне на плечо. Пока на собственной шкуре не испытаешь, не поймешь ни за что. А уж как с тобой случилось, становишься совсем другой, и никому этого не объяснишь, но действуешь тогда уже по-другому, и в один прекрасный день все это вдруг

дойдет — и до тебя, и до всех тех, кому то же самое выпало. Я вспомнила о Кларе и подумала: дойдет и до нее, и до всех тех, других, кто вымазан той же грязью, той же гнилью тронут, обязательно дойдет и до них когда-нибудь, вместе они все когда-нибудь поймут.

— Я пойду, — сказала я. — Я не хочу ничего.

— Двадцать пять это слишком много, — сказал Хоун.

— Вот тебе десятка, — сказал Ганц, подняв над моей головой зажатую в руке десятидолларовую бумажку, — прыгай!

Посмотрела я — десять долларов. Руками потянулась вверх, а Хоун обхватил меня за талию. Душили слезы.

— Прыгай, прыгай, — хохоча, выкрикивал Ганц.

Мне показалось вдруг, будто кто-то бьет меня по голове сверху бумажником, вгоняя меня в землю, все глубже, глубже, и скоро я ничего, кроме черноты, не увижу.

— Пустите! — кричала я, а Хоун держал меня.

Ганц вдруг размахнулся своим огромным, покрытым шрамами кулачищем и ударил меня в лицо. Я стала падать, казалось навсегда проваливаясь в черную землю.

Еще подумалось, что никогда уже, наверное, не будет свет сиять так ярко.



Глава 20

у, и сколько, ты думаешь, отломится? — послышался голос.

— Навалом, — пробурчал другой.

— Но сколько, сколько?

— Не волнуйся, Хоун, ты свое получишь, кровосос паршивый.

Голоса их я слышала, но темнота вокруг меня казалась непроглядной. Я лежала не шевелясь, как зверек, почуявший, что охотники близко. Чуть поодаль вроде был какой-то свет.

— Служащие приходят рано, — говорил Ганц. — В восемь утра. Мы ждем снаружи. Вот эта самая девчонка сидит за рулем краденой тачки. Эк ждет за мостом с другой тачкой, бабки перегружаем в нее. Буч в восемь ноль пять стоит на углу. Надо выждать, пока отопрут хранилище. Если войдем прежде, чем его отопрут, — считай, все рухнуло.

— Ну, так сколько, ты думаешь, отломится? — повторил Хоун.

Шестым чувством я ощущала, как они сидят под лампой и, сгорбившись, изучают изготовленный Хойнком план помещений Южного городского банка. Я уже видела этот план. Хорошо сделан. Обозначены колонны, дверь и черное пространство позади, где находится хранилище, помечены места, где стоит каждый клерк у своего кассового ящика.

Хоун говорит:

— Гляди, очухалась. Вставай, детка. — Склонился надо мной, безжалостный, как нож. Схватил за перед платья, поднял меня, пихнул на стул между ними. С двух сторон я ощущала прикосновения их отвратительных тел. Лицо болело, черные волны захлестывали сознание с каждым толчком крови.

— Свое-то свое... — проговорил Хоун. А мне сказал: — Если бы только кто знал, какой я честный. А ведь черт те что думают! Стараешься, чтобы по справедливости, а что выходит?

— Трепло! — пробурчал Ганц.

— Когда хранилище откроют, — тоном проповедника повторил Ганц для меня, — в банк входит Буч. Ты сидишь в машине. Там на углу полицейский стоит, рыжий такой. Держишь его в поле зрения. Шаг сделает — подашь сигнал. И назад поглядывай, у них манера появилась: в штатское вырядятся и подбираются сзади. Посматривай в зеркало, но не суетись. Вид у тебя должен быть спокойный такой, сонный. Нога всю дорогу на сцеплении... Чтобы в любой момент смыться. Как только мы к тебе сядем, от скорости будет зависеть все. Все надо сделать быстро и ловко, понятно?

В таком же духе и дальше.

— Натиск, быстрота — в этом все, как у Гитлера. Знаешь, как Гитлер действует? Ошеломить — вот в чем штука. И у Гитлера это выходит ловко — ошеломить, обескуражить. Не успеют эти охломоны сообразить, чего к чему, — они и вовсе ничего не ожидали, а он уже раз-два и за бугор, а в джинсах полные карманы бабок, чистый фокусник.

— М-да, — подтвердил Хоун, — парень не дурак...

— Еще бы, — сказал Ганц. — Войти с ним в долю я бы не отказался. Вот бы нам в этой-то стране когонибудь вроде Гитлера — очень было бы недурственно. Народу лишнего видимо-невидимо развелось, а Гитлер это понимает, и половину он перебьет, чтобы только лучшие остались, у кого с мозгами все в порядке. На кой

нам все эти итальяшки да евреи? Господи, как я евреев ненавижу! Своими бы руками парочку жидов в расход пустил.

— Ну, евреи-то еще ничего,—промямлил Хоун.

— Что еще за новости?—с пол-оборота завелся Ганц.—Спорить со мной никому не позволено, ясно? Э, да уж не еврей ли ты?—устремил он взгляд на Хоуна.

Хоун в ответ:

— Да ну, Ганц—ч-черт!—ну ты же знаешь, что нет.

— Коли так, твое счастье. Ненавижу евреев. Не нравятся мне они, понятно?

— О'кей, о'кей...—Хоун, похоже, напугался.—Не бери в голову. А серьезно, Ганц, во сколько это может вылиться?

— Если наложим лапу на хранилище и оно будет открыто, по идее оттуда должно вытряхнуться тысяч тридцать.

— А как по времени?—спросил Хоун.

— Покуда из банка никому не выйти, все в порядке. Это мы возлагаем на Буча; ты как думаешь, справится? Этот твой воздыхатель...

— Да,—ответила я.—Сделает все как надо.

— Ах, любовь, любовь. Любовь, а? Здорово, правда, Хоун?

Хоун вскочил и принялся скакать по комнате, делая вид, будто задирает на себе юбки. Ганц захохотал.

— Скорость—вот что главное, быстрота и натиск,—сказал он.

— Скорость это все,—подхватил Хоун.

Я посмотрела на Ганца. Раньше мне никогда не приходилось кого-либо ненавидеть, только теперь я это поняла совершенно ясно. И сказала об этом.

— А как насчет нашего друга?—поинтересовался он.

— Оба вы подонки,—сказала я.

— Ну что ж,—сказал Ганц,—дело житейское, Хоун, найдешь себе другую, в камышах этой дичи полно. А ты смотри, язык не распускай,—добавил он, обращаясь ко мне.

— Сам не распускай,—сказала я.

И тут я бросилась вон, ринулась вниз по лестнице, мимо портье и дальше, на улицу, а потом оглянулась и вижу: десятки ярко освещенных окон, а за этими окнами и мебель дорогая, и кровати уютные... Мне всегда очень хотелось посмотреть, что там, за этими окнами, происходит. Теперь знаю. Вбежала в парк, пошла, хватаясь за стволы деревьев, вдруг наклони-

лась, схватила с земли ком грязи и съела его. На вкус грязь была горькой...

Я шла все дальше, смотрела на встречных мужчин, и во мне нарастало понимание. Вот оно что. И это познано. Что ж, многое еще познать придется. Все равно ведь, не испытав, не поймешь. А так где-то подспудно откладывается, и хотя о некоторых вещах не расскажешь—просто язык не повернется,—но они есть, и они бродят у тебя внутри, как закваска.



Глава 21

ошла к Бучу домой; он жил вместе с двумя водителями грузовика. Постучалась в дверь его комнаты. Могу поклясться, что за дверью слышалось его дыхание, но на мой стук никто не ответил. Что ж, сказала я себе, ладно, если ты хочешь так со мной обращаться, будь по-твоему. Я совершенно явно чувствовала, что он стоит по другую сторону двери.

Заглянула я в библиотеку, на улицах поискала. Бросалась за каждым мужчиной в кепке, но всякий раз это оказывался не он.

Посидела в баре, и едва только кто-нибудь входил в дверь, мое лицо само к нему поворачивалось, будто подсолнух к солнцу.

Когда я отворила дверь «Немецкого дворика» и ступила туда с морозного бесснежья, до меня сразу донесся голос Буча, на чем свет стоит ругавшегося с Эком и Хойнком, и Беллы, приговаривавшей: смотрите, предупреждаю, в этот раз я не буду выкупать вас из тюрьмы... И злые улыбочки у всех на губах, и Белла, по обыкновению, на всех огрызается. Хуже войны. Не люблю я, когда так.

Белла не унималась:

— У меня предчувствие. Ничего не выйдет. Я Хойнку говорила, да ведь когда мужчина на рожон полез, он уже не станет женщину слушать. Конечно, как же это он женщину-то послушает, а я ведь чувствую, и меня предчувствия никогда не обманывают. Лучше бы я уже на кладбище была, где моя мать лежит.

— Брось, брось, старушка,—Хойнк говорит.—Вон глаза-то покраснели как! Кончай реветь.

— Хочу и реву,—не унималась Белла.—По крайней мере, хоть это у нас бесплатно—пореветь хотя бы. На

слезы налога нет, а с этой вашей храбростью шли бы вы к черту.

Эк сидел с видом сонной задумчивости, словно он прямо так и уснул сидя. Белла говорит, что когда у мужчины на лице такое выражение появляется, значит, он идет по канату над пропастью. Говорить что-либо уже бесполезно, разве что молиться.

Белла говорит:

— Поешьте хоть на дорогу, суп на плите в кастрюле.

— Что? Куда?—встренулся от своей дремы Эк.—Надо проехаться к банку, поглядеть, сколько минут от Райс-парка до подъезда. За руль Хойнк сядет.

— О, в пьяном виде Хойнк как по тротуару водит,—обронила Белла.

— Кто сказал, что я пьяный?—заозирался Хойнк.

И опять Белла:

— Нет, правда, ребята, не волнуйтесь, в пьяном виде Хойнк настоящий ас. Кругом тьма кошмарная, а он как сыч, только ухнет, крикнет и пошел колесить. Ты ведь явно от сыча произошел, а, мое золотице?—При этом Хойнк гладил ее по плечу, а она разливала суп.

— Ну, будет хвастать, золотице. Поехали с нами; светло, между прочим, как ясным днем.

— Только без женщин,—возразил Эк.—Пока приглядываешься, могут сглазить.

Каждый раз, когда Белла проходила мимо, Хойнк гладил ее, а она улыбалась. Теперь я понимала, что имела в виду мать, когда говорила об этом. Хойнк пошел в спальню, Белла за ним, дверь закрылась. Я уселась за печкой поближе к Бучу, который строгал какую-то палочку. Мы старались не прислушиваться к происходившему в соседней комнате.

Эк сказал:

— Что, Буч, скоро охота пойдет?

— На уток и сейчас самый сезон,—ответил Буч.

Я вложила руку ему в ладонь; ладонь у него была теплая.

— Да, на уток сейчас самое то,—сказал Эк.—В прошлом году я их насшибал целую кучу. А есть ненормальные, которые охотятся на уток с луком и стрелами.

— Ну, хотят, видимо, уткам тоже дать какой-то шанс...

— Вот этого вот не надо, какой там шанс—каждый за себя!

— А пока не взлетели, их не увидишь. Интересно, они там что — сидят в кустах и слушают? Утки улетают на юг, а тетерева не улетают.

— Чего мы ждем, почему сейчас не едем? — сказал Буч.

— Не спеши, — сказала я. Он бросил на меня взгляд. Эк положил голову на руки.

— Чего дергаться? — произнес Эк. — Вся ночь впереди, чем позже, тем лучше.

Буч потянулся ко мне и стал покусывать меня за ухо. Я улыбнулась. Он что-то мне зашептал. От печки стало жарко. Буч принялся меня гладить, а я все посматривала на Эка, но он так и сидел, уронив голову на руки. Буч улыбался, по лицу у него пробегали блики от огня в печи.

— Не надо бояться, беби, — говорил он. — Дрожишь прямо как заяц. Это надо преодолеть, сестренка. Все, что от тебя требуется, — это твердо стоять на земле, ну чего бояться-то! Луна на месте, солнце где положено. Только сама лбом ни на что не наткнись. Ты знаешь, малышка, у меня такое подозрение, что вокруг все для нас: специально так на небесах задумано — для нас, как по заказу, ты понимаешь меня?

Я улыбнулась. Засмеялась. Все показалось так легко, так просто.

— Да, да, — говорю. — И я протянула руки: вот его волосы, его грудь, его плечи...

Довольно скоро Белла и Хойнк, сияющие, вышли из комнаты. Я поняла, что им было хорошо.

Ужасно мне не хотелось снова встречаться с Ганцем, но Буч сказал, что тот придет потолковать со мной. Я говорю:

— Неужели без этого нельзя?

— А, пустяки, — сказал он, — получим свои доллары, и не будет никакого Ганца до скончания веков. На славу приподнимемся, — сказал он. И еще сказал: — Жить будем в домике на природе, и у нашего ребенка щеки будут из-за ушей видны.

Я испугалась. Зачем он так говорит — теперь, когда у меня не пришли месячные, хотя Клара и сказала, что один месяц ничего не значит, особенно если у тебя это первый раз было с мужчиной. Но все же я боялась, а тут еще он заговорил про дом на природе, как папа со своими сливами и медом. Я испугалась: чересчур как-то у меня все быстро.

— Ганц до тебя прямо что сам не свой. Ты ему только чуток подыгрывай, — продолжал Буч, — а там, глядишь, уже и все — деньги при нас, и кончено.

— Буч,—сказала я,—ты смотри, осторожнее. Ганц большая сволочь, сам знаешь.

— Да ну, когда он своим делом занят, он ничего.

— Ганц негодай,—сказала Белла,—и чем бы он ни был занят, хорошего от него не жди.

— Ну уж, не стоило бы вам-то: ведь только на нем вы с Хойнком и держались,—возразил Буч.

И тут как раз вижу—входит Ганц.

— Привет, стукач,—сказала Белла.

— Ну, как живешь, детка?—подойдя слишком близко, сказал мне Ганц.—Ставь выпивку, Белла, угощаю.

Налила я им самогона, выпили, и я снова наполнила бокалы.

— За тебя, детка, давай, выпей с нами,—сказал он. Развернул чертеж, который я уже выучила наизусть.— Ну, я готов, поехали, выверим путь к банку по часам.

— Кто поедет?—спросил Эк.

— Ну, мы четверо, да и хватит.

— Ее не берете?—поинтересовалась Белла.

— Нет,—сказал Эк,—женщина может сглазить.

— Ага,—сказала Белла,—всеякими мерзостями с ней заниматься—это ничего, тут она вас не сглазит.

— Ты ее не слушай, детка,—процедил Ганц,—несет невесть что, старая ведьма.

— Вон отсюда!—возмутилась Белла.—Хойнк, ты что это—он обзывается, а ты молчишь?

— Поехали, а то поздно будет,—сказал Хойнк.

— Поздно не будет,—отозвался Ганц.

Глаза бы мои не смотрели на эту четверку: как утопающие с гиблой посудыны—вроде вместе выгребают, и при этом каждый сам по себе, только в пылу отчаяния друг за друга держатся.

— Скорей бы уж возвращались,—сказала Белла, протягивая ноги к огню. Я придвинулась к ней ближе, хотелось еще порасспросить ее обо всем, что живо в ее воспоминаниях—о всех тех жизнях и смертях, что всплывали из ее памяти, как из морских глубин.—Ох, как я с Хойнком натерпелась,—вдохнула она.—Сперва хочет, чтобы я в дело душу вкладывала, а потом ревнует и бьет. А как я могу в дело вкладывать душу и при этом не смотреть на мужчин? И зачем только я вышла замуж! Могла бы сама себе хозяйкой жить. А все же семья, золотце мое,—это здорово. Погоди, покажу тебе мою мать, мою бабу. Пойми, золотце, я не говорю, что ребенок не нужен. Просто я была тогда сама еще дитё, прислужой у одной тетки работала, и ее муж до меня все-таки добрался. Дала

она мне бумажку с адресом и послала в город. Бреду по улицам и чувствую себя прямо букашкой—дитё совсем. Ну, ковырнули меня и оставили кровью истекать. Ребенка-то я в уборной скинула, завернула в газету «Диспатч» и выбросила в Миссисипи.

Тут она принялась плакать по всем тем, кто умер давно, и по тем, кому предстоит еще умереть, по всем умершим на земле, по всем умершим в ней самой.

Ах, Белла, Белла, ты же целое кладбище, подумала я и, бросившись в объятия ее толстенных рук, прижалась к ее теплой, обширной груди.



Глава 22

уча я найти не смогла, было холодно, и я отправилась домой, к Кларе. Она была сильно простужена, ужасно кашляла, и на ее платке подчас оставались красные пятна.

— Ты почему вернулась?—спросила она.

— Не пойду на работу. Пускай Белла с Эком и Хойнком сами как хотят, так и управляются. Поесть у них там еще можно, но это и все. За помещение не плачено, так что их самих, того и гляди, выставят вон. Потому-то они и ждут с таким нетерпением налета на банк.

— Приляг, малышка,—сказала Клара,—на тебе лица нет. Прими аспирин.

— Не надо мне аспирина,—ответила я.

— Все-таки лучше прими аспирин.

— Нет, не по мне, не по мне все это. А физически я чувствую себя хорошо,—сказала я,—чувствую себя здоровой и сильной.

— К врачу ходила?

— Денег нет,—отвечаю,—да и—господи!—не по мне все это, не для этого мы на свет появились. Ведь внутри все восстает, все противится.

— Деньги надо достать,—сказала Клара,—и если подтвердится беременность, от ребенка придется избавляться.

— Избавляться! Да я себя прекрасно чувствую,—сказала я.—Не хочу я избавляться.

— Это понятно,—не унималась Клара,—но ребенку ведь надо что-то есть. Чем ты собираешься кормить его? Будь умницей, прими аспирин.

— Нет,—сказала я. И заплакала, но так, чтобы не

слышала Клара. Я не хотела, чтобы кто-либо слышал, как я плачу.

Должно быть, я заснула, потому что когда я открыла глаза, Клара опять подкрашивала лицо, в комнате было темно, а на плите готовилась какая-то еда.

Клара говорит:

— Ну что, получше? Миссис Френч принесла нам тушенки.

Запах аппетитный. Поели, и Клара сказала, что уходит и принесет мне денег на доктора.

— Эх,—говорит,—малышка, если бы мне их можно было сюда приводить, насколько бы мне было легче!

— Ну ладно,—говорю,—давай. Все равно же нас выгонят.

Клара поглядела на меня. Она знала, что я думаю о Буче.

— А ему ты сказала?

— Нет, не могу его отыскать, удрал он уже, что ли.

— И не говори ему ничего, только разозлится. Еще недельку, и у нас будут деньги. Есть одна такая старуха, на реке живет, на барже, она сделает задешево.

У меня вырвался стон. Потом я провалилась в беспамятство, полное кошмаров, проснулась с криком, а Клары уже не было—ушла добывать деньги, чтобы убить моего ребенка.

Выбежала вон и только сунулась в Райс-парк—он тут как тут, стоит, болтает с какими-то бейсболистами.

— Мне надо было тебя увидеть, Буч,—сказала я.

— Ну, так увидела уже,—отвечает.—Перед тобой самый большой красавец во всей бейсбольной лиге, правда, ребята?

Я потянула его за рукав.

— Буч, ну прошу тебя.

— Вот, видали?—обращаясь к парням, произнес Буч.—Юная дама требует повиновения.

— Ну, ничего дурного она у тебя, приятель, не требует,—сказал один из парней.—Я сам бы не прочь дать ей интервью в уединенном уголке.

— Э, э, брат, не очень-то: это моя девушка, по спецзаказу и с доставкой. Правильно я говорю, а, беби?

Мне было неловко, я все тянула его за рукав.

Мы зашли в кабачок на углу, там, похоже, Буча все знали, да и мне некоторые из посетителей были знакомы—появлялись у нас во «Дворике», поэтому мы сели в дальней кабинке.

— Что закажем, беби?

Мы взяли пива, он потянулся ко мне и накрыл мою руку своей.

— Как удачно, что мы встретились. Я ведь искал тебя.

— Ты—меня?

— Ну да, конечно, я ведь все время за тобой бегая. И всегда, видно, бегать буду.

Может, Клара права, не стоит говорить ему, но тут я в каком-то радостном испуге все выпалила. Он отшатнулся, как от укуса змеи.

— Господи бог ты мой, это невозможно, ты что-то путаешь. Я же все как надо сделал. ...Ай-яй-яй! Ну да ладно, бабка с реки все тебе сделает, причем по дешевке.

— А я не хочу убивать ребенка,—сказала я,—да и мама мне всегда говорила, что нельзя ребенка убивать, ребенок—это единственное, что оправдывает похоть.

— Да ты что? Господи, когда ж ты образумишься? Ты что—совсем рехнулась?

— Не сердись, Буч. Пожалуйста.

— Понятно,—говорит,—ее учишь-учишь, а она, знай, наперекор. Дура ты, пакость ты мелкая!

— Не надо,—говорю,—ну, пожалуйста, не надо так громко, все же смотрят.

— Ну и пускай, пускай смотрят, что с того? Хоть каплю бы тебе здравого смысла, сама бы ребенка не захотела. Сам живи и других не дави—я по такому принципу существую. А детей сейчас заводить—они сами тебе спасибо не скажут. Ребенка кормить надо, а не будешь кормить—помрет ведь, не так, что ли? А как же, кормить надо, причем год за годом. Потом болеть начнет и всякое такое—от недостатка ухода. С детьми чего только не случается, а потом еще на них посыплются бомбы, как во всяких других странах, причем мне ведь плевать, что со взрослыми приключается—ты меня понимаешь?—взрослые-то это ладно, им положено, но дети—другое дело, когда все это с детьми, это на сто процентов другое дело, ты поняла меня?

— Да,—говорю.

— Срочно тебе надо поумнеть, тогда не захочешь ребенка. Сама себя в это втравила. А теперь, конечно—сидишь там небось нос по ветру. Раз уж поселилась с этой шлюхой.

— Не смей таких слов при мне говорить,—возмутилась я. В зале все смотрели на нас. За окном сияло солнце.

— А когда другие их говорят—ничего, правда? Даже нравится, да?

— Кто? Кто другие? О чем ты говоришь, что за чушь?

— Ты знаешь, о чем я говорю.

— Господи, о боже мой.

— От кого угодно что угодно выслушаешь и вроде как даже довольна,—сказал он.

— Да кто? Кто мне что говорил?

— Ой, ну каждый, ну кто угодно.

— Ну назови хоть кого-нибудь.

— Ну, Ганц.

— Ты же сам велел мне не обижать его.

— Ладно, короче, на меня можешь не рассчитывать. Я сам без гроша. А тебя я с самого начала предупреждал, скажешь нет? Предупреждал или нет? Я ведь не притворялся бог знает кем. Очки не втирал, правда? Ведь не втирал?

— Нет.

— Ну вот видишь. Так что нечего своих выроdkов мне навязывать.

— Ой, да плевать мне,—вскрикнула я,—оставь ты меня в покое! Не понимаю, почему нельзя нам жить нормально. Не так уж много ведь нам и надо.

— Нет, много не надо.

— Ох, прямо криком кричать хочется, может, тогда бы что изменилось.

— Конечно, только выть на луну и остается...

— Что ж, раз так,—сказала я, становясь во весь рост,—раз так...

— Сядь,—сказал он,—не заводись. Ни черта ведь до тебя никому дела нет, для начала хоть это могла бы уразуметь наконец. Надо тебе от него избавляться. Хочешь, могу сам взять ножницы, и вперед—ничего в этом такого нет. Слушай, ты прямо как Клара, ну чего смотришь на того итальяшку, чего ты ему глазки строишь?

Я вся холодным потом покрылась. Ни на кого я, кроме Буча, не смотрела.

— Прекрати!—возмутилась я. В зале пахло едой.—Поесть бы чего-нибудь.—Я заплакала.—Я есть хочу.

— Мне нечем тебя кормить, я говорил тебе.

Я заплакала.

— Ну ладно,—сказал Буч и вдруг погладил меня, положил поверх лежавшей на столе моей ладони свою.—Ладно, ну зачем столько шума, еще разбудишь его. Он ведь ирландец, а ирландцы большие сони.

Я улыбнулась. Словно колокольчики зазвенели у меня по всему телу. Так легко вдруг стало, так чудесно, захотелось смеяться. В этом же нет вины,

когда есть хочется, и мужчина не виноват, если ему неприятно, когда женщине хочется есть, а он ничего не может поделать; нет в том вины, когда хочешь есть, хочешь ребенка, хочешь любви.

Мне захотелось согреть его, утешить.



Глава 23

В дверях появился Ганц, тоже весь залитый холодным солнцем. Подошел к нам, сел и говорит бармену: пиши за мной, ставлю. Потом мне: ну, как жизнь? Я говорю: нормально, а Буч все смотрит, смотрит на меня, и взгляд такой ястребиный.

Ганц с Бучем выпили, оба встали, а Буч, будто невзначай уронив шарф, погладил меня по ноге и улыбнулся мне.

— Жди меня тут, — говорит, — жди до упора. — Затем они с Ганцем вышли на улицу.

Я глянула на часы. Когда Буч с Ганцем ушли, было пять тридцать.

Трудно усидеть одной в пустом баре, когда все стихло. Теперь я была полна желаний необузданных, словно почувствовав на языке сладкий и темный сок ночи. И впрямь — как усидишь одна в четырех стенах, штопая носки, полируя ногти, может быть думая о матери, когда вся плоть твоя в весеннем неистовстве, будто дерево, распрямляющееся после бури, и рот полон дождевой воды, и волосы все дыбом, и мощный корень яростно вбирает из земли горькую силу?

Без четверти семь. Взгляд на часы. Как быстро это у него: пришел, ушел. Я решила вернуться в наш «Дворик».

Кто-то входит, спрашивает Хойнка, и Белла зычным голосом отвечает: Хойнк вышел. Тот смешивает себе «ерша», надевает шляпу, клетчатый шарф, уходит. Мой муж вышел. Мой муж, что это значит? Доколе печаль, как проказа, будет грызть твое тело?

А Буч, Буч, сам не свой от тоски и гнева, отчаявшийся, стонущий во сне. Вчера вечером он взял бутылку, в свой стакан налил, в мой нет и швырнул бутылкой в меня. А потом стал швырять в меня корками хлеба от бутербродов.

Эк пил всю ночь, теперь добра от него не жди, а вошел опять с полным чемоданом самогона.

Сиюю одна. Должно быть, он меня ненавидит.

Конечно, когда все так вышло, что ему остается. Даже забавно, насколько больше можешь вынести, чем думалось сперва, да к тому же чувствуешь, как внутренне становишься сильнее и сильнее, лишь на губах соленый вкус собственных ран и тяжесть на плечах от всего того, что случилось.

В семь вошел Буч, и едва только он затворил за собой дверь, как вижу я, что очень он всем недоволен. И чувствую уже: что бы я ни сказала, все будет не так. И все сейчас в тартарары пойдет.

Мы взяли пива, и я сказала:

— Не знаю, делать мне или не делать, сон видела, что будет у меня ребенок, и я еду рожать на юг, к солнышку, а еще снилось, будто смотрю через дырочку, вроде как, помнишь, в детстве такие были стеклянные шары, а там внутри ягнота пасутся, домик стоит и детишки вокруг играют. Уже пятница,—говорю,—надо решать, делать мне или нет.

А Буч в ответ:

— Ну а мне-то не все равно, пятница или не пятница.

Я говорю:

— Хорошо, давай я поеду на юг, рожу и не буду больше к тебе приставать.

— Ах вот как, поедешь на юг,—напряг лицо Буч.— Удрать, значит, хочешь с моим ребенком. А мне, выходит, и этого не положено?

Чувствую, во мне все так и сжалось. Сижу как дура, рот разинут, глаза выпучены. Подходит Клара.

— Там хотят устроить кадрили,—сказала она.

— Слышишь, кадрили хотят устроить,—сказала я Бучу.— Аристократы.

— Только вот народу не хватает,—продолжила Клара.— Пойдем, есть для тебя партнер.

— А ты не хочешь кадрили танцевать?—говорю Бучу.

— Нет,—отвечает. Да таким тоном холодным, а поглядел на меня—и взгляд тоже холодный.

— Пошли,—сказала Клара.

— Да нет, не умею я,—отвечаю. Еще посидели.

Буч говорит:

— Нам с Ганцем, хоть расшибись, надо это дело до конца довести. Еще сто долларов, и на руках лицензия от компании «Стандард ойл» — и все, своя бензоколонка. А уж когда своя бензоколонка — чем не жизнь!

При этом он продолжал пить. Что с нами будет? Почему мы все дальше друг от друга? Сидит, такой молчаливый. Все было ведь хорошо... что происходит?

Словно нас разъедает какая-то гниль. Зачем мы этому поддаемся? Сидит, молчит. Словно это не с нами было... словно не он это был и не я, а кто-то другой. Сидит и сидит.

Я не хочу стать злой и черствой... Мне это не нравится. Но я не знаю, что делать. Бучу нужен успех, а мне нет. Мне нужно просто быть... Нужна радость жизни...

Подошел какой-то бейсболист.

— Слушай,— обратился он к Бучу,—это не ты когда-то в команде «Висконсин блю сокс» играл?

Сижу молча. Мимо окна головы, головы. Видны одни шляпы, и кажется, что их сильным ветром гонит, хотя на улице затишье. Похоже, снег пойдет. Небо низкое, нависшее, будто его так и распирает.

Сижу, уставившись в крышку стола. По ней мелкие трещинки. И тут вдруг вижу: Буч сидит тихо-тихо, не шелохнется, а по щекам у него катятся слезы.

— Не надо,—говорю,—Буч.

— Золотце мое,—проговорил он,—ведь ты же знаешь, я сам хочу ребенка, ведь ты же знаешь теперь, правда?

— Конечно, Буч,—сказала я.

Поглядела в окно через улицу. Написано: «Кокс Гарбо. Тепла на двадцать процентов больше, горит дольше, не дает золы». Лавка угольщика была на втором этаже. Некоторые девушки наведывались туда в полдень, брали уголь и снова шли на работу. На дверях там нет ручек, отпираются только ключом, снаружи дверь не открось. Это мне Клара рассказывала. Говорит, пахнет у него там ужасно, а сам даже рук не моет.

— Ты, видно, с Кларой из-за мужчин поселилась?—сказал вдруг Буч.

— О да, конечно, мужчины, о, я только и делаю, что с мужчинами развлекаюсь. Обожаю мужчин.

Посидели.

— Еще пива,—сказал Кларе Буч.

На картонном кружочке, подложенном под пивную кружку, написано: «В моем старом чулане мне только скелета не хватало!—вскричала мамаша Хаббард.— Нет, пиво пейте только от Шмидта!» По радио возвестили, что команда «Уайт сокс» вышла в финал. *А нам не выйти в финал, не выиграть матч, не победить в гонке, не прийти к финишу. И ничего в этом такого, медицина—великая вещь. Не плачь, милый, не плачь, я все сделаю. Сделаю. Сделаю.*

— Ты сделаешь, сделаешь!—выкрикнул он.— Ну что тебе стоит! Ты же сама его не хочешь.

— Не плачь,—сказала я. Я знала, что вот-вот он начнет злиться.

— Давай мы прямо сейчас туда ходим.— Он взял меня за руку и вытащил на улицу.

— Молодец,—донеслось из зала,—только так с ними и надо. Женщина что бубен—не стукнешь, не зазвенит. Приспусти-ка ей бровки. Задай ей перцу.

Он вел меня молча. Руку стиснул ужасно. Мы спустились со взгорка, обрывавшегося во тьму к реке. Пришлось пройти по узким, в две доски, сходням, а потом Буч постучал в дверь, все еще подталкивая меня и придерживая сзади.

Отворившая дверь старушка, похоже, обрадовалась Бучу.

— Мамаша,—сказал он,—денег у меня нет, но завтра я принесу тебе самогона, чего бы мне это ни стоило. Сделай ей, ну, этот, аборт. В общем, чтобы ничего не было.

Та улыбнулась.

— Н-да,—говорит,—заваривать кашу—оно, конечно, приятней, чем расхлебывать. Ты иди. А она пусть у меня до утра побудет. Только ради тебя, негодник. Есть у меня к тебе слабость.

Он подтолкнул меня к старому креслу, потом наклонился и поцеловал в голову.

— Все будет хорошо,—сказал он.— До завтра.

Старушка затворила дверь и дала мне выпить вина.

Она куда-то вышла, а я встала, открыла дверь, по сходням перебралась на берег и бросилась в темноте бегом на взгорок.



Глава 24

елла и говорит:

— Завтра к этому времени их, может быть, уже в живых никого не будет.

— Перестань, Белла,—отозвалась я.

Хойнк и еще трое мужчин играли в покер.

— Хватит,—сказал Хойнк,—выпей лучше. А хочешь—ударь меня.

— Столько лет добивалась от него, чтобы свои эти делишки бросил. А не бросит—я вель с собой покончу,—плакала Белла.

— Вот, выпей,—сказала я.

— Ничего себе разговорчики накануне большого дела,—сказал Хойнк.—Уж завтра-то нам придется поработать!

— Поработать!—в сердцах повторила Белла. Снова заплакала.—Глаза бы мои не смотрели, и денег никаких не надо, ох, глаза бы мои не видели.

— Авось обойдется,—сказал Хойнк.—Играй,—обратился он к Эку,—играй давай.

— Авось!—отозвалась Белла.—Типично воровские отговорки.

— А тебе чего надо?—возмутился Хойнк.—Я крою.

— Чего мне надо!—выкрикнула Белла.—Боже ты мой господи, пресвятая дева Мария, чего мне надо!

— Ну, хватит,—сказал Хойнк.—Ты что вообще о себе думаешь? Из-за твоей истерики мне, по-твоему, все откладывать?

— Ой, смерть моя!

— Не надо так говорить. Бог свидетель, я ведь что могу, все только для тебя.

— А что, интересно, для меня, что для меня—живешь вечно как крыса в подполе, час от часу не легче. Перестань воровать.

— Все воруют,—сказал Хойнк.—Мой ход.

— Дурень! Ведь можно же, наверное, по-другому как-то.

— Ну ты же не хуже меня знаешь. Ударь меня. Ну, давай, ударь. А по-другому мы пробовали.

— Ой, лучше умереть—и нам, и всем таким, как мы.

Мужчины бросили карты на стол.

Хойнк как заорет:

— Вот, держи пушку, можешь вышибить себе мозги, а нет, так заткнись и давай выпьем.

— Нечего меня затыкать,—взвизгнула Белла.—Ну посуди сама,—обратилась она ко мне,—в другом штате сядет, и то я его вызволяла, в момент, бывало, липовое поручительство достану, скажешь нет? Из тюрьмы прямо. Деньги, чтоб залог внести,—моментально. Однажды на попутках из Балтимора бросилась, штат Мэриленд, в Даллас, который в Техасе,—только бы его из тюрьмы выпустили. Сама вместо него подставилась. А что я могла сделать? Ну, разве что мозги себе вышибить.

— Ну так и ладно,—сказал Хойнк,—и флаг тебе в руки. Когда уже наконец эти женщины заткнутся.

— Конечно, ни слова поперек. Сиди с вязаньем на

коленях и смотри, как все в куски к чертям разлетается,— плакала Белла.— Конечно, лишь бы ни слова.

— Выпей вот.

— А я и выпью. Обязательно.

Вошел Буч, без единого слова проследовал мимо меня. Уселся смотреть игру, а Белла заметила и говорит:

— Что случилось? Завтра, может быть, нас никого уже в живых не будет, а он не может даже поговорить с тобой.

Буч сказал:

— Заткнись, Белла, не в свое дело не суйся.

А мне говорит:

— Стало быть, тебе нужен муж и отец? Ну так не получишь ты его. Никто не получит.

Я как раз у плиты стояла.

— На мне проехаться хочешь, на шею мне сесть? — Он говорил громко, всем было слышно.— Захребетница чертова, лживая потаскуха. Ничего ты не получишь.

Игравшие в карты посмотрели на меня.

— Ну что—всласть повеселилась?— продолжал он.— Непременно нужно меня на весь мир ославить?

— Кончай,— сказал Хойнк.— Завтра нам надо быть в форме.

— Ха, вы уже знаете,— не унимался Буч,— вы уже знаете. Я позвонил, а вы все знали, что она там наверху с этим подонком прохлаждается.

Он был пьян. Завтра будет мучиться с похмелья.

— Буч,— сказала я,— иди-ка сюда, давай выйдем.— Я потянула его за собой, и он, что удивительно, покорно поплелся следом. Вышли за дверь, в коридоре остановились. Я встала спиной к стене, он вплотную прильнул ко мне всем телом. Мы постояли, и я уже решила, что он забыл. Так славно было вдыхать его запах.

— Какого дьявола ты это сделала?— сказал он.

Я похолодела.

— Сделала что?

Вместо ответа он с размаху влепил мне пощечину. Я стояла, прижавшись к стене. В глазах темно. Потом вдруг вижу— у него такое ужасное лицо, все ближе, и я уперлась ему в грудь рукой, а как только коснулась его, чувствую: люблю.

Кто-то подымался на крыльцо.

— Не надо, Буч,— прошептала я,— увидят.— Мелькнула его занесенная рука, теперь уже сжатая в кулак, и он ударил меня в зубы. Человек, подымавшийся на крыльцо, прошел мимо нас, и я старалась не

подать виду. Но из угла рта у меня текла кровь, тут уж ничего не попишешь.

Как странно, когда тебя бьют. Никто меня раньше не бил, кроме папы. Да и тот бил не так. Я взяла Буча за локоть, и мы пошли с крыльца, держась друг за друга. Снег перестал.

Буч говорит:

— Снег перестал, это к лучшему. Хоть бы завтра снега не было.

— Хорошо бы,—сказала я. Мне даже видны были мои губы. Так распухли. С внутренней стороны нижняя губа, пробитая зубом, кровоточила.

Буч говорит:

— Что такое, у тебя кровь на губах.—Потом, помолчав:— Учти, поймаю—снова прибью, так что лучше не попадайся. Господи ты боже мой, ну зачем это тебе было нужно?

— Ты же мне сам велел,—сказала я.—Сам велел мне не обижать его.

— Конечно, давай, вали на меня. Виноват, а как же. Во всем я виноват. Так и мать моя всегда считала. Конечно, мне-то что, давай. Морда у меня не треснет.

— Ну что ты! Что ты!—вскричала я, и мы пошли по темным, замызганным улицам. Я не чуяла под собой ног, а перед глазами всплывали и лопались круги.— Нет, что ты,—плакала я,—это не твоя вина. Я просто хотела помочь тебе деньгами.

— Ну и сколько?—сказал он.—Давай, говори уж, сколько заработала.

Я не пила ни капли, но чувствовала себя как пьяная. Перед глазами все плыло.

— Слушай, Буч,—говорю,—пойдем в гостиницу.

— Ишь ты,—сказал он,—думаешь, видно, что я не могу заплатить за номер. Думаешь, поди, что только этот кровосос Ганц может за номер заплатить. Ну так вот знай, что у меня есть деньги, понятно? Могу заплатить. Сам могу за все заплатить. И всегда я сам плачу за себя. Никогда ни от кого не зависел на всем белом свете, понятно тебе? С восьмью лет я сам все в этом вшивом мире оплачиваю. Тоже мне, мальчика нашла, приглашать в гостиницу; платить еще за меня вздумала. Я сам могу заплатить и за себя, и за свою девушку, ясно?

— Конечно,—говорю,—Буч, я знаю. Все знаю. И никогда я за тебя не платила. Никогда в жизни я за тебя не платила.

— Ладно,—сказал он,—не делай вид, будто это что-то меняет.

Не доходя до гостиницы на улице Сент-Питер, Буч остановился перед ломбардом и выпил.

— Не пей, Буч,—сказала я, дергая его за рукав.— Не забывай, что утром предстоит. Тебе ясная голова понадобится.

— Ты что, считаешь, я и выпить уже не могу? Думаешь, от одного глотка окосею? Хорошенького же ты мнения обо мне. Давай-давай, я привычный. Но уж я покажу всем этим придуркам!

— Конечно-конечно, Буч, я знаю. Ты им покажешь. Ты замечательный. Ты и механик хороший, лучше всех. Я знаю.

— Нет, правда? солнышко, правда?

— Конечно, конечно,—воскликнула я.—О, как я люблю тебя! Я уверена, что все будет хорошо.

— Ты любишь меня? Честно?

— Честно, Буч. Ну скорее, пойдем. Конечно, я люблю тебя. Больше всего на свете.

— Ладно,—сказал Буч,—тогда все в порядке. Я ведь чувствую, когда у меня полоса пошла. Чтобы удачу зацепить, мне больше-то ничего и не надо. Абсолютно достаточно. Никаких там кроличьих лапок не нужно. Подков всяких. Ничего не надо. Завтра все как по маслу пойдет. Вот,—говорит,—сейчас ты мне поможешь прикинуть. Я у колонны стою—так?—пока Ганц проходит в боковую дверь, потом захожу я, перешагиваю через воротца за прилавок и всех этих клерков беру на мушку с фланга.

— Я помогу тебе, Буч,—воскликнула я, продолжая тянуть его за рукав,—мы с тобой горы свернем.

И тут мне стало весело. Я сама, сама это сумела. А ему я и говорить не стану, разве что потом когда-нибудь. И улыбка, непрошенная, заиграла у меня на губах. Я уже совершила свое ограбление банка. Выкра-ла семя. Теперь оно спрятано. Оно в тайнике. В безопасности.

Помимо воли я рассмеялась. Оно в сейфе. И ключ только у меня.



Глава 25

Мы вошли в вестибюль, я стояла чуть сзади, пока он расписывался в книге, а потом принялся шарить по карманам—сперва в брюках, потом в жилетке, обыскал все карманы пиджака, из заднего кармана

вынул пачку каких-то писем, ключи, потом начал с начала, и все роется, роется.

А я и говорю:

— Ба, дорогой мой, я и забыла, ты же мне дал подержать кошелек, пока менял камеру. Представляете,—говорю,—чуть-чуть до города не доехали, и шина лопнула, это надо же, ехали от самого Вашингтона, округ Колумбия, без единого прокола, а тут—чуть-чуть до города не дотянули, и нате вам!—Я положила на прилавок доллар, портье дал мне ключ, а на лестнице Буч прильнул ко мне и спрашивает: слушай, какой у нас на этот раз номер? Номер был двадцать третий.

— Балдежный номер, двадцать три,—Буч говорит.—Два да три—это пять. Пять для меня счастливое число. А для тебя?

— Ага,—говорю.

Мы вошли, света зажигать не стали. Я уложила Буча на кровать, и он заснул сном младенца. Я сидела на краешке кровати, окно комнаты выходило в какой-то колодец. На улицу окна не было. Окно в колодец позволяло слышать, как в комнате наверху разговаривают какие-то мужчины. Сперва доносился только неясный гул, а потом я услышала, как один из них сказал: прежде всего осторожность. А другой в ответ: зато пирожки—дело верное.

Ложиться спать не хотелось, потому что приснится опять то же самое. Так и стоит перед глазами. Читать про ограбления мне приходилось, но думать про это никогда не думала. Бывало, попадетсЯ в газете—ограблен банк, и фотографии какого-нибудь юнца, а то и девицы. Но никогда я про это не раздумывала. В тусклом зеркале мне было видно, как я сижу на постели. Завтра, если нас поймают, все узнают про это. Мне даже страшно подняться и посмотреть ближе, не проглянуло ли в моем облике это завтра. Такое должно быть заметно, должно наложить отпечаток на костяк, на всю плоть.

Я веду машину. Мы встречаемся с Эком на углу Третьей улицы, а потом расстаемся. Он отправляется за мост ждать на подхвате. Я еду по Четвертой и останавливаюсь перед банком точно в шести футах от гидранта, откуда мне виден регулировщик на следующем углу. Я присматриваю за ним и поглядываю в зеркало, а ногу держу на сцеплении.

То я просыпаюсь ночью от ужаса, что забыла, как переключают скорости. Этого, правда, быть не может. То мне снится, что я, не в силах пошевелинуться,

вросла ногами в тротуар, вроде того как в детстве мы впечатывали свои ступни в сырой цемент. Иногда во сне идет дождь, иногда светит солнце. А на улицах валяются люди, изуродованные взрывом.

По ночам это просто невыносимо, причем самый кошмар, что снятся вещи тебе совершенно неведомые, о которых ты даже не помышляла никогда. Не я ведь это придумала. Это зло исходит не от меня. Ни сном ни духом я о таком не помышляла. Неужели я преступница? Неужели я, в мои-то годы, уже чудовище? Интересно, приходило ли такое в голову маме? И кто только изобрел эти преступления, кто их развеял по земле, чтобы калечить о них нашу плоть?

Мне видятся мертвые тела на тротуаре подле угла того здания. Сам этот угол такой, какого я в жизни никогда не видывала. Сколько это—шесть футов? И сколько там от двери до машины, что в шести футах от гидранта? Надо будет попросить Буча отмерить мне шесть футов. С расстояниями у меня туговато. А тут расстояние решает все—время и расстояние. В сновидениях эти футы вздуваются до огромных размеров. Фут прибавить, фут отнять, разность—пуля. Минутой больше, секундой меньше. Все это видится мне в каком-то перепутанном времени, как в кино, когда его крутят то быстро, то медленно, то вдруг пустили в обратную сторону.

Снова голоса наверху: а тележки где взять, тележек надо много, иначе невыгодно. Потом заговорили тише.

Я легла подле Буча, и он положил на меня руку. Даже не проснулся. Разбудили меня какие-то голоса за дверью. Мне снилось, что Буч стоит у парадного входа и как раз в тот миг, когда Ганц появился из боковой двери с тремя сумками денег, из-за угла вышли четверо полицейских. Я стреляю в них, а сержант разряжает пистолет в Буча. В ярком свете я вижу, как Буч дернулся, выстрелил в сержанта и повалился. Я поднимаю винтовку, снова стреляю в четвертого сержанта, а он вскидывает дробовик, и у меня выстрелом сносит полголовы.

В слезах я проснулась и разбудила Буча. И говорю:

— Как странно, я ведь никогда в жизни не стреляла.

Он говорит:

— Хорошо бы завтра все сошло гладко. Мне вроде получше. Как бы насчет поесть.

Я говорю:

— Сходи сам.—Снова видеть все эти улицы мне не хотелось.

В коридоре поднялась какая-то кутерьма. Женщина повторяла: давай, давай, двигайся, давай, ну что такое! Не возьму я, вскрикнула она, ничего мне не надо! Потом мужчина что-то пристыженно и примиряюще забормотал, донесся звук поцелуя, и женщина закричала: давай, двигайся, уходи давай, ну давай же, а мужчина противился. По ночам в старых гостиницах голоса звучат так странно... А в результате он опять зашел к ней, и нам был слышен их смех.

Буч включил свет и убил на стене клопа. Собрался идти за пивом. Было за полночь. Я говорю:

— Ты бы лучше не пил больше пива. Нам надо быть на месте ровно в полвосьмого.

— Боже, вдруг мы не проснемся, может, и ложиться не стоит?

— Нет, нам надо отдохнуть.

Он говорит:

— Есть у тебя десять центов? пойду принесу тебе бутерброд.

Жду у входа, закуривая сигарету, прислонившись к колонне, будто просто так прохлаждаюсь. Вижу в окно, как Ганц берет на мушку кассиров, потом вхожу и тоже направляю на них оружие с другой стороны.

— Значит, ты,—говорю,—выгребаешь из ящиков за прилавком деньги и кидаешь их в сумку. Потом передаешь сумку Ганцу и гляди в оба на входную дверь.

— Да,—сказал он,—все правильно. Должно работать. Хорошо бы все подчистую взять.

— Да,—говорю,—хорошо бы.

— Что-то ты какая-то беспокойная,—сказал он.

— Откуда же тут покою взяться,—отвечаю.— Просто кошмар.

— Ты все слишком близко к сердцу принимаешь,—сказал он.— На меня погляди. Выдержу что угодно.

— Да,—сказала я,—то-то я и гляжу.— Он все еще нисколько не протрезвел, и я понимала, что его ничто не удержит, и он напьется еще больше,—ничто и никто ни на небесах, ни в преисподней.



Глава 26

н вышел за бутербродом и долго не возвращался. В соседнем номере затеяли попойку. Из чего только стены делают — из бумаги, что ли? Лежу в кровати, слушаю. Кажется, если не двигаться, не

будешь и думать. Два часа ночи. Пожалуй, стоило бы немного соснуть. Пыталась все снова прикинуть. И не смогла.

Сквозь стену было слышно, как там ходят, будто огромные крысы, этакие крысы говорящие, даже забавно. Подумалось, что на вид они, наверное, похожи на огромных крыс с длинными окровавленными мордами и торчащими зубами. Что-то у них там падало, слышалась ругань, басовито гудели и бормотали мужские голоса, перекрываемые женскими взвизгами, словно гул прибора с криками чаек.

На часах пробило полтретьего, и я почувствовала, как все это входит в меня, наполняет ощущением горя.

Ну конечно же я не забуду: если регулировщик сойдет с места, выгляну, посмотрю на пустые окна через дорогу и дам три гудка—один длинный и два коротких. Да, это я вспомню. Один длинный и два коротких, и на смертном одре сказала бы. Как последней прости—один длинный и два коротких.

Тут что—спать вовсе не ложатся? Все, что ли, ждут, когда полвосьмого будет—на грабеж идти? Наверху мужчины продолжали высчитывать, во сколько обойдется начать этот их пирожковый рэкет.

Я спустилась вниз; шел снег, но мостовая проглядывала, глянцево чернея. Я выпила чашку кофе и съела две булочки с сосисками. От пяти долларов у меня оставалось всего пятьдесят центов. Двадцать центов я выложила на стол.

Поднялась обратно, и через десять минут постучал и вошел Буч, принес завернутые в бумагу сосиски в тесте, еще теплые. Он был очень пьян. Сказал, что заболтался с парнем, который, пока не началась депрессия, зарабатывал по две тысячи долларов в месяц.

— Ты подумай,—сказал он,—две штуки в месяц, на продаже ботинок. Обалдеть!

— Ты лучше бы поспал немного,—сказала я,—а то уже скоро три.

— Как ты думаешь, там эти воротца, я их нормально перешагну, а?—проговорил он.—Наверняка придется перешагивать—девяносто процентов, что они заперты будут.

— Конечно,—сказала я.—А сколько это—шесть футов от гидранта?

— Ты что, не знаешь, сколько будет шесть футов?—удивился он.—Смотри.—И он шагами отсчитал их от окна к шифоньеру. Почти вся комната. Взглядом

я примерилась к расстоянию. Расстояния могут раздуться, растягиваться как резиновые.

Я заставила себя приняться за булочки с сосисками, раз уж он принес их.

Буч снял брюки и сел в рубашке на кровать, вытянув свои сильные ноги. Он был очень пьян. Глаза как стеклянные.

Я надела пальто, сбегала вниз и принесла в молочной бутылке кофе. Теперь у меня оставалось всего пятнадцать центов. Кофе стоил десять центов, да еще пять за бутылку. Ничего, до утра хватит.

— Вот,—сказала я,—пей.—Принялась колошматить его по плечам.—Поешь, тебе это нужно,—уговаривала его я.—Ты должен протрезветь.

— Что ж,—проговорил Буч в пространство,—я твой отец.

Отец!—я чуть не плакала. С кем хоть он разговаривает? В коридоре послышались шаги, кто-то шел на цыпочках. Буч тихим, монотонным голосом что-то говорил, под свисавшей с потолка лампочкой его черные волосы поблескивали.

Я поднесла ему бутылку с кофе ко рту.

— Я твой отец,—говорил он.—Иди-ка, отец, назад в могилу, лежи спокойно. Так-то вот, сын мой,—бормотал он,—лучше бы тебе не жить, лучше бы ты был мертвым. А трусить—это дудки, ты же классный игрок. Бейсбол—это все, ты слышишь меня, и нечего тут. А мой вшивый старикашка так бы и не узнал, и можно было бы играть по воскресеньям.

— Пей,—плакала я,—пей.

Он оттолкнул бутылку. Мной овладел страх. Буч бормотал не переставая. Но говорил он не со мной.

— Вот помрешь, и поговорим тогда,—бормотал он,—когда тебя в землю зароят, и все сплошная дохлятина.

— Мы пробьемся,—плакала я,—пробьемся, если завтра все сойдет. Пей. Пробьемся. Тебе надо протрезветь.

— Поздно,—сказал он,—теперь нам канты.

— Нет, нет,—говорила я,—удача с нами.

— Удача,—буркнул он,—сволочь такая.

Он ругался себе под нос, зудел, как оса, готовая ужалить.

— Пей!—прикрикнула я на него,—пей.—Кто-то застучал в стену. Я дрожала, как овечий хвост.

— Что такое?—сказал он.—Здесь вонь как от потного трупа. Кто здесь был? Неужто этот кровосос приходил? Я убью его!

— Пей,— сказала я.— Тебе надо завтра быть трезвым. Во что бы то ни стало.

Он поглядел на меня.

— Если тот полицейский с угла подойдет, нам хана,— сказал он.

— Не думай об этом. Перестань об этом думать.

— Ладно, ты тоже перестань.

— Который час?

— Скоро четыре.

— Завтра к этому времени все будет уже позади.

— Нормально будет. Абсолютно будет нормально.

— Да.

— А, ни черта. Дрянь дело. Зараза.

— Не говори так.

— Можно же наконец взглянуть правде в глаза.

— Нормально будет. Мы сумеем.

— Нас перебьют.

— Нет, нет.

— Нас перебьют и позабудут.

— Что ты, мы никогда не умрем,— всхлипнула я.

— Ну ясно, дурашка, никогда. Милая ты дурашка. Иди сюда.

— Не надо, Буч, нельзя. Тебе надо спать.

— Ну давай же, ну, золотце мое, повернись, повернись ко мне.

— Не сейчас.

Мужчина и женщина в комнате по соседству хохотали в постели. Их громкий смех пробивался сквозь обсиженные клопами стены, нависал гроздьями, как виноград летом, стлался, как тяжелые пшеничные колосья в Висконсине.

— Сейчас! Сейчас!— взмолился Буч.— Потом будет поздно!



Глава 27

аже странно, как все становится просто, когда дело сдвинулось. Начинаешь действовать, и сразу все волнения позади. Когда начинаешь делать, уже не думаешь.

В полседьмого я вывела Буча из гостиницы, накачала его черным кофе и заставила пройтись по набережной. Было светло и тихо. Утро выдалось ясное и холодное, снегопада не было. Я заставила Буча пройтись по набережной, вид у него стал лучше, мы

пошли в нашу харчевню, где Белла как раз стояла у плиты, варила кофе, придерживая на груди халат и то и дело оглядываясь, и такой испуг был на ее оплывшем лице, какого мне еще видеть не приходилось.

— Ну и жизнь,—проговорила она,—ведь всю-то ночь на ногах. Поспать так и не удалось. Вот, кофе хотите?

— Да времени нет,—ответила я.

— Да есть, есть,—говорит,—еще только четверть восьмого.

Я дала Бучу еще кофе, плеснув туда немного бренди.

В кухню вошел Ганц и говорит:

— Не надо тут скапливаться, вид получается подозрительный.

— Да у тебя все равно вид подозрительный,—отозвалась Белла,—ужас, что за вид.

— Ладно, попрошу без замечаний, давай кофе. Что с ним такое?—спросил он, указав на Буча.

— С ним все в порядке,—ответила я.

Вошел Хойнк, все волосы дыбом. В руке он нес сумку.

— Нет, такая не пойдет,—сказал Ганц.

— А чем она нехороша?

— Господи боже мой, да нельзя же в банк заявиться с таким баулом. Ну ты и чучело!

— Заткнись-ка лучше,—сказала Белла.

— Белла,—обратился к ней Хойнк,—там наверху еще есть сумка, принеси, ладно?

— Выпей чашку кофе, мой мальчик.

Ганц вошел в помещение бара, где было еще темно.

— Может, не надо, золотце мое,—сказала Белла.

— В последний раз, Белла. Не расхолаживай меня сейчас, дело будет тяжелым.

В семь тридцать мы вышли на улицу. Машина стояла тут же, та самая, которую я перегоняла менять номер. Позади на полу я заметила револьверы, винтовки и дробовики.

Кроме того, револьверы были у каждого из мужчин при себе, мне было заметно, что пальто на них оттопыриваются. Вид при этом у всех был довольно-таки странный.

Я забралась в машину. Ганц уселся рядом, Буч сзади, и я чувствовала, как он тянется, клонится вперед.

— Ну, езжай не спеша, детка,—сказал Ганц,—давай, как я велел тебе—посередине улицы, чтобы внутрь не заглянуть было, а то еще занавески опус-

кать... Если нас сейчас со всем этим арсеналом накроют, придется отстреливаться.

— Хоть бы уж все по-тихому,— проронил Хойнк,— хоть бы сработать чисто.

— Езжай спокойно, детка. Правил сегодня не нарушай. Будто динамит везешь.

— Оставь ее в покое,— сказал Буч.

— Кто там вякает?

— Я,— сказал Буч.

Я опустила стекло окна. Лоб у меня был в испарине.

— Разгоняйся между перекрестками, у перекрестков потише,— говорил Ганц.— Где висит знак «стоп», останавливайся.

Я ухитрялась видеть обе стороны улицы сразу, словно каким-то добавочным зрением. При виде человека, шедшего в нашу сторону, я дернулась, как от удара, и еле оторвала от него взгляд. Все казалось таким значительным, виделось так ясно.

— Чудное утречко,— сказал Хойнк. Все выглядело будто в кино, четко так очерчено, а дома как нарисованные.

Вижу: трое мужчин на углу, разговаривают. Подняли головы, поглядели на нас. У одного мне бросились в глаза усы, как у отца, и худощавое лицо. Они продолжали разговор. Поглядела назад и заметила, что у кого-то из них штаны сзади отвисают таким мысыком, как это вечно водилось у моего отца.

Мы переехали мост туда, где должен был ждать Эк с машиной, в которую они собирались потом пересесть, но Эка на месте не было.

На углу была шинная лавка. Внутри кто-то был, подметал полы.

— Где же он?— пробормотал Ганц.— Какого черта, детский сад развели!— Мы объехали вокруг квартала и вернулись. Его не было.

— Не выглядывай,— рявкнул Ганц.— Вытаращилась!

Я снова медленно обогнула квартал и вернулась, человек в лавке все еще подметал пол; на этот раз он поглядел на нас.

— Не давай ему разглядеть тебя,— сказал Ганц, кашляя в носовой платок.

Мне стало смешно: у меня носового платка не было.

Мы еще раз описали круг, причем теперь тот человек смотрел на нас, с метлой в руке подходя к окну.

Никогда еще я не видела все таким ярким и плоским, как будто дальше уже и нет ничего, и ни

обогнуть, ни подобраться сзади, ни даже запомнить ничего нельзя. Словно нет никакого объема, полости, спрятаться негде. Ощущение сумасшествия. Я все твердила себе, что есть еще время. Еще можно остановиться. Ганц склонился вперед напряженным взглядом окидывая улицу. Буч у меня за спиной. Я его даже видеть могла. Видела его как на ладони.

Всю улицу видела, четкую и уменьшенную в зеркальце заднего обзора.

Сзади показалась патрульная машина полиции. Заметила ее я. И говорю:

— За нами патрульная машина.

Ганц говорит:

— А, будь оно все неладно!

Я говорю:

— Сидите спокойно, как ни в чем не бывало. Это ерунда, они возвращаются в участок, он за углом.

Ганц сидел белый как мел.

— Что, струсил,— сказала я ему,— хорек!

Патрульный автомобиль проехал немного рядом с нами, обогнал нас, и двое усталых полицейских на нас даже не взглянули.

— Без четверти восемь,— сказал Ганц.— Что он тут нам за балаган устроил?

— Приедет,— проговорил Хойнк.

— Сворачивай с этой улицы,— сказал Ганц.— Надо сваливать к черту отсюда, пару кварталов проедем и назад. Давай, давай отсюда, вали с этой улицы, прочь, прочь,— зачастил Ганц.

— Ты вот что,— вклинился Буч,— мог бы и повежливее с ней разговаривать.

— С кем это?— проворчал в ответ Ганц.— Ты там тоже не забывайся.

— Чего-чего?— угрожающе запел Буч.

— Спокойно,— сказала я.— Вон Эк.— Его машину я заметила кварталом дальше.

— Пристраивайся ему в хвост, дистанция полквартала,— сказал Ганц.

— Он нас увидел,— сказала я.— Все, что нам нужно, это проехать мимо, чтобы он знал, что у нас порядок.

— О'кей.— Мы вернулись к шинной лавке, Эк чуть высунулся и приподнял ладонь. И я приподняла ладонь.

— Останови,— приказал Ганц.

Я свернула к поребрику. Необходимости в этом не было.

— Где тебя носит?— сквозь зубы прошипел Ганц.— Где ты был?

— Плюнь,—сказал Хойнк.—Поехали.
— После скажу,—отозвался Эк.
— Ладно,—сказал Хойнк,—нечего рассусоливать, меняю тему. Еще не поздно. Успеем кое-что...
— Давай ходом,—выдохнул Ганц.

Движение на улицах становилось оживленнее. Я ехала быстро. Вела очень хорошо. По Четвертой улице свернула и медленно заехала за угол. Увидела регулировщика на следующем перекрестке, где ему и полагалось стоять. Когда заметила гидрант, так и подпрыгнула, будто он на меня глазами захопал. Вспомнились стены гостиничного номера. Остановилась в шести футах. Повернулась, глянула на Буча, и он мне улыбнулся. Стало полегче.

В банке горел свет, и внутри все было хорошо видно. Дверь еще не отпирала. Солнце било сквозь колоннаду в точности как в то утро, когда мы проводили тут разведку на местности. Мотор я оставила работать. Ловко выскочил Буч, и в тот же миг я увидела, как открывается стальное хранилище.

— Вот оно —оба вместе сказали Хойнк и Ганц. Ганц отворил дверцу, вышел со своим портфелем, обогнул автомобиль и зашел за угол.

Хойнк вылез и медленно последовал за Ганцем. Буч, прислонясь к колонне, вытягивал из пачки сигарету. Вид вполне естественный. Вообще все имело вид кошмарно естественный. Мне в глаза бросилась секретарша, вытиравшая пыль со стола председателя правления банка. У нее был белый кружевной воротничок, очень изящный. Кассиры выносили из хранилища запечатые короба, заходили с ними в свои кабинки и рассовывали банкноты по ящичкам.

Я чувствовала себя чуть ли не счастливой оттого, что знала это заранее, и теперь все шло именно так, как полагалось. Сердце стучало у самого горла. Мимо Буча прошла женщина, и он посмотрел на нее. Я проследила за его взглядом.

Лицо он заслонила рукой, чтобы она не могла толком разглядеть его. Вспомнилось, как он говорил: прикрывай лицо, золотце, не то я увижу тебя в газетах.

Буч, одними губами тихонько произнесла я, и он, словно услышав, швырнул сигарету в водосток, повернулся и прошел через колоннаду в банк. Я так и видела, как в нем затрепетала хищная, нервная кошачья струнка. Теперь меня со всех сторон окружало одиночество.

Счет времени я потеряла, не могла бы сказать, час минул или минута. Голова была пуста. Мимо прошел

какой-то мужчина, глянул на меня, и мне показалось, что у него глаза широко раскрылись.

Очень все было странно. Народу на улице вроде было немного. Регулировщик становился ко мне то лицом, то боком, обтекаемый потоками транспорта. Ногу я держала на сцеплении. Она виднелась где-то далеко внизу и казалась чужой. Я не чувствовала ее, словно она отрезана и лежит там сама по себе.

ВСЕ ВРЕМЯ НА-ТОВСЬ, вертелись в голове поучения Ганца, ТАЧКУ ДЕРЖИ ПОД ПАРАМИ, ЧТОБЫ В МИГ УЛЕТУЧИТЬСЯ, СКОРОСТЬ—ЭТО ВСЕ, ТАК-ТО ВОТ, ЧТОБЫ КАК ГИТЛЕР!

Я поглядела на улицу сзади, съезжившуюся в зеркале. Видны были дома, чуть покосившиеся и потемневшие.

А про себя подаю Бучу советы: перешагни за прилавок, конец прилавка у того окна, что на проспект выходит, там низкие воротца, перешагни их, милый, ты ведь у нас высокий, перешагни их. Кассиры и ящики с деньгами будут с тобой в линию, бери на прицел. Махни служащим, чтоб отошли, прикажи им, не подпускай их к кнопкам сигнализации. Не забудь ничего, Буч, если они до кнопки доберутся и запустят сирену — помни, драки не избежать, это уж как пить дать. Будь осторожен. Теперь выгребай из ящика в каждой кабинке, деньги выкладывай на прилавок и пихай в сумку. Вот, правильно.

Хойнк запрыгнул с другой стороны у второго платежного окошка.

Внутрь я не заглядывала. Широкие окна теперь зеркально отсвечивали на солнце.

Улицу начал переходить пес и остановился. Тоже боится, небось, подумала я, а он пошел обратно к поребрику, постоял у гидранта и задрал ногу.

Я повернула голову и поглядела на дверь. У двери я увидела Буча. Видимо, Буч уже выгреб все из ящиков, передал сумку Ганцу, теперь его дело следить за дверью. Не выпускай никого, Буч. Внимание!

На углу из машины вышел тучный мужчина с портфелем. За рулем сидела хорошенькая девушка. Она сказала, до свидания, отец. Он одернул на себе жилет, поправил толстым пальцем усы, не глядя прошел мимо меня и свернул в колоннаду. Буч тоже его увидел, и когда тот вошел в дверь, на моих глазах его голова исчезла, словно он провалился.

Все было спокойно. Банк я видела так ясно, будто он сделан из льда, и солнечный луч чуть подвигался среди колонн, таких красивых.

Еще один мужчина приехал в машине, остановившейся неподалеку. Машину вел шофер. Приехавший вышел, отбросил сигару и зашагал к солнечной полоске между колоннами.

Я ждала теперь, что будет дальше, словно это книга, и я ее читаю. Тот вошел внутрь и почти сразу же стремглав выбежал обратно, визжа тонким голосом, как недорезанная свинья. На улице все переменялось. Кто-то побежал. Я сделала перегазовку. В голове пусто. А виден даже воздух.

Потом вокруг меня как стекло лопнуло, и начали доноситься выстрелы, захлопала пронесенная Ганцем магазинка, и еще два раза отрывисто треснуло с расстановкой, при этом полицейский на углу вертелся, как кукла на веревочках, и снова все стихло, только беготня кругом.



Глава 28

Буч, пятясь, вышел из двери банка. Я смотрела на него во все глаза. Он вышел спиной ко мне, держась за бок. Шел сгорбившись, а потом распрямился, повернулся ко мне и четыре шага пробежал, снова повернулся к двери банка, через которую вбегали и выбегали люди. Пока он продвигался ко мне, я неотрывно смотрела на его затылок. Я сделала перегазовку, и когда он приблизился, взялась за ручку дверцы и отворила ее. Держала дверцу открытой, пока не увидела его затылок и краешек уха совсем близко.

Народ бежал мимо него к банку. Никто, похоже, не обращал на Буча никакого внимания. Я держала дверцу, пока он не наткнулся на нее спиной, и тогда он распахнул ее шире и сел в машину. Я видела улицу впереди и позади, в зеркале; прохожие все как один бежали к банку.

Еще одна перегазовка, и, едва он закрыл дверь, я врубила скорость — не без скрежета получилось, потому что нога у меня все-таки затекла.

Буч сказал:

— Оба убиты.

Я не поняла кто. Спрашивать не стала. Хотелось все же, чтобы одним из них был Ганц. Никто, похоже, нас не замечал. Я доехала до конца улицы, свернула вниз с приречного взгорка. Вела машину быстро, вперед, через мост, без размышлений, потому что это был

путь, намеченный заранее. Я ехала очень быстро и видела очень хорошо. И очень четко все вокруг было прорисовано, словно наутро после грозы. Не успев ничего сообразить, я уже перемахнула мост по дороге на обусловленную встречу с Эком, но потом, поразмыслив, свернула в сторону и не сбавляла газ, пока город не остался позади. Только тогда я посмотрела на Буча, а он был очень бледен и все держался за бок. Я сбросила скорость.

— Дай глянуть.— Буч сдвинул полу пиджака; бок был похож на дерево, в которое ударила молния. Чуть ли не вспорот, и содранная кожа висит, как кора.

Я знала, что погони нет. Не могла ее себе даже представить. Да и не пыталась ничего представлять себе. Просто ехала так быстро, как только можно, но не быстрее. Сняла с себя пальто.

— Вот,— говорю,— приложи к своему боку и попытайся остановить кровь.

— Куда мы сейчас едем?— спросил Буч.— Вообще-то это теперь почти не важно, правда же? Ну давай, ругай меня. Я тебя в это втравил, ругай меня, я вытерплю.

— Не говори ничего,— сказала я.— От этого только хуже.

Мы ехали по равнине. Хотелось надеяться, что мы едем к югу. Я старалась держаться малопроезжих дорог, чтобы нас не засекли, но я знала, что погони нет.

— Что ж, ты была права, ну давай, скажи мне, что ты была права. Чудненький у нас получился финиш.

— Никакой это не финиш,— сказала я.

Он спорить не стал, и это меня испугало.

Мы ехали все дальше, и немного погодя он сказал:

— Улов-то у нас тю-тю. Погони нет, ладно, но ведь ни гроша! Через такое пройти, и ни гроша. Этот выродок Ганц подстроил так, чтобы только ему нести деньги. Точно так же и я мог нести сумку, но уговор был, чтобы нести ему. Нет чтобы каждому по сумке, а там уж как кривая вывезет.

Что-то он, похоже, разволновался. Говорит, говорит, не остановишь. Сама я чувствовала себя лучше, чем перед налетом. Чувствовала легкость, будто сотню фунтов сбросила. А он все говорит и говорит, даже не по себе мне стало. Подумалось, уж не бредит ли.

За стойкой, говорит, такой коротышка стоял в черном драповом пальто. Востроносенький и всегда

веселый. Потом от сивухи помер, но пока жив был, все веселился. Он и говорит: что еще тут за состязания устроили? Кубок Маккарти? Он свой был парень, а хозяина заведения звали Маккарти, вот он и говорит, мол, кубок Маккарти. Вот еще, за вами погонисься, живо по миру пустите. А кто уже напился, тем пиво отпустить не буду ни за что. Кто трезвый, тем пожалуйста, хоть залейся,—свой парень, чего там,—а если пьян уже, так зачем тебе пиво трескать. А уж картежник был первый в городе, с самим Джо Хиллом играл, и знал он уже, что к чему и про то, что колода меченая... Он и говорит мне: Буч, карты-то меченые—а я тогда еще вовсе ценком был, он-то мне сказал, да я ведь умник был, куда там, умен чересчур.

Заставить его замолчать было невозможно. И куда-то ведь его надо девать теперь! Подумалось: может, к врачу отвезти? Но побоялась. Мы теперь как бы против всех были.

— Надо же, ни гроша,—пробормотал Буч,—а главное, ведь держал же, сам в руках держал столько денег, до сих пор их пальцами ощущаю, нам бы хоть малую часть от них, так бы зажили...

— Хоть в живых остался,—сказала я.

Он только молча взглянул на меня.

— А я,—сказал он,—тогда еще подумал—ну, когда у колонны стоял, пока мы не вошли, а та девушка как раз проходит мимо, и я подумал: есть ведь еще секунда-другая, еще можно все бросить и уйти, и мы бы тогда могли жить себе спокойно, как ты хотела. Мог бы ведь просто взять и уйти.

— Не говори ничего,—сказала я. Машину я вела все в объезд, стараясь города и поселки оставлять в стороне. Все вперед и вперед еду, и вдруг река показалась, я остановилась, вышла, достала запасную канистру бензина, залила в бак, сняла с себя нижнюю рубашку, окунула ее в реку и обмыла ему бок, а полой прикрыла рану.

Едем дальше и дальше, и никто за нами не гонится, это точно, а мы, должно быть, к полудню уже миль полтораста отмахали; кругом равнина, и я подумала, может, мы уже в Айове, а кругом так все плоско, я глянула на солнышко и свернула к востоку: сумасшедшая мысль мелькнула, что так быстрее темнота наступит, и потом, глядишь, до Миссури доберемся или еще до каких-нибудь лесистых мест. Было очень страшно посреди этой равнины, где и спрятаться некуда, разве что под землю.

Все еду и еду, и никого за нами нет. Только фермерша какая-нибудь выйдет, стоит в дверях. А мы мимо едем, будто влюбленные. Буч от раны кверху нормально смотрится, да еще этак ко мне чуть прильнул. Женщины только постоят в дверях, да дети из окошек глянут. Все жены такие важные.

— А я ведь,—сказал Буч,—все прямо по уговору сделал, только того жирного слизня не поймал, сошел он у меня с рук, будто намыленная свинья. Да еще орет как резаный.

— Я слышала,—отвечаю.—Не говори ничего. Я сейчас остановлюсь, надо бензином заправиться, пока не стемнело. Сиди прямо; вот пальто запахни.

— Ты ведь не думаешь, что это из-за меня, а? — не унимался Буч.—Ну, в смысле, весь этот кавардак.

— Да нет,—говорю,—причем тут ты. Ты ничего не мог сделать, куда там. А сейчас помолчи.

Я свернула к бензоколонке.

— Пять галлонов,—говорю.—Да, и в канистру, пожалуй, тоже налейте, мы решили подальше на природу выбраться.

— Ясно,—отвечает,—к югу, стало быть?

— Да,—говорю,—может, в Арканзасе потеплее.—А сама думаю, точно ли дорога ведет в Арканзас.

Мои слова его не удивили.—Да,—говорит,—и охота там неплохая.

Достает канистру с заднего сиденья. Бензоколонка простенькая, в виде дачки, и бумажные герани в окнах.

— Здорово вы тут обустроились,—сказал Буч.

Владелец, молодой парень, поглядел на нас и зашел в дом.

— Денег-то у тебя сколько, а, Буч?

— Пятерка есть, Ганц на бензин дал,—сказал он.

— Слава богу,—говорю,—хоть что-то Ганц сделал правильно.

Парень вышел, и Буч снова говорит, дескать, неслабо он тут обустроился. Тот глянул на нас.

— Ну, в общем, да,—сказал он, вытирая лобовое стекло.

Мы с Бучем прижались тесно, чтобы он ничего не заметил.

— Мы с женой все до последнего цента в эту бензоколонку вложили,—сказал тот,—а теперь компания «Стандард ойл» ее у нас отбирает.

— Как так можно,—сказал Буч,—у вас ведь лицензия!

— Правильно,—говорит,—а у них манера такая: сперва дают тебе почувствовать, будто это все твое, ты

хозяин, шишка, а потом все башли себе берут и так подстроят, что тебе ничего и не остается. Работай хоть двадцать восемь часов в сутки, жену с детишками можешь голодом заморить, все едино. Тебя доят со всех сторон. Одно слово — рэкет. Козыри-то все у них, и тебе не выиграть. А когда сдашься, выжатый уже до нитки, на твое место другой дурачок найдется.

— Ни черта себе! — вырвалось у Буча.

Опускалась ночь. Парень отсчитал нам сдачу, и только мы чуть отъехали, Буч начал ругаться. Никогда я от него такой ругани не слыхивала.

— Буч, — говорю, — не надо.

— Вот сволочи, выродки грязные. Как ни вертись, достанут. Не уйдешь от них.

— Успокойся, — повторяла я, — успокойся.

Где-то надо было остановиться. Делалось совсем темно.



Глава 29

друг пошел слабый снежок, и это меня расстроило. Я-то думала, юг — он и есть юг. Вся надежда у меня была только на это.

Я понимала, что если достаточно долго ехать, приедешь к реке, а у реки всегда сыщется какое-нибудь укрытие — пещера, деревья.

У Буча начался бред. В темноте мне его было не видно, но едва я начинала выискивать, куда бы свернуть с дороги, как тут же до меня доносилось его бормотанье.

— Да, — говорил Буч, — золотце мое, скоро, ох скоро уже начнет сказываться. Куда мы едем? Скоро начнет сказываться, ничего не попишешь. Чего мы ждем? В будущее надо верить. Был такой у меня знакомый, он не отец мне, но он говорил так: сын мой, мне тебя нечему научить, но ты кое-что сам поймешь. Кое-чему научишься. Он был мне не отец, но так уж он говорил. А я плевать хотел на его слова. Хоть кол на голове теши.

На пути стали попадаться деревья, отлогие холмы. Куда приятнее, когда дорогу позади не видно. Я старалась вести машину как можно лучше, чтобы не беспокоить Буча.

— Нет, он мне не отец был, — повторил Буч. — А по отцу я что — обязательно должен убиваться? Нет,

ты ответь мне. Ничего ты никакому отцу не должен. Всю жизнь тебя только пинают со всех сторон, а ты еще что-то должен отцу за то, что он тебя втравил в эту кашу.

Он принялся петь. Это было ужасно. Я тайком немножко поплакала. А он принялся петь, как пьяный, на мотив песни «Звездно-полосатый стяг»: Тебе, отец, ушедший в море, я эту песню пропою... Будь этот день проклят,—вдруг сказал он,—поганый этот, паскудный день.

— А моя мамаша...— снова забормотал он.— *Одного крику от нее сколько было, прости господи, и детей, детей что цыпят. А мои где дети? Где мой сын? Он бы стал большим человеком, а как же. Уж трусом-то он бы не был. Да, приходится теперь тебе таскаться с этакой тушей. Я могу спать где угодно, насчет этого не беспокойся, где угодно засну. Спать очень хочется. Да кому, к черту, я нужен. Помню такое лето, когда я каждую ночь спал в море. А что, местечко подходящее. Там этот Джо, он не любил оставаться наедине со жмуриками, потом там летом прохладно, летом это самое прохладное место, залезай на холодную каменную плиту и спи.*

Джо был когда-то гвоздь-парень, но дошел до ручки. Все нутро себе выжег. Это уж такое дело—выжигашь себе нутро. А бросить вовремя не получается. Ни у кого на моей памяти не вышло свою шкуру спасти, вовремя отыграв на попятную. Он вечно второе место занимал. Бывало, зима, а он все вокруг Комо и Райс-парка бегаёт, разминается. Я грузовик тогда водил, еду, самого от боли в почках аж скрючило, а Джо—гляжу, бегом греется, как собака. Теперь его уже не обидишь. Почему я должен молчать? Мне что—и поговорить уже нельзя? Ему так часто по мозгам доставалось, что они у него уже наперекосяк стали. Джок Мэлоун открыл тогда спортзал, это давно было. Однажды Джо возвращается в город на собственном «паккарде». Да уж, это было нечто! А потом вдруг—раз, и у него уже нет «паккарда», раз и все, и я встречаю его на Четвертой улице, пыхтит, спотыкается, дай, кричит, пять центов!—это он-то, сам только что при больших деньгах, и шести месяцев не прошло. Вот тебе и на: *то густо, то пусто, вот тебе твоя капуста!—есть у тебя пять центов?—орет. Черт его знает, говорю, потряхни меня, и если что зазвенит, поделим. Нашел четверть доллара, поделили. Моя девушка хочет в кино, сказал он, ну, и пошел я с ним вместе, да заснул, а просыпаюсь—уже проходы под-*

метают. Опять, значит, отключился. У меня таких провалов памяти было множество. Думаешь, дельное что, и опять провал. Хоть тресни. Что-то мозги плохо варят. Мне что—по голове досталось?

— Нет, Буч,—сказала я,—ты в полном порядке.

Увидела впереди мост и решила, что там должна быть на другой стороне дорога, ведущая вниз, к реке.

— У меня есть один знакомый, на железной дороге работает,—вновь заговорил Буч,—он нам поможет. Я знаю, где можно достать дешевый джин. Он съездит, привезет. Пять центов за пинту, и неделю можно не дергаться. А еще там есть такая Мэйбл Мартино, ходит, буксы проверяет, а у самой в голове давно все подшипники погорели, толстенькая такая коротышка и вечно под мухой. А что, это помогает, скажешь нет?

— Нет,—сказала я,—нам это не нужно.

— Ну, нам-то что, нам-то, конечно,—выкрикнул он... и запел.—Посыльный был так пьян,—вновь забормотал он,—что рухнул под забором на площади у здания суда, вдруг глядь—ничего нет, а на нет и суда нет, а без суда ни туда ни сюда. Я бы тоже куда-нибудь рухнул, золотце. Забился бы в какую-нибудь солому. Что делать, надо эту старую тушу до дому дотащить, где бы он ни был теперь, дом-то...

— Сейчас, сейчас будет дом,—сказала я, свернула через мост и налево, где дорога спускалась прямо в заросли кустарника у реки. Дорога была грунтовая, я очень медленно вела машину по замерзшим колдобинам. Остановилась, выключила фары.

Буч застонал: не надо, не гаси, темно, и я снова их зажгла.

— Однажды,—сказал Буч,—в перерыве между играми заходим в бар к Ошкошу, а там уже двое наших бейсболистов сидят. Одного звали Пинки. Все так шикарно, красное дерево... Пинки мне, мол, привет, парень, я-то нынче при деньгах, вон в отеле «Фонд-юлак» живу. А другой был О'Лири, он тоже при больших деньгах был—в общем, выпили. Джин, там, коктейли... Денег у Пинки были полные карманы, его старик только что копыта откинул.

Слушай,—вдруг сказал Буч,—а ведь эта дорога как раз к моей матери ехать. Мать-то у меня совсем дурная стала. Бывало, я ездил, навещался к ней, пусть, думаю, повидается с непутевым своим любимцем, сыном Ирландии, это ее взбодрит. Тебя бы это взбодрило?

— Да,—сказала я. Ехала я уже совсем медленно. Кое-где у реки попадались ветхие хибарки.

— Бог ты мой,—сказал он,—как вспомню, так вроде опять будто мальчишка. Думал, что этот старый мир без меня не обойдется. Честно. Думал, люди без меня не проживут. Разносчиком газет работал, так ведь старшим в смене стал. Приходилось в четыре утра уже около издательства ждать, в переулке. Думал, бог весть какую важную работу выполняю. Будто без меня никто и газету получить не сумеет. Честно. Вот, думал, как я служу народу. Дубина. А теперь женщине приходится добывать мне пищу, из рук меня кормить...

Чарли—у него еще три пальца было—сам из Нью-Йорка, а ехали мы товарняком с ним из Майами. Соскочили. Нам с Чарли вдвоем спать пришлось, а Рэд принялся про своих деток рассказывать. Он тоже из металлургов был, скопил денег, поселился в своем домике, но выплаты-то каждый месяц, а платить сколько... а еще клепальщик один, он с товарищем на пару на высоте стальные балки склепывал, и надо было, чтоб пореже кнопку звонка нажимать, предупреждая тех, кто внизу, причем они всегда вместе работали, а потом Сэм упал с пятьдесят четвертого этажа здания «Эмпайр-Стейт». Кричит: падаю, падаю. Я его за ногу ухватить пытался. А ничего не сделаешь, только и оставалось, что на звонок давать. Народу на похоронах довольно много собралось. Все наши. Муторно мне было. А еще я с одним работал... А еще на фабриках... А в октябре снова Чарли встретил, ну и видок у него был, и все ему трын-трава, кроме конфеток «Беби Рут»...

А брата моего помнишь?

— Да,—сказала я.

— Биллу-то это дело привычное. Совсем еще малец был, а уже запросто по столбам лазил, крепил провода, причем в любой ветер, аж волосок к волоску на брюхе примерзает от пота из подмышек. Помню, как я впервые увидел Билла. Прослышал, что он родился, из пеленок тут же выпростался и поперся его приветствовать, мол, добро пожаловать в наш бренный мир, а он от горшка два вершка, да и я чуть больше. А еще у нас был такой собутыльник Мортон Рыбий Глаз, большой поганец. Мы сами были не бог весть какие паиньки, а он был совсем поганец.

Куда ты?

— Сейчас вернусь,—сказала я,—вылезла из машины, а его попыталась прямой посадить. Решила прой-

тись по дороге, в заросли глянуть. Пошла, сзади фары светят. Слева река шумит. Вижу дорожку, свернула. Вышла по ней к хижине у воды. Бегу назад. Слышу, Буч все говорит. Села.

Буч говорил:

— *Мастак был в стенке уборной дырку проверить, теткам под юбки лазил, а теперь в банке кассиром служит, весь из себя важный, прямо куда там. Может это он и был — тот хряк визгливый, что у меня с рук сошел.*

Я говорю:

— Почти что приехали.

— Куда? — спрашивает.

Я съехала на полянку, где прежде тоже какая-то машина стояла.

— Такое чувство, что я сейчас весь, как ноги у моего старика тогда были, — сказал Буч.

— Как это?

— В общем, папаша болел, а я крутился по дому, и вдруг вижу — у него копыта из-под одеяла торчат, ну, я пощупал, а они холодные как сосульки. Прямо как лед были у отца ноги. Старухе сказал, а она как взвояет. Оказалось, помер.

Я говорю:

— Слушай, ты должен мне помочь. Надо теперь выйти из машины.

— Я помогу тебе, — ответил он. — Сделаю все, что скажешь.

— Хорошо, — говорю. Открыла ему дверцу. — Ты рукой со здорового бока обхвати меня.

— Ну, это запросто, — говорит, — это мы с удовольствием. Тоже мне помощь.

Фары я оставила зажженными, и в их пронзительном свете переплетения по-зимнему голых ветвей казались клочьями бороды старика.



Глава 30

Когда я уложила Буча в хижине на койку, весь его бок был огромным зевом, он открывался и захлопывался, а рубашка и пиджак всосались в него и отвердели от крови. Я побежала вниз, сняла с себя нижнюю юбку, разбила тонкий ледок, намочила ее в воде и бросилась назад, на бегу зажимая юбку подмышкой, чтобы хоть согреть немного. Больно уж

вода холодная. Приложила мокрую ткань к ране, но непонятно было, как такой зев вообще может закрыться.

Пошла собрать каких-нибудь дров; было холодно. Бегала среди кустов как ненормальная. Некоторые сучья целиком не влезли, дверца печки осталась открытой, но это было даже лучше—свет из печи позволял мне видеть Буча.

Он уже ничего не говорил. Заснул, а я все смотрела, дышит ли. Он был так тих, что мне все стало ясно.

И вдруг говорит:

— Ты меня лучше здесь оставь, золотце мое, а сама езжай дальше.

Я отыскивала какую-то старую кастрюлю и вскипятила воды. Казалось, ночь длится долго-долго. Пришла мысль, что давно надо было его к доктору отвезти. Должно быть, я с ума сошла. Почему я этого не сделала? Решила, как рассветет, повезу.

— Сработали-то мы все в лучшем виде,—сказал Буч,—только вот тот ублюдок выскользнул у меня, как намыленная свинья. Если б не он...

— Не он, так еще что-нибудь случилось бы,—сказала я.

— Забавно,—продолжал Буч,—еще была такая толстая тетка, она тоже там работала, я ей велел лечь на пол, а когда уходил уже, иду к двери и чуть ей на лицо не наступил, а она на меня как глянет! А я ничего такого и не собирался...—Буч замолк.

— И что дальше?—спросила я. Вот. Теперь он расскажет.

— Ну, в общем, еще до того как появился тот хряк, Ганц говорит, все, мол, ребята, о'кей, без суеты на выход, спокойно, тащим башли в машину. У Хойнка была сумка с деньгами из хранилища, а у Ганца та сумка, что я ему передал. И вышло как раз, как я подозревал, во сне даже иногда мерещилось, что Ганц с Хоуном замышляют все денежки забрать себе.

— Да, пожалуй, я этого тоже боялась.

— Ганц увидал, как я упустил того хряка, и повернулся, и тут вижу, Хойнк падает—а он уже чуть не в дверях был,—падает, и это Ганц ему в спину выстрелил, и прямо в сердце. Его работа. Хойнк упал у двери. Я видел. Такой огромный, и как рухнет, будто подкошенный. Ганц на бегу деньги у него хватить из руки, и теперь у него уже обе сумки были, а я прицелился и выстрелил ему в спину.

Я ничего не сказала. Взяла его за руку.

— Увидел его и выстрелил. Сзади его вид мне всегда не нравился.

— И правильно,—сказала я,—мне тоже.

— А он этак крутнулся—в падении,—увидел меня, поднял свою магазинку и всю обойму выпустил. Стрелок Ганц хороший, но я, видно, здорово ему влепил.

— И правильно,—сказала я,—а теперь постарайся уснуть.

— Уснуть,—повторил он.—Я всю жизнь спал. Господи ты мой боже, ведь люди же мы все-таки или как?

— Не все, видимо, так считают,—сказала я.

— Черт с ними, устал я.

— Спи,—сказала я.

Еще раньше я нашла в машине бутылку виски. Налила чуть-чуть в горячую воду и заставила его выпить, сама тоже выпила. Стала растирать его. Кровь уже не текла, но он плевался кровью, видно, внутри что-то было задето. Я его всего растерла, очень медленно—ноги, бедра, шею, плечи. И думала при этом обо всем, что он когда-либо говорил мне,

Его тело мне всегда было в радость. Все вокруг могло быть отвратительно, но наши тела всегда давали нам радость и удовольствие.

— Ложись,—сказал он,—рядом ложись, мне так холодно.

Я устроилась рядом с ним, накрыла нас обоими нашими пальто, а он прильнул ко мне, и едва я отодвинулась, он снова меня к себе прижимает. Койка была узкой, и я чувствовала, как его начинает трясти озноб. Временами он начинал говорить осмысленно, и мы разговаривали.

— Я плохой был, обижал тебя.

— Нет, несколько, ты хороший,—сказала я.— Лучший в мире.

— Прямо не могу, как вспомню, какое было лицо у брата, когда он умер! Я тогда вернулся, а его сперва лицом вниз на стол положили, я перевернул его, а он на меня смотрит.

А еще был такой Рафферти, он путешествовал, и его расходы доходили до двух тысяч в месяц, подумать только. Это, мол, в тебе все лучшее пробуждает, говорил Рафферти. Десять лет по отелям, да по самым лучшим, и дать доллар на чай ему все равно что чихнуть. Я как-то видел его налоговый отчет, и там было две тысячи в месяц. Чего бы мы только не сделали, если бы нам даже на год такие деньги... Молодец парень. А что, может, и миллион сделает.

— Буч,—говорю,—ты ведь знаешь, с Ганцем у меня ничего не было.

— Знаю,—сказал Буч,—не думай об этом. Надо же ведь так влипнуть.

Я промолчала.

— А все равно бы это случилось, так уж пусть лучше раньше, и в конце концов почему не сейчас? Не сделали мы только то, чего не могли сделать. Как говорится, выложились до точки. На все пошли. Не судьба, видно.

— Не надо сейчас ни о чем думать,—сказала я, принимаясь растирать ему спину.

— Так ничего толком для тебя и не сделал...—сказал он.

— Ой, ты мой миленький,—говорю,—разве я не слушалась тебя, не шла за тобой, куда скажешь, не помогала тебе?

— Да,—сказал он,—ты чудо.

— *Что же я делал-то всю жизнь?*—воскликнул Буч.—*Что же я делал и к чему, к чему, во имя высоты небес и страха преисподней, все это было? Поселок Уобаша, улица Сент-Питер, потом Сент-Пол, улицы Третья, Четвертая и Пятая. Помнишь Хогена, который двумя этажами выше жил, по черной лестнице, Джо-Пистолета, Додо? Ну к чему, боже ты мой? Трехэтажное каменное здание, а, это здесь заведение Беллы, узнаю, и до чего же оно милым может быть, старое каменное трехэтажное здание—пивная, парикмахерская, ресторанчик, спереди овощная лавка, наверху гостиница, протертый резиновый половик, красный стеклянный шар над входом, а переулок, помню, тупиком кончался. И кислый запах виски, подгнивших фруктов, еды, и скрипочка, и пиво. Я там работал на втором этаже, где была шляпная мастерская, я еще совсем щенком был, ты меня тогда не знала, я еще не спал с тобой, только искал тебя. Девушки в той гостинице, бывало, вывесят свои полотенца, а мы между собой пари заключаем—дескать, сколько их всего, полотенце этих; первое в жизни, что я на пари считал, а станки непрерывно свое: тук-тук—перерыв, тук-тук—перерыв, и постепенно приладишься, вроде даже нравится, и ходишь вприпрыжку под этот ритм.*

Мы оба заснули. Он разбудил меня своим криком:

— *Что с нами сделали, во что превратили все это? Где все хлеба и злаки, ведь селяи, я знаю. Глядите, миссис Хинкли, какой богатый край—железо, и хлеб, и руда, и венчаю тебя, и да будешь и*

одной плотью, и все мое земное имение для пропитания твоего... Что теперь они с тобой сделают, миленькая моя? Ведь город—их. И вся земля их, и твое тело их до последней косточки. Будь осторожна! Они расстреляют тебя из окон и взорвут город!

А моя вся жизнь—куда к черту? Ну скажите же, кто-нибудь! Что случилось? Ходишь по этим улицам год за годом, мальчик, потом мужчина, по этим забытым богом, дьявольским парадным улицам, где пьянь и шлюхи вверх и вниз по лестницам, о боже ты мой господи, какое утро, какой вечер, какой Христос все это затеял, ну кто же, кто нас довел до этого кошмарного конца?

— Тихо, тихо,—сказала я.

— *Ведь не хотели мы ничего такого, мы даже не думали,*—простонал он.

Я так и не смогла заставить его успокоиться.

Он говорил и говорил—то об одном, то о другом, что-то я уже знала от него, а что-то нет. Он передумал обо всех, кого только знал, всех как-то связывал со мной, а потом он умер.



Глава 31

бросила машину на дороге, идущей к югу, и на попутке вернулась в Сент-Пол. Сперва я боялась читать газеты, а потом убедилась, что в них ничего нет ни про Буча, ни про меня. Словно нас там и не было. Странно. Две ночи подряд мне только банк и снился. Потом сны исчезли.

Подвез меня какой-то парень, торговавший железным ломом. По национальности он был еврей, и ко мне отнесся очень хорошо. Сказал, что многие девушки, мол, не любят с еврейскими ребятами встречаться. Я этого не знала. Было около пяти, когда мы въехали в Форт, и позади осталась река, замерзшая, а холмы были все покрыты снегом.

Пальто Буча было теплее моего. Тот парень спросил меня, где я хочу сойти. Сказал, что высадит меня, где я захочу.

— Ну, на Третьей улице,—сказала я,—в любом м сте.

— В каком любом?—спросил он.

— Ну в любом.

— Слушай,— сказал он,— могу поспорить, что тебе некуда идти.

— Ну, в общем-то,— говорю,— у меня тут друзья есть.

— А,— говорит,— ну тогда ладно.

Хороший парень. Я сошла на Третьей улице, недоезжая библиотеки, у магазина подержанной одежды Винсента де-Пола.

Жаль было, что парень уехал. Люди возвращались домой с работы, а я прошла мимо «Немецкого дворика» и попыталась заглянуть в окно, но стекла были грязные, и ничего не было видно, кроме цветных бумажных звездочек, которые я наделала к рождеству. И я пошла мимо магазина обратно, заглядывая в витрины.

Мимо шли мужчины. Один заговорил. Дескать, привет, детка, но я не отрывала глаз от витрины. В одной витрине было выставлено несколько пар старых туфель. Одни я померила, но это оказалось все равно что примерять чужую боль. Пусть боль у каждого все-таки будет своя. Снова надела свои прежние туфли и сложила газету, лежавшую на сиденье. Я хотела оторвать от нее кусочек, чтобы сунуть в носок туфли, и вдруг читаю: «Штат Айова. Найдено неопознанное тело». Так вот куда меня занесло, в штат Айова. А нашел его, как выяснилось, тот самый шофер с прачечной фабрики, чей фургон я обогнула, перед тем как свернуть с дороги. Он стрелял зайцев и наткнулся на тело—как там было сказано, в кукурузном поле. Вот и неправда. Поле осталось внизу, а Буча я положила на холме, среди лугов.

Это было в субботу. Ночь-то на субботу была. Теперь, стало быть, понедельник. На дело мы вышли в пятницу. Я старалась огибать города и двигаться все время к югу. Буч сидел рядом со мной и казался спящим, только на ощупь твердый, и кровь уже не шла, а рот запекся.

Я ехала к югу, но холод был как когти и клыки Беллиной кошки—так и вцеплялся в кожу, так и прокусывал. Пришлось надеть пальто Буча, а свое утопить в реке.

Услышала вдруг выстрел и испугалась, а потом вижу, грузовик стоит у обочины, а его шофер бродит по холмам, охотится. Слышать выстрелы было неприятно. Тут вспомнила: конечно, день-то субботний. На дело мы вышли в пятницу.

Я ехала медленно, чтобы не надо было больше покупать бензин, и всю ночь мне попадались придорож-

ные ресторанчики, где шло веселье; девушки сидели в машинах со своими друзьями или шли с ними прочь, в поля, от музыки подальше. Я ехала медленно, поглядывая на окна. Иногда останавлиюсь, посижу немножко, но не долго—опасалась полицейского патруля. От ребят я уже слышала, что с патрулем шутки плохи, особенно субботней ночью.

Ближе к утру дороги опустели, только нет-нет да попадется пьяный парень, чью машину так и носит от обочины к обочине; я въехала на пустынный холм. Было холодно. Холм мне понравился: округлый и одинокий среди прерий. Пытаясь взвалить к себе на плечи Буча, застывшего, как полураскрытый складной нож, я провозилась, должно быть, довольно долго, потому что уже светало, появились несколько коров, стояли в кукурузе и на меня смотрели. Трава была высокой и жесткой и произвела тихое «ш-шш», когда я опускала в нее Буча, укладывая на бок, потому что распрямить его я не смогла, а на щеках у него уже выступила черная щетина. Взяла одеяло, прикрыла его и оставила там лежать.

— Понимаете, не в размер они мне,—сказала я худенькой женщине за прилавком, надеясь при этом, что она меня не узнает. Однажды я у них купила шарфик, в те времена, когда только что познакомилась с Бучем. Помню, красивый был шарфик.

— Поищите, найдутся в размер,—ответила она.

— Нет, вряд ли,—сказала я.—Придется газеты натолкать.—Я сунула заметку в туфлю. Интересно, долго ли выдержит бумага.

— Ну, не может быть,—возразила она,—должны же найтись какие-нибудь!

— Да ну, не важно,—сказала я,—снега вроде не ожидается.

— А это как сказать, неизвестно, что будет ночью,—сказала она.

— Да, неизвестно,—согласилась я.

Я вышла и снова поплелась мимо «Немецкого дворика». Зайти, проверить, там ли Белла, я не решилась. Знала, что ее там нет. Как она может быть там? Наверное теперь все переменялось. Пошла обратно и заглянула в другое окно: у пустого стола стоят два стула, словно там только что сидели двое. Видно было, что эти стулья на своем веку изрядно послужили, а те двое посидели и разошлись, и на столе чисто. Захотелось высадить окно.

Прошла мимо библиотеки и постояла в парке, глядя на высокие двери. Никто из дверей не выходил.

Добрела до Семи Углов, мимо старых гостиниц, в которых и мы, бывало, останавливались; опускалась ночь.

Я прошла снова по Третьей улице, было видно реку и птиц, что-то выискивающих в снегу. Птицы казались черными. Зашла в приличный ресторан. Подумалось, что надо бы, наконец, поесть по-человечески. У меня оставалось еще два семьдесят от той пятерки, которую Ганц выдал Бучу. Села в уютном уголке и заказала грибы и ветчину. Что ж, вкусно. Выпила три чашки кофе. Мне стало лучше. Десять центов оставила на чай.

Зашла в кинотеатр и за пятнадцать центов посмотрела два фильма. Когда вышла, валил снег, падал большими хлопьями, блиставшими на тротуаре. Газета, прикрывавшая дыру в подошве, еще держалась. Погуляла по Четвертой, пока не заснул в своей будочке сторож автостоянки, и тогда бросилась между машинами бегом к крыльцу Беллы. Одним махом взлетела по ступенькам, промчалась по коридору. Постучала в дверь к Белле. Внутри ни звука, и я постучала снова. Потом я постучала, как положено клиенту, пришедшему за самогоном, и смотровое отверстие открылось, на меня уставился глаз Беллы. Она вскрикнула и отперла дверь, втащила меня внутрь, обняла, и я ощутила ее широкую спину и теплую грудь.



Глава 32

ы вместе заплакали. В комнате ужасно воняло кошками. Шамис и Сюзибелли терлись о мои ноги. Кто-то постучался в поисках бутылки спиртного. Белла сказала, что она теперь одной продажей самогона займется. Сказала, что Хойнк еще не похоронен, лежит в море. На похороны ей дали двадцать пять долларов пособия. Я рассказала ей про Буча. Хочу, мол, послать ему для похорон рубашку и хороший костюм, но Белла возразила: опасно. Она сказала, полицейским и в голову не пришло, что была вторая машина, а Эка с его машиной сцапали, когда он подъехал слишком близко, хотел глянуть, что происходит; теперь он крутится как уж на сковородке, и все думают, что это был единственный сообщник, а ты, говорит, детка, похоже, сухой из воды вышла. О том, что был кто-то еще, ни от кого ни слова, ни полслова,

единственное что — этот хряк, который визг поднял: он сказал, будто бы ни один из убитых не похож на схватившего его парня, да он-то сказал, но дальше никто это не стал разматывать, так что ты чиста.

— Это Буч застрелил Ганца? — спросила Белла.

— Не знаю. Все убиты. А кто кого застрелил, не знаю. — Мне не хотелось говорить об этом.

Вошла Клара. На ней было кимоно; она сказала: ой, ты моя девочка, как я рада, что ты пришла. Я обняла ее и почувствовала, какие у нее тоненькие плечики. Она легла на кровать. Никогда я не смогу рассказать им, что произошло. И никому рассказать не смогу.

Кто-то постучал, и Белла сказала: войдите. Вошла Амелия.

Амелия сказала:

— Бедняжка. Читала я ужс. И слышала. Я знаю, знаю все, через что тебе пришлось пройти. Вот, принесла тушенки, — продолжила она, снимая крышку с окутанной паром латки, которую держала в руке. Пахло вкусно. Я чувствовала ужасную пустоту внутри, словно мне никак не наесться.

Они начали есть. А я есть уже не могла, но все равно ощущала голод.

— Все молчишь, — сказала Клара.

— А что тут говорить, — отозвалась я.

Все женщины посмотрели на меня. В дверях стояла мать Буча, и лицо у нее было как у ведьмы. Она сказала:

— Никогда никому не позволяю уйти из моего дома голодным. Выходи завтракать, мама, — обратилась она куда-то назад, в комнату.

От такого кровь в жилах застынет. Амелия обняла ее за плечи.

— Садитесь, поешьте тушенки, мать, — сказала она.

Мать Буча обратилась к Амелии:

— Ты лучше позвала бы Буча, он с утра не ел.

Я отложила вилку.

Амелия сказала:

— Ну, не надо плакать, девочка, не плачь. — Я продолжала сидеть, не прикрывая лицо. Женщины притихли, а Амелия положила свою похожую на древесный корень руку мне на колено.

Амелия и говорит:

— Ну, теперь собираешься завести ребенка? — Когда она улыбалась, ее лицо покрывалось сеточкой морщинок.

— Да, — ответила я.

— Что ж,—сказала она,—с ребенком весь мир будет твоим домом.

Я поглядела на нее. Она была первой, кто, похоже, обрадовался моему решению.

— Мне так одиноко,—сказала я.

— Ой, чушь,—вскричала она,—чего это тебе одинокото?—Она засмеялась.—Он же теперь с тобой и день и ночь, попробуй скройся! Как это ты можешь быть одна теперь! Хо!—вскричала она, смеясь,—ты и оглянуться не успеешь, как твоя дочь в тебе запрыгает, точно целый мешок котят. Хо! Ты не одна теперь, хочешь ты этого или нет.

Ну как тут не улыбнешься. Такая смешная—заглядывает мне в лицо, руки гладит.

— Я ведь все это знаю,—сказала она,—нельзя оторвать людей друг от друга и при этом не повредить нутро. Но, милочка, слушай! ведь мы здесь все...

Клара перебила ее:

— Тебе теперь надо выносить и родить. А после он будет заботиться о тебе в старости. Ведь хуже тебе уже быть не может, правда же?

Белла тоже вступила:

— Только не выгравляй.

— Да,—горячо убеждала меня Клара,—только не делай этого. Вот хоть по мне судить: рано или поздно это скажется.

Амелия говорит:

— Не знаю, в чем тут дело, но на меня словно находило что-то. Каждый раз, когда у меня рождался ребенок, я говорила себе: нет, никогда больше, а потом на меня опять найдет, и вот уже все, чего мне хочется, это сидеть на крылечке, одеяльце подшивать и думать о своем будущем ребенке, а потом я становлюсь вот аж такая, и мне хорошо-хорошо. Не важно, насколько это трудно мне давалось, все равно хорошо.

Клара сказала:

— Да, мужчина всегда способен изыскать кое-какие деньги на виски или десять долларов на пилюли для аборта, а вот чтобы ребенка завести, тут денег нет.

И снова Белла:

— И ведь день и ночь им от тебя что-то нужно. Днем, и то толком не приляжешь.

— Мы глупые. Просто дуры,—горько произнесла Клара.—Так или иначе, принимаем на себя их грязь, вбираем их отраву.

— Нет, ну при чем тут мужчина,—возразила Амелия.—Мужчина—это прекрасно, нет ничего лучше

мужчины. Дело в той жизни, которой мы живем — она заставляет нас опускаться на дно и гнить там.

— Это про меня, — сказала Клара. — Совсем стала гнилая.

Мать Буча поклевала немного свою тушенку.

— Пора мне идти, за мной муж пришел, пойду с ним домой. Вон он — в окошке мелькнул.

— Да дома ты, мать, дома, — сказала Амелия, — сиди спокойно.

— Ах нет, не дома я. У нас были розочки на обоях. А здесь какие-то петельки, цепочки мне весь вечер в глаза лезли, так что, должно быть, это дом дяди Джона, и нам надо спешить, а то засветло домой вернуться не успеем.

— А Хойнка я еле признала, — сказала Белла. — На допросе меня замучили, это какой-то ужас. А я его еле признала. Женщина, мое золотце, способна любить такого шустрика и при этом совершенно растеряться, увидя его, мертвого, как дверной засов, лежащим в сосновом ящике, который выдан благотворительным обществом. Вообще это очень остро, когда тебя такой, как он, полюбит. А всякие нынешние слюнтяи, они даже не знают, как это делается.

— Вот, я вуаль приобрела, пять долларов десять центов, — сказала она, показывая мне длинную черную вуаль, — как тебе нравится? Так вроде ничего, только в пиве полощется. Даже смешно — такую вуаль носить в знак траура по Хойнку. Смешно, особенно когда другие мужчины на тебя смотрят. Господи, я ведь на другого мужчину уже сколько лет не смотрела.

— Может, снова замуж выйдешь, — сказала я.

— Это уж будет не то, — отмахнулась она. — Такие мужчины не каждый день рождаются. Что же мне делать-то теперь? Такой, как он, может заставить чувствовать сильно, отчаянно. А мужчину, в котором нет этой силы и отчаянности, который не мог бы шугануть тебя, кнутом щелкнуть, — я бы такого терпеть не стала.

— Он ведь мучил тебя, — сказала я.

— Только не Хойнк, — воскликнула Белла, — не говори так. Только не он. Он нежный был, хороший. Отчаянные, они как раз самые нежные и есть, по-настоящему нежные. Сколько раз я его и из тюрьмы выгаскивала, и на себя все брала. Сижу, помнится, и не знаю, жив он или мертв: то на поезд налет сделает, то на трейлер, однажды вагон обуви стибрил. Господи, на что он только не пускался! Щека ножом раскрыта, четыре раны в спине, еле ноги унес, а домой кум

королю явится, при капусте. Ну, а потом, бывало, вместе в загул, в Чикаго...

— Что же ты теперь делать будешь? — спросила я.

Белла всплакнула. Прошлась по комнате. Я вышла, принесла себе бутылку пива.

— Помню, как было, когда их в прошлый раз арестовали, — снова заговорила Белла. — Это на Пасху было. Я их вытащила, явились они домой и проспали три дня кряду. Возвращаюсь с мессы, лежат оба в постели, голые, как господь сотворил, и дрыхнут.

— Ну так что ж теперь, так и вспоминать до бесконечности? — сказала я. — Живу впроголодь. И ни когда у меня не будет того, что хочется. А молчать все равно не стану, не уговаривайте, и ничего у меня больше не будет — ни счастья, ни надежд, а жить, будто ничего не случилось, — какое там!

— Верно, конечно, — отозвалась Белла, — а ты на Клару взгляни.

— Ну, — говорю, — взглянула. — Клара спала в кровати. Под одеялом ее и заметно-то было едва-едва.

— Была бы речь только обо мне, — сказала я, — другое дело.

— Ладно, хватит, — сказала Белла.

— Тогда бы еще ничего, — продолжала я. — Другие тоже впроголодь живут. Живут-то впроголодь, но до чего ж говорить об этом не любят!

Я поглядела в окно. Падал снежок. Но видно было все вплоть до заречья. И парк Ирвинга, и черные деревья итальянского квартала.

— Да вот хоть там, — говорю, — тысячи две, может, народу впроголодь живут.

— Да что две тысячи! — буркнула Белла. — Больше. Все голодают.

— Да, и такая при этом тишь, — сказала я, — что слышно, как снег падает.

— И впрямь, что ли? — проронила Белла, подкладывая дров в печку. Становилось холодно.

— А нам, стало быть, сидеть тут, тощать и впадать в отчаяние? — сказала я.

— Это вот они как раз не любят, когда женщины начинают ныть, — сказала Белла. — И Хойнк мне всегда это говорил: женщины, мол, чересчур скулят много.

— Потом я ведь знаю, как сделать, чтоб хорошо стало, — улыбнулась Белла. — Н-да, две ночи не спала. Вчера мне ночью совсем худо было. А сейчас если выпить рюмку, еще четыре добавлять придется. Э, да можно ведь и сразу четверной дозой, глядишь, хоть

выплюсь нынешней ночью. Хоть одну ночь более-менее...

Белла достала бутылку и поднесла к рюмке.

— Тебе налить?

— Нет,—говорю,—мне не поможет.

— Вовек мне не забыть эту зиму,—пробормотала она.—По гроб жизни буду ее помнить.

Белла нагнулась и осторожно наполнила рюмку, склонив голову к своей огромной, к прекрасной своей груди. О, помни, помни, подумала я, и еще помни, что груди наших женщин полны великой, удивительной жизни, которая бьется в нас и прорывается, изливаясь на всю землю.

Я посмотрела в окно на падающие снежинки. Они налипали на стекло. Что ж, кое-что я теперь испытала, и этого уже не отнимешь. Сама ощутила, что такое жизнь молодой сильной женщины. Чем утешиться на бесприютных улицах? Еще с девчоночьих своих времен, с тех пор еще, когда я этого не знала, взгляд мой охватывает и мостовые, и людей, входящих в «Немецкий дворик». Белла говорит, теперь другие будут его хозяевами. Тогда-то я еще не знала, что к чему. Теперь знаю и город весь, и всю его подноготную, и то, как тем, кто живет в нем, надо держаться вместе. А этого не узнаешь, не разберешься, пока не прочувствуешь нутром. Такое никто тебе не растолкует. Теперь уж я разобралась и со своим телом, и вообще поняла, зачем у людей тело, и буду делать то, что суждено.

— Надо же, ночь-то вчера какая была холодная,—сказала Белла, становясь рядом со мной у окна.—Но и то не такая, как накануне. Вот зима выдалась! Как бы до весны дожить.

— О, доживем и до лета,—сказала я.

Она стояла близко, от ее тела шло тепло. Глянула из окна вниз, где в снегу возились воробьи, прыгали и клевали снежинки, словно это зерна.

— Надо же, смотри,—сказала Белла,—они черные, как угольки.

— Зимой все птицы черные,—сказала Амелия.

Снег падал и падал.



Глава 33

Весна в тот год выдалась холодная. Дождь, снег, дождь со снегом и тому подобное вплоть до мая. Целыми днями Клара тихо лежала в постели.

После похорон Хойнка Беллу выселили из дома, а Эка приговорили к пожизненному заключению. В этом штате, если ты причастен к ограблению банка, получаешь пожизненное, даже если не убил никого, даже если просто сидел в машине шофером, все равно дают пожизненное, чтобы показать, до чего важны банки. Клара, Белла и мать Буча жили на пособие, и все вместе они переселились на Седьмую улицу, в многоквартирный дом, населенный почти одними женщинами, получающими пособие. Там был только один мужчина, старик, живший на первом этаже со стороны переулочка, а остальные сплошь женщины с детьми; у каждой по комнатке с плитой, дровами тоже снабжала комиссия помощи безработным, причем туалет был один на этаже и раковина с краном в коридоре.

Я жила у Беллы и пряталась, когда приходила инспекция из центра помощи безработным. Входишь в парадную, на стене инициалы, обведенные сердечком, кругом пыль, облупившаяся штукатурка, почтовые ящики переломаны, и лестница со сношенными до овальных вмятин ступенями. Дом был старый, обреченный на снос, но пока что центр помощи за него хорошо платил живущим на взгорке хозяевам. Амелия мне рассказала, что владелица этого дома каждый год ездит в Мексику только на те деньги, что получает за его аренду. В коридорах было темно, полно всякого хлама, яблочных огрызков, ключев бумаги, окурков, хлебных крошек, старых башмаков, а однажды мне на глаза попались засохшие блины, вывалившиеся у кого-то из мусорного ведра. С голых лампочек в коридоре свисали длинные шнуры, чтобы дети могли включать свет, потому что даже днем там было темно, как в чулане. Кое-где окна были забиты досками.

День и ночь слышались чьи-то шаги — прямо какая-то молотилка, — и каждый шаг отдавался как в барабанах. Вот кто-то ходит вниз, а кажется, что топчутся с тобой рядом, и это ощущение не проходит даже после того, как шаги стихли. Днем шум еще как-то понятен, но когда наступает ночь, то ли в сырых и темных, как тоска, коридорах начинают поскрипывать проседающие полы, то ли шуршат обоями, ползая по стенам, клопы.

Едва заснешь, тут же снится всяческое непотребство, а сквозь сон доносится голос женщины из соседней комнаты: бога ради заткнись! Никогда я не могла толком выспаться в этом доме. Сзади к дому лепились маленькие балкончики на проволочных растяжках; на балконе хоть посидеть можно будет, если когда-нибудь придет лето. Наружные пожарные лестни-

цы спускались в переулок, где высились горы золы, стояли мусорные баки и скапливалась вода, вытаивающая из черных от копоти сугробов.

С балкона виднелись шпили собора и купол Капитолия. Вид мне нравился, по крайней мере отчасти. Зимой виднелась река и на ней приспособленные для жилья баржи.

И все же самое скверное — это что дома все звуки отдавались гулко, как в барабане, — каждый шепот прямо тебе в ухо, каждый лепет ребенка. Вот поспешные шаги встревоженной женщины, вот упал малыш. Женщины непрестанно плачут, но даже когда они молчат, их слышишь: вот она сидит в кресле-качалке, кресло поскрипывает. По вечерам женщины массу времени проводят в этих качалках.

Я стала оформлять себе пособие, пошла в клинику, и там мне объяснили, что для того, чтобы ребенок родился здоровым, надо в день выпивать кварту молока и есть апельсины... Да только ведь не растут апельсины в благодатном тропическом климате Миннесоты.

Домой в тот день мне возвращаться не хотелось, потому что в наших двух комнатухах было не протолкнуться: Белла, мать Буча, Клара, которая половину времени лежала с температурой. Но больше всего я натерпелась от матери Буча. Слушать ее было невыносимо. Белла почти все время была пьяна, у Клары горячечный туман в голове, и у них вошло в привычку тупо сидеть вдвоем, поглаживая кошек, и только Белла иногда ходила в центр помощи безработным за пособием на всех.

Я сидела в парке, потому что был уже вечер, а там две скамейки поставили — можно было вдыхать запах хлеба из пекарни на углу и смотреть на людей, как они идут домой, спеша в свои квартиры, причем одна женщина каждый вечер выходила встречать своего мужа: увидит его, рукой махнет, даже пробежит немного, и заметно было, что им хочется прямо тут же начать целоваться, но они удерживались, только пальцы сплетут и поскорей домой, чтобы побыть наедине друг с другом. Если я к без пятнадцати шесть успевала, всякий раз их видела.

Вдруг замечаю Клару: ходит по парку в своем выходном пальто. Вообще-то ей полагалось лежать в постели. Я за Клару порадовалась, что у нее такое хорошее пальто. Сама я носила пальто Буча, а к нему подаренный мне Беллой Хойнков щегольской узорчатый ремешок, я им потуже перепоясывалась, и, поскольку в моде были пальто в талию, выглядела я

прилично, ведь если пальто не снимать, то не важно, что там внизу надето. А надевала я форму официантки из «Немецкого дворика». Белла не возражала, ей этот гардероб уже был не нужен, потому что все равно туда не вернешься.

Клара тенью скользнула мимо меня, я схватила ее и повернула к себе; лицо у нее было испуганное. Ее ладонь на ощупь была совсем как детская, мне даже как-то в животе тошненько стало.

— Клара,—говорю,—милая, зачем ты из дому вышла в такой сырой вечер?—А было ужасно сыро, тротуары мокрые, с деревьев капает.

Она была очень взволнована. Засмеялась.

— Да брось ты, золотце, что ты хмуришься, на всем белом свете нет такого, из-за чего стоило бы расстраиваться! Господи,—говорит,—погляди, какой чудный вечер. Эх, а как было бы здорово родиться в богатой семье!

— Конечно,—сказала я,—но тебе же нельзя выходить.

— Можно, можно,—говорит,—и вообще, хочу быть богатой. Хоть на весну полюбоваться.

Мне стало холодно, я запахнула на ней пальто и застегнула его.

— Да не надо—сказала она,—я ведь привыкла к холоду, мне даже странно, когда тепло. Знаешь что, детка, мне на кофейной гуще нагадали, что меня счастье за углом ждет.

— Честно?

— Там на доньшке такие крылья получились, совершенно явно, ты не знаешь, что это означает? Может, я еще встречу приличного человека, который захочет на мне жениться и увезет меня в Норвегию.

— Ну ясное дело,—сказала я.

Мы погуляли туда-сюда по парку. Появилась какая-то машина, медленно поехала за нами.

— Во дает,—сказала она,—подклеить хочет. Она хихикнула и, повиснув на моей руке, обернулась, приоткрыв свой миниатюрный ротик. Она и ресницы даже наклеила. Машина медленно подъехала сзади.

— Пошли скорей,—сказала я.

— Зачем? Такой симпатичный балбесик.

— Вот чокнутая,—сказала я,—давай быстрее. Мы перешли на дорожку подальше от мостовой.

— Вот, думаешь, уже все в порядке,—говорила Клара,—и вдруг везенье кончается. И ничего тогда уже не в порядке, и карты ложатся по-новому. Так даже интересно. Всегда надежда какая-то. Вдруг что-то

блеснет в будущем... Слушай, детка, а что, если мне моего старинного дружка найти?

— Ну, почему нет,— отозвалась я.

— Слушай, детка, а я знаю, где шикарная комната сдается за четыре пятьдесят. Можно было бы на двоих снять.

— А ты когда его последний раз видела?

— А, давно уже. Он сказал, ладно, коли ты так решила, тогда привет. Теперь даже не заходит. Расстались мы. До конца дней своих, покуда старость и болезнь, покуда смерть не соединит нас, во как расстались. Ой, подожди, глянь, в парке темно, ты не боишься?

— Нет,— сказала я.

— У меня и простыни, всякое там белье, и серебро, и ночные рубашки есть в сундучке с приданым. Я говорила с ним по телефону, сказала ему, ну, в общем, что когда люди женятся, это еще не значит, что он сразу мужем становится, а она женой... а там эта комнатка на верхнем этаже, и сдается всего за четыре пятьдесят, причем ванна вот аж такая и встроенный шкаф для одежды. Я только боюсь, что скоро никто уже не захочет со мной быть, вот, детка, чего я боюсь.

— Да,— сказала я.— Пойдем газировки выпьем.

— А у них тут, между прочим, такая штука есть, она гудит и сама мороженое накладывает, даже ничего крутить не надо, и радиоприемник. Но, ты понимаешь в чем дело, мужчина-то не может ощущать себя в норме, когда он без работы, не чувствует он к себе уважения... Так было и с Томми, совсем он зачах с тех пор, как своих инструментов лишился. Вообще-то он лишился не только инструментов, если на то пошло. Станные все же люди мужчины.

— Да,— сказала я.— Довольно странные.

— Господи, малышка моя, прямо не знаю, сколько я еще эту старую гримзу выдержу— прости, она мать Буча, но она совершенно съехавши.

— Я знаю,— сказала я.

— Ну, вообще... Весь день свои сардины жует, зубов-то нет. А знаешь, что она тут как-то выдала?

— Не знаю.

— Встала перед той дверью, которая заколочена, и давай просить нас, чтобы мы открыли.

— Зачем?

— Говорит, что там ее дети, они играют, а время обедать.

Я промолчала.

— Говорит, там Буч с Биллом, и ей надо отнести им поесть. Жуть какая-то.

— То есть как — прямо там стоит и просит, чтобы открыли дверь?

— Ну да, стоит и стоит. Она думает, что дом, где они жили, весь за той дверью. Спать можно... А самый-то кошмар, что она помнит все съеденное на обед пятьдесят лет назад. Каждое блюдо, которое готовила в молодости, помнит.

— Боже,—сказала я.

— И мать помнит, и свою умершую дочку, и тот сад, где мальчики играли, когда они все жили на ферме; возьмет вдруг и скажет: тише! Буч спит. Так и у меня скоро шарики за винтики заскочат. Или вдруг в сумку что-нибудь сунет, диванную подушку, например, и идет, дескать, домой пошла. Думает, что это чужой дом, потому что обои не те.

Однажды увидела какого-то мужчину, который на той стороне переулка чинил газовую магистраль, и решила, что это Буч. Там еще черный автомобиль стоял. Схватила шляпу, пальто, сумку и говорит, это Буч за ней приехал. Счастливая такая. Белла ей возражает, дескать, не он это. А она Белле: ты, мол, моих сыновей не видала никогда, а Буч не знает, что я в этом доме живу, придется его кликнуть. Вынь ключ из замка, я домой, говорит, пошла. Но ты и так дома. Нет, я не дома, и мне надо идти. Отопри дверь. Пришлось ее взаперти держать. А я еще посмотрела на того мужчину, он переходник на трубу навинчивал, согнулся так,—а ничего, молодой еще, широкоплечий.

— Нам возвращаться пора,—сказала я.

— Ой, нет,—взмолилась Клара,— подожди. Мы же хотели еще попить газировки.

— Ну ладно,—сказала я.

Зашли в мороженое Уолгрина, взяли содовую, а Клара все хихикала и болтала — всех там высмеяла, я даже снова почувствовала себя девчонкой. Развеселилась. Заговорила с Кларой про своего ребенка. Она говорит, ну, ты даешь, и мы обе покатались со смеху, вспоминая про эти апельсины и кварту молока в день, а Клара сказала, что если бы ребенка рожать ей, так она бы ела одни торты и пирожные — хотя вообще-то нет: ела бы печенку, чтоб сделалась девчонка, а насчет молока она попробует написать в молочный фонд миссис Херст, так что, может быть, мне будут присылать оттуда по кварте молока в день и печенку вагонами.

Никогда я столько не смеялась.



вот я сижу в забегаловке, где пьют пиво, чувствую, что дни идут за днями, а я живу и приобретаю кое-какое понимание. У меня больше нет дома. Ничто не дает мне пристанища, кроме этого понимания, которое тоже своего рода дом. Ощущение тяжести и наполненности владеет мною, и хожу я, не отрывая глаз от мостовой, которую тоже словно мало-помалу для себя открываю.

Медлительно вступает в свои права весна, и я гуляю по городу. Брожу, никому не известная и примелькавшаяся всем. И уже знаешь, что такое брести во тьме, когда каждый твой шаг ведет вниз. И привыкаешь к зловещему виду улиц, здания и фонари которых воспринимаются как пейзаж после землетрясения, словно в тот день, когда я везла Буча в том автомобиле, или в тот, когда в пивном заведении встретила Буча, Ганца и всех остальных — людей, чей печальный конец можно было предугадать.

Как-то приспособляешься к тому, чтобы за неимением дома продолжать думать и жить на улице. Прежде улицы были всего лишь промежутком, расстоянием, которое надо пройти по дороге куда-либо еще, а теперь они для меня дом, и я брожу по ним, захожу в магазины, смотрю на людей вокруг либо провожу время в приемной центра помощи безработным в ожидании, пока мною займутся, сижу там бок о бок с другими женщинами и мужчинами и смотрю, смотрю, вбираю в себя их лица. Насыщаюсь ими. Когда я сижу там, страх отступает, там тепло и рядом ощущаются тела других. Тех, кого я совсем не знаю и при этом знаю так хорошо.

Пособие мне пока не дали, и счет дней, прошедших без всякого молока и апельсинов, меня пугает. Мне было сказано, что сейчас важен каждый день.

У нас теперь есть радио, его раздобыла Белла. Приемник приходится прятать, потому что, если бы в центре помощи безработным дознались об этом Беллином приобретении, мы бы лишились пособия, и мы вытаскиваем приемник только вечерами, когда уверены, что проверки уже не будет. Подключать его приходится в коридоре, поскольку только там есть розетка. И долгими холодными зимними вечерами приемник нас развлекает.

Матери Буча нравится слушать радио, но она думает, что в приемнике прячутся живые люди. Есть

такой диктор по имени мистер Шиллинг. И она его просит: пожалуйста, спойте «Скалу времен», а, мистер Шиллинг? Однажды она услышала по радио детский плач и говорит: как же это растят ребенка-то в таком ящике? Я бы своего ребенка туда не посадила. Как только там люди живут? Небось на полу сидят.

Кларе стало хуже, потому что весна все не приходила и не приходила, а сырость стояла страшная. Я спала с ней вместе и однажды наткнулась на пачку писем, в которых говорилось о ее отношениях с дружкой. Сперва я не поняла, решила, что они написаны давным-давно, но оказалось, что она теперь-то их как раз и пишет.

Письма были к разным незнакомым мне людям.

Дорогой Брет! Сегодня заходили Билл с Джеком, они собираются тебе кое-что рассказать. Говорят, что мне ни за что не скажут. Джек выглядит потрясно. Весной мы собираемся пожениться. Весна уже скоро, и тогда мы поженемся. Ну правда же здорово, а я такая спокойная-спокойная.

Клара.

Адресованы они были во все концы Соединенных Штатов.

Дорогой Билл! Был тут сегодня Джек с еще одним парнем, они тебя прождали целый час. Надо же, парень, которого привел Джек, оказался каким-то пианистом. Около часа просидели и ушли.

А одно письмо, написанное ее почерком, было адресовано ей самой.

Дорогая Клара! Приходил Джек, хотел с тобой повидаться, сам не свой, ждал тебя ждал ну вообще спятить можно но я ему запудрила мозги чтоб он не подумал, я сказала Клара пошла в кино. Он оставил тебе обалденную коробку конфет и говорит ему надо на этой неделе с тобой повидаться. Твой дневник у меня и я его тебе верну, если дашь мне на воскресенье свою жоржетовую шляпку. Я в воскресенье если будет тепло гойду в парк с тем новым мальчиком, который работает на фабрике Харвестера, он такой симпатичный и может я за него выйду замуж кто знает? Никогда не знаешь что тебя ждет в этом лучшем из миров.

Еще в одном говорилось:

Дорогая мамочка! Мужайся. Миссис Йори лежит в родильном доме, и говорят, что ей не выжить. Ребенок у нее родился мертвым. Мне очень тяжело писать тебе это. Ты знаешь, перед тем как ей лечь в роддом, они оба—с тем мужчиной, с которым она сошлась, не понимаю, как женщина может так низко пасть,—очень веселились, а он дал ей выпить какой-то отравы, и она выпила ее, глупая.

Еще мне попало длинное описание того, как в соседнем городке случился пожар, о котором я слыхом не слыхивала, и того, как она чудно провела время на пляже и на русских горках с Джеком, и как две ее

подружки вышли замуж за работающих, преуспевающих людей, и как она уже выбрала замечательный диванчик для гостиной, но все не может решить, нужны ли капковый тюфячок и какого цвета должны быть коврики. В другом письме говорилось:

Милая мамочка! К тому времени как ты получишь это письмо, я буду мертвая. Мертвая как ты не понимаешь. Передай мои самые сердечные приветы нашим Джону, Эмме, Вилии. Смотри за всеми своими девочками хорошенько, мама, а то жаль, что я не могу утащить их за собой в ад, правда кто может сказать чего только не бывает, странные вещи случаются и говорят что если кого ненавидишь, то после смерти, когда твой дух вернется на землю ты можешь утащить того кого ненавидишь за собой в ад. А я вот всех мужчин ненавижу. Что толку жить дальше, уж лучше все побыстрей кончить, чтоб побыстрей пойми. Пока у меня не успел родиться ребенок Джека, я себя убью.

Я понимала, что это все выдуманно, что она все это сочиняет, лежа в постели и каждый день придумывая что-то новое.

Как-то вечером Клара говорит:

— Когда же лето наступит, малышка? Прямо конца не видно.

— Скоро, скоро,— ответила я.

Белла сказала:

— Не понимаю, что мы есть-то будем до следующего чека.

А я говорю:

— Может, мне лучше уйти, лишний рот как-никак, вам ведь самим мало.

— Чушь!— говорит,— еще чего. Господи, да что бы мы без тебя делали, детка моя!

А куда мне было идти— не знаю.

Вечер был холодный, пришли Амелия и миссис Роуз, и мы, сунув в печку последние дрова, у ourselves подле. Ожидающих ребенка женщин только на нашем этаже было, кажется, четыре. Миссис Роуз тоже ждала ребенка. Ей все хотелось, чтобы пошел снег— ее муж тогда смог бы немного подработать. Ему всегда делалось легче, если вместо пособия он получал хоть какую-то работу. Тогда он сразу становился веселым и, проходя по коридору, что-то тихонько напевал.

Мать Буча слушала радиопередачу.

— Мать не ушла еще?— спросила она.— Утром она меня причесывала. Не дождавшись завтрака, она ушла, зачем— непонятно.

Я села к Кларе на кровать. Сложив губы маленьким «о» и поглядывая в зеркальце, она красила губы. Перед этим я ей расчесала волосы, и, закончив красить губы, она заключила меня в объятия, ласковая, как малень-

кий зверек. Вид у нее был исхудалый. Она тесно ко мне прильнула, и я погладила ее по голове.

Амелия сказала:

— Нельзя же так, без молока кости не образуются, что они, не понимают?

— А если б понимали,—хмыкнула миссис Роуз,—то вырезали бы из себя детей колбасными ножами?

— Нет,—сказала Амелия,—ну зачем же. Но что-то ведь делать надо. Надо бы вам все-таки сходить со мной.

— Бред,—сказала Белла,—что там для вас могут сделать-то!

— Ведь все уже есть в Библии,—не унималась Амелия.—Всяк под своей смоковницей. И каждый работник достоин платы. Всяк будь под своею смоковницей и жди своей платы не позднее захождения солнца.

Миссис Роуз сказала, что ее муж сидит без работы уже шесть месяцев, с тех пор как закрылась литейка. Так, говорит, завтра воскресенье. Воскресенье ужасный день.

— Почему?—удивилась я.

Белла пояснила, мол, потому что нигде ничего не добудешь. А так, глядишь, может, какие-нибудь остатки—тушенки там или риса...

— Хоть бы уж они ветчину-то не оставляли на все воскресенье в витрине!—сказала Клара.—В прошлый понедельник один старик пришел и говорит, дайте мне той ветчины, я на нее все воскресенье облизывался. Черт-те что, прямо чуть до драки не дошло, ей-богу, оказалось, все как один за этой ветчиной ломаются, каждому от нее все воскресенье покою не было.

Миссис Роуз и говорит:

— В воскресенье самое ужасное, что и сама сидишь, и муж весь день дома. Крутишься, крутишься: чернослив, овсянка, сардины, опять чернослив... Ну, предоставило тебе правительство крышу над головой, ну, жалкую какую-то еду три раза в день, и ложись, спи. Проходит время, и ссориться перестаешь, это точно, и никакой неприязни ни к мужу, ни еще к кому-либо, и даже детективы уже не читаются.

— Мой бог,—поразила Белла,—чем же вы занимаетесь? Если к бутылке не прикладываетесь, так что ж вы делаете?

— А едим да спим,—ответила миссис Роуз.—Ну, еще пол подметешь, но это так, между делом, а с мужем спать одно наказание, все-таки страшно ведь—вдруг ребенок получится. Иногда так и выходит.

— Ох-хо-хо,— сказала Белла и заплакала.

— Потом, утром-то, обоим злость берет. Снова все в тебе всколыхнется. А мимо витрины пройдешь, станешь вдруг, ладонь ко рту, и так тебе чего-то захочется! Ты проснулась, жизнь в тебе взгомонила, господи, жить-то хочется, всего хочется, так и кипит внутри. Ну чего—салата вдруг, капусты цветной. Думаешь, вот, спятила, да и весь мир туда же. Ну хитрое ли дело, цветной капусты кочан, уж сама бы такой мир сотворила, чтобы кочан капусты был, когда захочется.

— Ну,— Белла говорит,— а сотворишь-то в итоге ребенка, какой там мир.

— Ах,— вздохнула Амелия, которая что-то шила для ребенка миссис Роуз.— Она и меня обещала шитью обучить.— Ах,— говорит,— чего только не приходится бедняку вынести ради куска хлеба, даже друг другу не поведать. У бедняков такие бывают невзгоды, что и друг с другом о них говорить язык не повернется.

— Да,— сказала Клара,— причем я знаю какие.

Я взглянула на нее.

— Что ж,— сказала миссис Роуз,— когда уже ребенка носишь, думать поздно. Уже не подождешь, пока депрессия кончится.

Я сказала, что в центре помощи безработным слыхала о женщине, которая в схватках пошла в больницу, уже дважды у нее начиналось, так ей сказали, что она не зарегистрирована, приходите завтра.

— Завтра!— рассмеялась миссис Роуз.

— Нет, надо же, завтра!— подхватила Амелия.

— До того дошло, что надо женщине совсем обезуметь, чтобы ребенка завести,— сказала миссис Роуз.— Хоть бы уж снег пошел.

По радио певец запел: опять со мной любовь,— и мать Буча засмеялась.

— О любви поет,— зашептала она кому-то невидимому рядом с собой.— На доллар спорю, что у него медовый месяц. Холера ему в бок!

Амелия и говорит:

— Что толку говорить, то не так, это не этак, там мужчины, тут женщины, здесь одно, там другое. Всем нам жить надо, и не на дно ложиться—бороться надо. Надо, чтобы мы снова стали людьми, чтобы желали, мечтали и боролись за свое кровное. Я ведь понимаю вас. Когда мой муж только-только еще в профсоюз вступил, я одобряла это, потому что он мой муж и ему так надо. Но когда я узнала, что он погиб, когда его

брат пришел ко мне сообщить о его смерти, я совсем другой стала.

Я прислушалась повнимательней. Подумалось: я ведь тоже другой стала.

— Расскажи, как он умер.

— У нас детей тогда шестеро было,—сказала она.— Старшая Элла, ей девятый год шел, ну, считай девять. Младший был еще во мне. Когда муж в то утро пошел на забастовку, я ему сказала, что явно ведь будут беспорядки, его могут убить, а он говорит—и я никогда этого не забуду,—дескать, он лучше умрет, сражаясь, чем станет скэбом или в щель, как мышь, забьется. Я говорю, а умрешь ты, и какой тебе прок с той прибавки? А он: мол, другим-то прок будет. Он сказал, что другим в профсоюзе это принесет пользу, и он не был бы мужчиной, если бы не встал на борьбу с другими вместе.

— Снег начинается,—сказала миссис Роуз, выглянув на улицу. Крупные хлопья маячили за окном, словно чьи-то лица.

— Я и так скэбов за людей не считала,—продолжала Амелия,—Они и за себя-то постоять не способны. Я полагаю, что мужчина, который не может постоять за свои права, вообще не может считаться человеком. Да и женщина тоже. Насчет женщин это вдвойне так.

Огонь жарко разгорелся. Я подкинула еще полешко. Осталось у нас семь поленьев. Потом придется в кроватях обогреваться. Народ начал сходиться, внизу захлопали двери. Вовсю падал снег. В этот вечерний час у всех идут разговоры по душам.

— Можно бы согреть чаю,—сказала Белла,—да молока туда добавить.— В бутылке у нее еще пальца на полтора оставалось виски. Она пошла к окну; молоко стояло на подоконнике.— А что,—говорит,—это и все, больше молока не осталось?

Амелия как-то странно потупилась и вдруг громко запричитала:

— Не осталось! Ну конечно же, бог ты мой, все вы знаете, что из воды костяк не образуется, неужто это для вас новость. Я этой, которая недавно в соседней комнате поселилась, снесла немножко молока. Ведь косточки же у ребенка не разовьются, если материала для них не будет.

— Сядь,—сказала Белла.— Все в порядке. Будем так чай пить.

— Глядите,—проговорила миссис Роуз,—снег. Вот уж кто-то лопатой намахается.

Я выглянула в окно. Пушистые белые хлопья кружились, падали и таяли, едва коснувшись крыш и тротуаров. Внизу мокро поблескивала мостовая. Снегу еще надо было валить очень долго, прежде чем потребуются люди с лопатами.

— А молоко сегодня на два цента поднялось,— сказала Амелия.— Подорожало молочишко.



Глава 35

Амелия долго со мной обо всем толковала, и теперь я начинаю воспринимать окружающее яснее и яснее, конечно, а как же иначе! Детективы вынюхивают каждый твой шаг, полицейские матроны из кожи вон лезут, лишь бы замарать тебя какой-нибудь грязью. Одна такая тетка—я потом выяснила, ее фамилия была Брэдли—все ходила за мной как тень. Бывает, Белла пошлет в бакалею, только я в лавку зайду, голову поверну, и кровь застывает в жилах: тут как тут, голубушка, стоит и на меня смотрит. Ну, стукачка она, это понятно, но зачем по пятам-то за мной таскаться?

В галантерею пойду, и опять она, с каким-то шустриком рядом, тоже явно из полиции, стоит у киоска, где продают булочки с сосисками, смотрит вроде как поверх моей головы, но меня-то не проведешь! Покручусь-покручусь, да пулей вон. На следующий день пошла я в центр помощи, и Анна Брэдли уселась за моей спиной. Я как-то недоглядела, то ли она за мной вошла, то ли была там уже. Не видела ее, пока не просидела минут десять, и вдруг кто-то начал постукивать снизу по сиденью моего стула, поворачиваюсь—нате вам, Анна Брэдли собственной персоной во всей красе и в полном цвете. Сидит себе да мой стул этак приветственно лягает—сапожки высокие, на каблуках, а рожу ее старушечья убийце впору,—посидела, потом зашла как раз передо мной к мисс Райс, и я поняла, что она к той на доклад отправилась. Может, соврать решила, сказать, будто я в тот притон ходила, когда я вовсе и не ходила туда. Чувствую, у меня мороз по коже, и от сознания того, что у меня сейчас кусок прямо из глотки вырвут, я даже вспотела.

Следующей зашла я, и как только села к столу мисс Райс, сразу же говорю: эта женщина что-нибудь сказала про меня? Ведь вы знаете, чем она занимается,—

сказала, и в самой все лицо жаром обдало, словно в дюйме от него огонь запылал. А она говорит: вообще-то мы здесь не прислушиваемся к сплетням; бывает, люди друг на друга наговаривают, но я, пожалуй, не смогу вам в этом месяце выделить на еду больше четырех восьмидесяти. Господи Иисусе, да кто же это умудрится хотя бы кожу на костях сохранить на четыре восемьдесят в месяц, когда на такие деньги курице крупы и то не купишь, цыпленка не выкормишь. А потом мисс Райс, держа перед собой бумагу так, словно читает нечто чрезвычайно важное, и говорит, причем мелкотравчатая ее моська, напряженная, непроницаемая стала тоже ужасно важной; вы знаете, мол,— а сама будто с той бумаги вычитывает,—если вы живете с женщиной, с которым не расписаны, пособие вам не полагается, мы здесь не можем поощрять безнравственность; говорит, а сама все свою бумагу изучает.

Нет, честно, я так вздрогнула, что у меня коленки друг о дружку стукнулись, а под мышками мокро стало, словно меня как губку выжимают, и я сказала: господи, да у меня же нет никого.

Ну, говорит, ладно, но вам следует соблюдать величайшую осторожность, а я говорю, хорошо, дескать, буду соблюдать. Значит ли это, что мне вообще нельзя с мужчинами разговаривать? Вообще-то нет, говорит, я бы не стала так вопрос заострять, однако, вы знаете, мысль правильная, девушкам вроде вас надо соблюдать величайшую осторожность, мужчины ведь так и стремятся воспользоваться вашей незащищенностью.

Как раз в этот момент зазвонил телефон, и бумага упала на пол, я подхватила, подаю ей, а это пустой листок. Там вовсе ничего написано не было. Я поглядела на нее, она на меня, и мне стало ясно, что мы враги.

Амелия о многом мне рассказала, ведь Амелия старая работница. Работница стареет быстро. И я тоже быстро постарею. Потому-то я и люблю с ней разговаривать, очень уж у нее ловко одно с другим сходится, ну, хоть эту Анну Брэдли взять. Я ее спрашиваю: зачем эта тетка за мной по пятам ходит? А Амелия говорит, знаю, мол, Анну Брэдли, давно знаю, она была известной проституткой, целый притон на северной стороне держала, настоящий публичный дом. Я говорю, как же это, такая старуха страшная, по-моему, на нее ни один мужчина не взглянул бы, но Амелия говорит, хо-о, ты бы на тех посмотрела, которые на нее работали, из них-то ведь тоже соки жмут, они тоже

работницы, обыкновенные, говорит, женщины, несчастные, даже если с полицией связались — за несколько долларов в день следить за такими, как мы, — нет, они обычные женщины с трагической судьбой.

После того как Амелия мне это объяснила, я поняла, хотя и злилась на эту Брэдли по-страшному: ходит и ходит за мной в своем черном платье и с нарумяненной харей. У меня от нее прямо чуть не родимчик: куда ни повернись, она тут как тут, а я, главное, такая довольная, чудное утро, куплю, думаю, сейчас морковочки, капустки кочашок, а ее увижу, и кровь в жилах застынет, ладони вспотеют, жуть какая-то: стоит, смотрит поверх моей головы.

Потом еще, Амелия говорит, они ведь совсем с ног сбились, такую массу народа надо охватить: сама понимаешь, каждый месяц у них становится на тысячу двести женщин больше. Им в общем-то наплевать, что за работу ты себе найдешь. Они бы, может, даже где-то и обрадовались, если бы ты пошла в притон к Анне Брэдли.

Я тогда рассердилась, сказала, что мисс Райс из центра помощи совсем не понравилось бы, если бы девушка пошла в притон или на панель, насчет этого, мол, она очень строгая, ведь они и следят за мной, чтобы убедиться, что я не из испорченных девиц. На это Амелия просто рассмеялась. Дескать, смыкалась бы лучше с такими же, как ты сама, сходилась бы как-нибудь со мной в Альянс, к таким же, как ты, ведь кроме них, моя девочка, никто за тебя гроша ломаного не даст, только своим ты и нужна.

Но я ее не послушалась.

В следующий раз, как только я появилась, мисс Райс и говорит: вы замечены в аморальном поведении; рано начинаете! Я села, и она принялась задавать мне вопросы. Вы с мужчиной спали? Я подумала, неужто она в непорочное зачатие верит? Когда я ответила да, она сказала: ну вот и аморальное поведение. Сижу, а она мне вопросы — один за другим. Вы спали с мужчиной или с мальчиком? Вы замужем? Говорите правду, мы хотим помочь вам. Сперва я ей все наврала. Сказала, что мама и папа у меня умерли и муж умер. Погиб, говорю, в Калифорнии, утонул в океане. Она не поверила ни единому слову. Сверлила и сверлила меня, будто я больной зуб, а после сказала, что она мне друг, что она понимает мой страх и одиночество и знает, что мне предстоит величайшее испытание, какое может выпасть на долю женщины — священное таинство материнства, как она выразилась, — а потому мне необходи-

ма дружба другой женщины. Я, говорит, не скажу никому, все будет между нами, друзья не выдают друг друга. Я поверила ей, мне было одиноко, и я ей все рассказала, утаив только то, что Буча застрелили при ограблении банка.

На следующий день меня наконец взяли на учет. Амелия говорила, что на учет меня, конечно, возьмут, и действительно, только я на порог, мисс Райс отворила свое окошко, позвала меня, и я тотчас вошла. Она говорит, одну минутку, я сейчас, а я оглянулась — нет ли поблизости этой тетки Брэдли — и, увидев на столе у мисс Райс бумагу с моим именем в заголовке, прочитала ее.

Там говорилось:

Упомянутая молодая особа эмоционально неуравновешенна, ситуативную приспособляемость выказывает неадекватно, попыткам установить контакт сопротивляется. Находится в чрезвычайно стесненных обстоятельствах. Помочь может смена обстановки с последующим постоянным контролем связей и окружения в целях упрочения личностной устойчивости; для окончательного устранения ее проблем следует всемерно поощрять стремление к самообразованию.

В случае если проявится склонность к дальнейшему усугублению ментальных и эмоциональных нарушений, полезным, по-видимому, явилось бы направление в психиатрический стационар. После рождения ребенка ее надлежит обследовать на предмет стерилизации. Стерилизация, на наш взгляд, весьма желательна.

Я перечитала это три раза, потом слышу, идет кто-то, и села на свой стул, похолодев как лед.

Мисс Райс вошла и улыбнулась мне. Не улыбнись она, может, еще все было бы в порядке. Или хоть пусть не говорила бы, что мы друзья и все останется между нами. Или не подала бы мне в ту же секунду эту бумагу, дескать, пустая формальность, вот тут надо расписаться, — а там как раз это слово: *стерилизация*, — так, мол, ерунда, надо вам сдать кое-какие анализы, пустая формальность.

Оглянулась я на всех этих людей, что, сидя каждый против своего инспектора, отвечали на вопросы, — причем я знала, как у них стиснуты колени, как влажны их ладони и как коснеют у них языки от необходимости рассказывать то, что никому не расскажешь, и тут я вдруг вскочила и с криком бросилась бежать. Хотелось скрыться от всех этих глаз, устремленных на мой живот. Не знаю, как так вышло, но я орала, ругалась, а я ведь в жизни никогда не ругаюсь.

В поисках выхода я слепо натыкалась на столы, пока двое полицейских не схватили меня и, заломив мне руки за спину, не уволокли в «черный ворон».

За решетчатым окошком промелькнула Четвертая улица, потом библиотека; рядом сидел полицейский.

— Ну чо, сестричка,—сказал он,—наворотила делов?—Он придвинулся ближе, запустил ручищу мне под юбку и сказал что-то гадкое, я увертывалась, отбивалась от него кулаками, но он стиснул мне обе руки и принялся целовать меня, я стала кусаться и лягаться, а потом вспомнила, что мне как-то раз посоветовал Буч, и лягнула полицейского изо всех сил в пах, он взвыл, занес два сложенных вместе кулака и ударил меня.

Я потеряла сознание.

Когда я пришла в себя, холодный свет лился на меня из зарешеченных окон, и я подумала, что я в тюрьме, но тут увидела тоненькую девушку с большим животом, сидевшую на койке через проход напротив; проход был узкий, едва протиснешься, девушка что-то писала в блокнотике. Я долго смотрела на нее; в комнате становилось темнее. У меня все болело—лицо, руки. Когда избыют, чувствуешь себя очень странно. Сперва о своем теле не думаешь, просто чувствуешь боль, но кажется, что это душа болит, а потом обнаруживаешь, что болит-то тело, и начинает все кругом саднить, а у меня первая мысль—ребенка потеряла!—и я приложила к животу ладонь и ощутила, что он там шевелится—медленно, словно рыба на глубине, будто плавниками шевелит.

Мне стало полегче, и я опять посмотрела на девушку с блокнотом. Она была очень тоненькая, с высоким лбом, тонкой шейкой и полными губами, а ее тело расширилось книзу, как амфора, и я поняла, что она тоже ждет ребенка.

Я говорю: где это мы? А она все пишет и пишет. Я говорю: где это мы? А она поглядела в окно и приложила кончик карандаша к своим полным губам. Я протянула руку и дотронулась до нее, и вдруг она на меня посмотрела, да так по-доброму, кивнула мне и улыбнулась, но ничего не сказала. Я снова задала свой вопрос, а она усмехнулась и покачала головой, словно я предлагаю ей что-то, чего она не может принять, и тут она принялась писать, то и дело поглядывая на меня, блестя глазами с таким видом, мол, подожди немножко, и вручила мне листок, а там два слова:

Я глухая.

Я поглядела на нее, а она улыбнулась, и я тоже принялась писать.

Где я?

В ожидании, пока она напишет мне ответ, я смотрела на ее маленькие кудряшки, прикрывающие шею, которой под тяжестью головы, казалось, никогда уже не распрямиться.

Теперь на листке было: *Это родильный приют для неимущих... Мне уже скоро. А тебе когда?*



Глава 36

абличка на двери одной ванной гласила: «Только для сифилитичек», а на двери другой — «Только для несифилитичек». Мне было сказано сидеть в своей палате, выходить только в ванную, в ту, которая для несифилитичек, и надзирательница еще добавила: пока что.

Женщины заглядывали ко мне в дверь, иногда заходили и спрашивали: за что меня сюда? Как там на воле? Когда мне подойдет срок? Зашедшим приходилось быть начеку и разбегаться, когда на лестнице раздавались шаги надзирательницы. Мы с Алисой (глухонемой девушкой) обменивались записками и поглядывали на снег сквозь черный переплет решетки.

В холодные утра мне было видно, как женщины, которым пора рожать, медленно проходят по коридору. По ночам доносились крики рожениц, день и ночь в детской палате кричали новорожденные, а женщины бродили по коридорам, пытаясь хоть одним глазком посмотреть на своих детей, но им не давали.

На всю ночь под лестницей в нижнем вестибюле усаживалась женщина из полиции. Каждые полчаса она проходила с фонариком по коридорам. Это была огромная, сильная тетка, и наши женщины говорили, что тех, кто ей попадется, она щиплет и выкручивает им руки.

Я не могла там спать, все думала о том, что меня стерилизуют. Когда ходила в ванную и обратно, сквозь отворенные двери мне видны были сдвинутые вместе койки и доносился смех и шепот женщин.

Алиса сказала, что на окнах везде электрическая сигнализация. Убежать явно не было возможности.

Лежала без сна, и все мерещилось то, что было там, в банке, от этого начинало тошнить, и меня рвало. Я просила надзирательницу прислать доктора — не хотела, чтобы ребенок Буча погиб, но та отвечала: с тобой все в порядке, ничего страшного, просто отлыниваешь от работы в прачечной.

Алиса мне сообщила, что завтра одну из женщин выписывают, я написала письмо Амелии, и эта незнакомая женщина вынесла мое письмо на волю, а дня через два я получила от Амелии ответ. Я перечла его много раз и показала Алисе, которая знала Амелию. Такое впечатление, что Амелию знали все.

В ее письме говорилось:

Не бойся, деточка. Ты теперь творец. У тебя будет ребенок, очинь хороший ребенок, дочка или сынок. Этот день близица. Наберись терпения, товарищ. Д-р к тебе скоро придет. Мы об этом позаботимся. Чуток потерпи. Завтра будет заседать Рабочий альянс. Рожай, шасливая, там будут разбирать вопрос, чтоб не так плохо было простым людям и мы кто живет в большом городе могли бы хоть чуток порадоваться на своих деток. До скорово-скорово свидания, моя голубушка.

Амелия.

На пасху нам в обед дали курицу и разрешили лишний час не расходиться по палатам и поболтать. Для чтения нам раздали сотни юмористических брошюр, присланных каким-то женским клубом, а еще дали разгадывать кроссворды. Алиса мне всех показывала и писала всякие смешные штуки в своем блокноте. Была там одна симпатичная девушка по имени Юлия, она все время шутила. Сказала, что прошлую пасху она провела в пивной и накирялась до чертиков с каким-то парнем, которого впервые видела. А вот, говорит, было бы здорово, если б нам сдвинуть все столы вместе, взять пива да чего-нибудь еще туда плеснуть для крепости, да пару ящичков сигар, глядишь, обошлись бы и без хвостатых.

По радио голос пел «Я так крепко тебя полюбил», все смеялись, а девушка, у которой один глаз был стеклянный взамен того, которого она лишилась на фабрике боеприпасов, и говорит:

— Кабы ты, сукин сын, полюбил меня так крепко, меня бы тут не было.— Мы все засмеялись. Было очень весело.

— Скорей бы отсюда выбраться,— сказала Юлия.— Как мне не терпится со всем этим распрощаться!— А потом говорит мне, да так душевно:— Желаю тебе родить удачно, а кстати, нам ведь, по-моему, примерно в одно время рожать.

— Мы все тут спятим скоро в этой дыре,—с горечью в голосе сказала одноглазая девушка.

— А у тебя когда срок?—спросила ее я.

— Черт,—буркнула она,—когда работаешь по девять часов в день без свежего воздуха—тут срок не срок, все одно рожать сил не хватит.

В дверь вошла девушка с желтыми, как солома, волосами, и все смолкли.

Алиса в своем блокнотике написала: стукачка.

Мы принялись за чтение юмористических брошюр. Прозвонил звонок отбоя, вошла старшая надзирательница и повела нас на молитву. Принялась читать из Библии. Некоторые девушки умудрились разговаривать с помощью пальцев, спрятав руки за спину. Старшая что-то бубнила про великую божественную радость пасхи и материнства и молилась, упрасывая всевышнего простить нам совершенный нами великий грех, быть к нам милостивым и помочь нам в будущем жить праведнее. С песней, видимо, что-то напутали, потому что зазвучало «Чу, се ангелы запели»—рождественский гимн, но все дружно и громко запели, потому что петь всегда приятно, и все пели:

Чу, се ангелы запели,
Мери Джона ждет в постели,—

а Юлия захихикала, на что Старшая сказала: вы можете идти, Юлия, а та повернулась к двери и сделала Старшей нос; тут и меня уже стал душить смех до того, что хотелось завывать, заухать. Алиса ущипнула меня и улыбнулась, делая вид, что пост.

Нас строем отвели наверх. Бросалась в глаза одинаковость наших байковых платиц. Я разделась, натянула мешковатую рубаху и огромные тапки: из соседней палаты послышалось, как кто-то плачет в подушку; донесся крик голодных младенцев из детской. Алиса дотронулась до моей щеки и показала спрятанный у нее под подушкой маленький фонарик. Спать мне не хотелось, и мы стали «разговаривать».

Она написала:

Не плачь. Мы, простые люди, страдаем вместе.

Что она этим хотела сказать, я не поняла. Откуда она знает, что я страдаю?

Она кивнула и написала снова:

Ничто не может нас разделить... Вот видишь... ни глухота,—и снова пишет,—ни одиночество,—и наконец,—ни страх.

Я взглянула на нее. Кивнула. Она прикрывала

фонарик ладонью, чтобы его не было видно из коридора.

Я написала:

Как это?

Мы объединяемся,— написала она.

Я прочитала.

Потом она вывела:

Ничто нас не остановит.

По коридору прошла надзирательница, и лицо Алисы скрыла темнота, в палате не было слышно ни звука. Надзирательница удалилась, и фонарик зажегся снова; Алиса склонилась к блокнотику.

Я прочла:

Я член Рабочего альянса.

Я долго глядела на эту фразу. И написала:

Амелия тоже.

Она кивнула и улыбнулась.

Куснув карандаш, я написала:

Всю свою жизнь я работала.

Она это прочитала, согласно наклонила голову и, показав на себя пальцем, быстро закивала, снова и снова радостно тыча себя пальцем в грудь. Схватила блокнот. Одобрительно поглядела на меня и стала торопливо писать.

Я взяла блокнот. Воодушевление охватило меня. Я прочитала:

Мы обе работницы!

Она перекаtilась на бок, свет погас, и до меня донесся ее смех. Я тоже засмеялась. Когда она снова включила фонарик, мы уже не успевали перехватывать друг у дружки блокнот.

Я написала:

А что он делает, этот Рабочий альянс?

Они там требуют пищи, работы,— быстро писала она.

Я поглядела на слово «требуют». Сильное слово. Не сразу нашлась, что бы написать. Долго на него смотрела. Алиса смотрела на меня, и когда я на нее взглянула, она улыбнулась и кивнула, словно она пробирается по лесу, а я иду за нею. Она склонилась ко мне; фонарик светил сквозь ее тоненькую ладошку. Она подложила ладонь под щеку, прикрыла глаза—я поняла, это значило «спи!», а потом что-то твердой рукой написала и осветила мне написанное фонариком.

Не просни завтра!



еще до родов меня оттуда высвободила Амелия. Едва выйдя на волю, я чуть ли не пожалела, что не осталась за этими холодными стенами. Тем летом в городе было ужасно жарко. Я едва передвигалась. Чувствовала себя старой, как мама. И думала о маме и о Буче. Не могла вспомнить, сказала ли я Бучу, что оставила ребенка, услышал ли он меня? А все ж таки днем мне ничего не оставалось, как только горделиво расхаживать и изображать улыбку, будто я сама какой-то плод этого лета. Бывало, казалось даже, что в какую-нибудь из тоскливых ночей я могу умереть, но днем я, как Амелия, чувствовала, что жить дано право всем.

Иногда я помимо собственной воли принималась искать Буча, мне все казалось, будто он просто прячется от жары в каком-нибудь прохладном баре. Я заходила, притворялась, что читаю. Весь народ был в парках, ища прохлады. Вечерами я прогуливалась по Третьей улице, выискивая в небе ирландскую звезду Ориан — Буч частенько поминал ее, и я не знала тогда, что это он в шутку. Буч всегда говорил, тебе, мол, нипочем подначку не распознать, пока она тебя в темя не клюнет. Я проходила мимо «Немецкого дворики», которым заправляли уже совсем другие люди. Пройду, гляну в окошко, но в окнах только отразится улица и мое лицо. Однажды я зашла внутрь; незнакомый бармен читал газету.

— Сяду, — сказала я, — посижу пока. Закажу что-нибудь позже.

— О'кей, сестренка, — ответил тот, — понятное дело — жара.

Там было чище, чем в наши времена. Тишина и чистота, а мне все лезли на глаза костяшки пальцев бармена, его руки, держащие газету.

Я открыла сумочку, посмотрелась в зеркало, почитала брошюрку Рабочего альянса, но думала я о Буче — чего же он все-таки добивался? Не в ту он игру играл. Конечно, все они пытались победить — но в чем? Это был опрометчивый ход, бросок мимо цели. Странно, но меня не покидало ощущение, что я только что обдурила полицейских, вообще всех обвела вокруг пальца, вскрыла сейф и удрала, унося добычу под грудью. И теперь Сокровищница — я сама.

— Чему ты улыбаешься? — заговорила Амелия, садясь рядом со мной. — Только что забрали Клару,

будут лечить электрошоком. Мы ничего не могли поделать. Ничего.

Впервые я видела ее в таком гневе, ее лицо горело, а черная шляпка вздрагивала, как занесенный кулак.

— Ну нет, им нас не утопить, не втоптать в грязь, не вышибить из нас память своим электрошоком, чтобы мы не вспомнили, кто это сделал. Все, я собираю комитет—будем выручать вас с Кларой, и чтобы тебе было молоко.

— Вы только раздражьте их и ничего не добьетесь,—сказала я.

— А так ты чего добьешься? За красивые глазки тебе ничего не дадут. За все надо бороться. Нельзя стараться только для себя. Надо для всех стараться. Надо быть вместе со всеми. Мы должны знать, что страдаем вместе... у всех у нас один и тот же враг... одна и та же мать о нас печется,—сказала Амелия.

Я не смогла отказаться пойти с ней вместе в центр помощи безработным. Нам надо было выручать Клару, пока ее не убили. В конторе центра было полно народу, очередь от моего окошка тянулась в дверь и еще на целый квартал, люди томились под палящим солнцем. Мне нельзя было упускать своей очереди, и я стояла, хоть у меня и опухали ноги. По толпе пробежал трепет, впереди затеялась какая-то возня, и я увидела Амелию с еще одной старой работницей—они пробились к двери, отворили ее и вошли. Через некоторое время из двери показалась спина Амелии.

— Ну так и смерть тоже не будет дожидаться!—выкрикнула она.—Говорю же вам: матери нужно молоко, а Клара просто умирает. Я еще вернусь, и со мной сто человек придут!

Перед самым закрытием я добралась до своего инспектора, и та сказала, что потерялась какая-то бумажка, а мне надо кое-что подписать, и они ничего не смогут сделать, пока бумажка не найдется. Я говорю, мне уже рожать со дня на день, а мне ни молока не дают, ни этого железа, в котором, как мне сказано, я нуждаюсь.

— Мы сделаем все, что в наших силах,—сказала она.—Приходите завтра.—Я подумала о Кларе и заплакала. Кларе-то как же—ведь ей нужны апельсины и молоко. Амелия обняла меня за плечи и мы ушли.

Выйдя из центра, мы отправились бродить по улицам. Из заработанных на сборе ягод денег Амелия сберегла четыре пятицентовика купить Кларе молока.

— Ах, моя девочка,—вскричала она,—в душе у наших матерей полным-полно этой печали, всегда это

помни. А то, что с нами приключается, нельзя рассказывать даже по секрету.

— Что же нам делать?—сказала я.

— Вся эта печаль копится сейчас в глубинах рабочего класса,—сказала Амелия,—но она выйдет наружу. Все когда-нибудь выходит наружу.

Мы шли все дальше и дальше. Ходить Амелия не уставала. Со своими листовками и брошюрами она исходила пешком весь город вдоль и поперек. По воскресеньям она ходила целый день, стучалась в двери, разговаривала с женщинами. Сразу зайдет, бывало, покажет, как ухаживать за ребенком, научит печь мясной пирог из остатков, а потом говорить примется, объяснять, чтобы не верили тому, что пишут в газетах.

Амелия и говорит:

— Рано или поздно они до каждого доберутся. На работе до смерти загоняют, душу из тебя вынут—что на конвейере, что в пекарне, что на фабрике. Так или иначе, кровь они из тебя выпьют. Мы для них что? Просто товар—купи, продай? Да,—выругавшись, ответила она сама себе,—именно так они и думают, и покупают тебя, и продают, а потом, когда убьют в тебе живую душу, используют твоё тело! Жаль только, не могут убивать наших младенцев и пожирать их, как молочных поросят. Какое нежное мясо пропадает! Младенцы, фаршированные грибами. Почему бы и нет?

— Услышат,—сказала я. Я еле за ней поспевала. Больно тяжелая стала.

— И пусть!—выкрикивала она,—и пусть! Все равно до нас скоро доберутся. Так пусть все узнают, и чем скорей, тем лучше. А так с тобой враз покончат, и узнать ничего не успеешь. Конечно, поди узнай! Нашпигуют тебя, нафаршируют красивыми словами, а после нож тебе в брюхо, как свинье какой.

Темнело. Мы все бродили и бродили, без цели, как сумасшедшие. Амелия рассказала мне массу историй, которых я прежде не слышала. Повела мне о своем сыне, которого в Сентрейлии обвалили в смоле и перьях, подожгли с другими вместе, гнали их сквозь ночь, темную, говорит, как дым адских жаровен, и те в крови поползли на четвереньках до какой-то лачуги, а потом ее сын целый год не мог работать, да и после того думал только о том, как бы вызволить из тюрьмы своего друга по имени Беккер.

— А в тот раз,—продолжала Амелия,—когда повесили Весли Эверетта, нарочно веревку взяли такую длинную, чтобы им всем хватило на сувениры—ты

зайди, зайди к ним, в лучшие дома, увидишь куски той веревки, тебе с удовольствием покажут. Вот они каковы,— сказала она.

Меня охватил страх. Такого я никогда прежде не слыхала.

Еще она сказала: а видела у меня в комнате фотографию двоих мужчин? Один с такими пышными усами. Этот снимок я видела много раз. Думала, может это ее муж и ее отец. Фотография была вставлена в большую раму, с бумажными розами вокруг. Амелия пояснила: один торговец рыбой, другой сапожник.

— Оба убиты,— сказала она.— Сакко и Ванцетти.

— Как же можно,— помолчав, проговорила я.— Ну да, ведь они прямо так и заставляют девушку выходить на панель, потом у Клары все эти аборт, да теперь еще лечение электрошоком, от которого, как они говорят, она все забудет, а та девушка у них в роддоме умерла в родах! Бывало, мы с Кларой все время вместе были, а где она теперь? И всем плевать, как ее даже и звали-то, плевать и на ее кровь, и на слезы, и на ее походку, и на тех, кого она любила!

— Мне не плевать,— сказала Амелия.

— А еще кому?

— Всем, кто знал то, что она знала. У них и чувства совпадают, и руки у них у всех вот аж такие от непрестанной работы ради куска хлеба. Я говорю о тех, кем помыкают, кого заставляют вкалывать до полу-смерти, а потом еще загоняют в угол, кровь всю высосут и убьют.

Я понимала, что и я тоже из таких.

Мы стояли под огромным тополем, который матерински простирал над нами свою зеленую крону.

— Да,— сказала она, положив руки мне на плечи,— вот и еще одна живая душа.



Глава 38

о конца дней своих не забуду то лето. Старинный огромный склад, где все мы жили, пятиэтажный, заселенный в основном женщинами,— кстати, там было прохладно, благодаря толстым кирпичным стенам с узкими окошками, сквозь которые лишь изредка проникал солнечный луч, как в храме. Отопления и света не было, и некоторые из женщин, живших там зиму, разводили костры прямо на деревян-

ных полах, полы прогорали насквозь, получались дыры, так можно было заглянуть и крикнуть в квартиру этажом ниже. Один парень протянул электрические провода с улицы на этаж, где жили мы—это второй этаж был,—и мы могли, когда никто не видит, включать свет и электроплитку. Иногда, завидя свет, приходила полиция, но у нас работала система атасов, как мы это называли, типа: атас, полиция! Весть шла снизу и распространялась на весь дом.

Говорят, дом был собственностью вдовы лесоторгового кровососа—так он у нас именовался,—и до депрессии, когда дом еще сдавался в аренду, она ездила каждое лето в Европу, но теперь дом опустел, и его заполнили девушки и женщины, которым было негде жить.

На втором этаже некоторые из женщин поставили перегородки, высотой в несколько футов, а другие повесили одеяла, чтобы создать хоть какое-то подобие уединения. У Клары был старый матрас, в котором даже пружин уже не было. В один угол свалила свои пожитки Белла, через много дней после похорон Хойнка перетащив их из верхнего помещения «Немецкого дворики». Я спала на дощатом щите, положенном на пол. У Амелии была узенькая койка. Она перенесла ее к нам после того, как штаб-квартиру Рабочего альянса разгромили, причем едва удалось спасти мимиограф, который высился теперь посреди пола, и мы его прикрывали досками и клеенкой, чтобы он мог сойти за стол. Некая Сара из секты «Друзей Иисуса», прежде жившая вместе с Амелией в штаб-квартире, тоже переехала к нам. В кресле-качалке всегда, в любую погоду при шляпе и в пальто, сидела сумасшедшая мать Буча. Из-за нее мне было тяжело оставаться дома, потому что она день и ночь говорила про Буча, и иногда мне казалось, что она понимает, чей у меня будет ребенок.

Она мне прямо проходу не давала, схватит, и давай твердить: они там играют в песочнице, золотце мое, там они—Буч и Билл. Может присмотришь за ними? На завтрак я всегда делала кукурузные оладьи, говорила она, по кукурузным оладьям я первая мастерица. Приготовлю-ка я их на ужин. А от блинчиков из гречихи с индейским древесным маслом становишься толстым-претолстым—так Буч всегда говорит. Хорошо, что у меня свои курочки. Несутся—загляденье.

У меня от нее шел мороз по коже.

Сплошной сумасшедший дом. Иногда во всех углах суета какая-то, бубнят, поют. Белла непрерывно при-

меряла черные вуалетки в знак траура по Хойнку и все приговаривала: да уж, как отдал Хойнк в заклад свои инструменты, так нам и конец пришел. Надо же, что для мужчины его инструменты значат! А инструменты как заложит, так и не только с инструментами попрощайся. Прощай профессия, прощай возможность делать то, за что мужчина себя уважать может. А без инструментов мужчине что остается? Только в прихлебателях состоять у таких вот бесноватых вроде Ганца.

Клара до лечения электрошоком все прихорашивалась, пела и плакала:

— Ах, если бы родиться в богатой семье! Мне нагадали, что за углом меня ждет что-то очень хорошее. Ой, ведь так лучшие фильмы упустишь! А что, «Любовь в тропиках» идет еще? Лето еще не кончилось?

А Сара из «Друзей Иисуса» распевает: «Иисус, свет моей души, взять к себе меня спешу».

Белла хохочет:

— Господи боже мой, святая дева Мария, ну кто бы нас всех-то куда-нибудь взял уже.

— Иисус ждет тебя,—говорит Сара,—Иисус тебя любит.

— Иисус любит нас и ждет, если Библия не врет,—в тон ей поет Белла.

Сара, бывало, вынет Библию и примется читать нам вслух: в доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам...¹

А Клара на это:

— Не думаю, чтобы мне понадобилось больше четырнадцати комнат—семь наверху и семь внизу, а одна была бы только моя.

Когда Клара после лечения электрошоком привезли обратно из психиатрической лечебницы в Хейстингсе, солнечный день клонился к вечеру, но жара не начала еще спадать, и вид у Клары был такой, в каком я никогда ее не заставляла. Дело даже не в бледности—у нее всегда была очень белая кожа, а какой-то такой взгляд, заторможенность какая-то. Она появилась тихая-тихая, словно от нее осталась одна оболочка, а душа, вспугнутая взрывом электрошока, улетела голубкой, чтобы больше не возвращаться.

Клару внесли чуть ли не на руках, а женщина—инспектор социального обеспечения, которая отказала ей в кварте молока, вошла следом и помогла ей улечься в постель.

¹ Иоанн, 14:2.

— Скоро она воспрянет,— пообещала нам инспектор,— вот увидите. Электрошок снимает чувство беспокойства.

— А продукты вы принесли, которые ей прописаны?— спросила Амелия, подойдя погладить Клару по голове, причем под волосами у Клары виднелось что-то вроде кровоподтеков.

— Ждите, такие вещи сразу не делаются,— ответила инспектор.

— Но смерть ждать не станет,— сказала Амелия.

Сара принялась напевать: «Все вместе мы выйдем на берег прекрасной-прекрасной реки».

— Хорошо бы ей подыскать жилье попримечнее, но до зимы—ничего, сойдет,— сказала инспектор,— и я надеюсь, вы проследите, чтобы не было никаких мужчин. Если начнутся гулянки с мужчинами, помощи вам не будет. Будьте осмотрительны.

Я ждала, что Клара ответит какой-нибудь резкостью, но глаза ее оставались полуприкрытыми, а нижняя губа бессильно отвисала.

— О, черт,— сказала Белла.

Амелия и говорит:

— А как насчет рыбьего жира?

— Вот в том-то и трудность работы с такими, как вы. Паникеры вы. Чуть что—истерика. Вот, бумажку надо заполнить. У вас есть машина, грузовик?

Белла так и взвыла:

— Да у нас горшка нет ночного, чтобы пописать, и окна, чтобы все это вышвырнуть вон!

— Сквернословием вы ничего не добьетесь,— сказала та.

— Да от вас ничем ничего не добьешься!— Белла даже плюнула ей вслед, когда той по пути к двери пришлось обходить выгоревшую в полу дыру, сквозь которую мне видны были испуганные женщины, столпившиеся в комнате этажом ниже.

Когда та ушла, я принялась читать вслух бумагу, которую еще тогда прихватила в центре помощи безработным— отчет обо мне. Я дошла до того места, где говорилось, что упомянутая молодая особа эмоционально неуравновешенна, ситуативную приспособляемость проявляет неадекватно, попыткам поговорить по душам сопротивляется. Помочь может смена обстановки...

Белла так и заухала:

— Хо-хо, в Майами ее, в Пасадену... или на Багамы...

— Так... «После рождения ребенка...» ага, вот: «...с последующим постоянным контролем связей и окруже-

ния. Следует всемерно поощрять стремление к самообразованию, чтобы оторвать ее от подружки Клары, проститутки, с которой она проживает совместно».

— Т-шш,—прошептала Амелия, но Клара и так ничего не слышала. Видно было, что она где-то далеко, что уже слишком поздно.

Я читала дальше: «В случае если проявится склонность к дальнейшему усугублению ментальных и эмоциональных нарушений, полезно, по-видимому, было бы показать ее психиатру».

— Миленькая,—вскричала Белла,—да что с тобой, ты расстроена?

Я продолжила чтение: «После рождения ребенка ее надлежит обследовать на предмет стерилизации. Стерилизация, на наш взгляд, весьма желательна».

Амелия пыталась дать Кларе попить.—Это потому, что им не нужно больше детей рабочих. Они не хотят, чтобы такие, как мы, размножались.

Белла швырнула пустую бутылку об стену.

— Гнилье, дряни вонючие, сволочи! То мужчины пристают, то эти инспекторши чертовы, а вокруг все грызутся между собой, как крысы. Не зря я не хочу детей плодить в этом содоме. Тринадцать абортот делала, всех их выскребла к дьяволу.

Заговорила мать Буча:

— Да, скверно, скверно, с детьми осторожней надо, дети—это наше будущее. Где мои дети?—вдруг взвыла она волчицей,—где дети? Они же тут были только что, играли в песочнице. Темно уже, а Буча нет и нет.

Я обняла ее, стала качать в кресле, утихомиривать.

Сара вскричала:

— Увы! Увы мне! Фарисеи, порождения ехиднины! Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его¹. Берегитесь!

А у Клары только слезы катились из глаз, она лежала совсем как маленькая. Она ничего не говорила, лицо ее было неподвижно, лишь слезы катились из глаз, и Амелия их утирала.

— Это же есть в Библии: каждый под своей смоковницей. Всякому работнику заплати до захождения солнца. Теперь мы столкнулись с этим лицом к лицу, сестры мои,—сказала Сара.

Амелия сказала:

— Вот, мы должны быть вместе. Защищать друг дружку. Не на дно идти, не сдаваться. Бороться надо друг за дружку.

¹ Матфей, 3:7; 2:13.

— Ах, может быть, не время сейчас ребенка заводить,—воскликнула я, почувствовав, как он шевельнулся во мне, как рыбка в прозрачной воде. Я обняла Клару.— Не плачь, Клара, мы страдаем вместе. Все мы женщины. Ничто нас не сможет разделить. Мне больно там же, где и тебе. Что они с твоей головой сделали? У тебя и губы разбиты, кровь идет.

В открывшихся глазах у Клары стоял несказанный ужас. Ее миниатюрный ротик округлился, но она не проронила ни звука. Ее глаза говорили мне страшные вещи.

Я вскрикнула. Казалось, и женщины этажом ниже вскрикнули, и этажом выше, и Белла тоже.

Клара прильнула ко мне, и я стала ее укачивать. Она была маленькая-маленькая, а пахло от нее чем-то паленым, горелым чем-то. И у меня возникло чувство, будто перед нами разверзлись ужасающие бездны.



Глава 39

Очью было мучительно жарко. Несмотря на то даже, что Белла, швырнув бутылку, высадила стекло в узком складском окошке, которое не открывалось. Амелия тогда сказала:

— Ну, а что зимой будет?

— Зимой!—раздраженно откликнулась Белла.— Да кто здесь до зимы жить собирается?

А я впервые подумала о том, как жить зиму с ребенком, и о том, как у мамы ее первенец в первую же зиму умер от крупы. Где же мы жить-то будем? Подумалось: может домой поехать, к маме, а потом пришла мысль об Амелии и о Рабочем альянсе; я бросила взгляд на мимеограф, висевший среди пола, как какой-то окутанный покрывалом алтарь, вроде тех статуй в церкви, что в пятницу перед пасхой стоят под покрывами.

Я поглядела на Клару, которая всю ночь лежала недвижно, на мать Буча, спящую в кресле-качалке, как всегда не снимая шляпы—все ждет, чтобы пойти на поиски Буча.

Амелия поднялась очень рано, взяла свою черную шляпу, сумку с листовками и на цыпочках, чтобы не будить никого, вышла. Демонстрация с требованием бесплатной выдачи свежего молока была назначена на полдень. Мне не хотелось говорить Амелии, что всю

ночь у меня повторялись боли, не очень сильные, с интервалом пока примерно в час. Теперь уже время пришло явно.

— Буч,—сказала я в горячий неподвижный воздух,—ты всегда говорил, что главное—точно согласовать по времени. Тогда это было о том, как ограбить банк, забить гол, преуспеть в чем-нибудь, достать ветчины в дом. Но женщины знают об этом больше. Когда собираешься завести ребенка, с согласованием по времени творятся странные вещи. Нельзя ждать удобного случая, нельзя ждать, пока инспектор социального обеспечения подпишет направление в больницу!

Я стала раздумывать, как мне все-таки вызвать «скорую», если ни у кого не окажется монетки для телефона. У меня даже часов не было—посмотреть, как часто повторяются боли. Я могла считать секунды: на счет раз проходит секунда, шестьдесят—значит, истекла минута. У Беллы какие-либо деньги все же заныканы где-нибудь, не иначе. Белла спала среди пустых бутылок с зажатой в кулаке газетной вырезкой о смерти Хойнка. Сумочку она клала под подушку. В валявшейся на полу шкатулке с нитками я нашла два цента. Решила дожидаться, пока Белла проснется.

Огромная дверь отворилась, на пороге стояла женщина с первого этажа. Дверь была такой высокой, что человек рядом с нею казался маленьким. Двери эти не для людей делались. Как зовут женщину, я не знала. Зато знала, что она много миль исходила на пару с Амелией, раздавая брошюры и листовки.

— Я за листовками,—сказала она, подняла верхнюю юбку, а там у нее оказались вроде как фартуки с карманами.—Мой муж,—говорит,—твердый орешек, вот я кармашков-то и наделала. Ношу там листовки.

Мне хотелось спросить ее, рожала ли она и как это было. Зачем только я маму не спросила. Ах, почему ее нет здесь со мной.

— Приходится чуток вперед мужа вскакивать,—сказала та женщина, рассовывая листовки по всем кармашкам. Сквозь дыру донесся голос Амелии:

— Эй, там, выходить пора. Ты свои в центре распространяй, перед молочной демонстрацией.

— Иду! Иду!—отозвалась женщина, причем голос ее мне показался радостным. Я пожалела, что не могу пойти вместе с ними.

Клара слегка застонала и шевельнула рукой, словно пытаясь что-то стереть со лба. Я подбежала к ней, взяла за руку; рука была холодной и влажной. Я начала

было греть, растирать ее, но Клара от меня отпрянула, словно в страхе.

— Это я, это же я,—принялась я увещевать ее, и она открыла налитые кровью глаза. Ее глаза—это был какой-то кошмар: белки кровавые, а зрачки словно выпрыгнуть хотят, чтобы о чем-то тебе поведать. Мне вспомнились милые Кларины глаза, в которых когда-то отражались букеты полевых цветов. Кто-то отнял ее у меня, унес в какие-то дали, и мне хотелось ее вернуть, чтобы она рассказала мне про тот дом с четырнадцатью комнатами, где ванны вровень с полом и одна комнатка только ее.

— Клара! Клара!—плакала я,—вспомни меня, вспомни, как ты брала меня с собой, как ты мне все показывала.

Она даже не улыбнулась. Хотя ее зрачки так и выпрыгивали, так и старались поведать мне что-то ужасное. И они рассказали мне! Я поняла, я все увидела, что они с нею сделали.

— Клара! Вспомни «Немецкий дворик» и субботние вечера с бигосом, Билла,—с плачем тормозила ее я,—Билла и Буча, этих чудных ребят, этих замечательных лисов—помнишь, ты их так называла, этих котов-скорохватов, ну, помнишь... Помнишь?

Вроде какая-то искорка; кажется подмигнула! Один глаз чуть прикрылся и открылся снова. Я чувствовала, что не должна, ни в коем случае не должна дать ей все забыть. Этого им нельзя позволить с ней сделать, и я приподняла ее холодное тоненькое тело; волосы будто сальные, на висках кровоподтеки... Что они с ней сделали?

Я обнимала ее, я трясла, ласкала ее, кричала на нее. Мать Буча проснулась и смотрела на нас. Сара села, принялась накручивать волосы. Даже Белла заворочалась.

— Память—это все, что у нас есть,—плакала я,—мы должны помнить. Мы должны все помнить. Это честь, вот и Амелия говорит, это наша честь. Мы должны помнить, чтобы были силы бороться. Должны записывать имена. Завести список. Чтобы никто не был забыт. Они знают, что если мы не будем помнить, нам их не уличить. Тогда их вина растворится. Последнее, что они могут отнять, это память. Вот и Амелия говорит: не забывай, говорит, грудь своей матери. Ой, мамочка, ну помоги же нам! Клара, вспомни, ты ведь рассказывала мне про свою маму, как она переезжала из города в город, с одной гнусной поденщины на другую, рожала детей, и носила их за спиной, и

запирала их в комнате, пока она в ресторанах моет посуду, стирает белье в гостиницах, Клара, ты должна вспомнить маму, и я помогу тебе.

Тут она улыбнулась, выражение глаз стало добрым, и Клара сказала:

— Ребеночек.— Я схватилась за живот.

— Да, Клара, помнишь, как ты стояла на улице, было холодно, ты вышла заработать денег, чтобы помочь мне. Да, Клара, ребенок. Помнишь, ты хотела увидеть его.— Меня всю перекутило болью. Считать я уже перестала. Держись, сказала я себе.— Да, ты увидишь его, и ты его запомнишь, ребеночка, и этого им не вымарать. Ничто этого не может вымарать. Вспомни, Клара, и мы за тебя будем помнить. Мы поможем тебе, шаг за шагом, по чуть-чуть вспомнить все, всю великую эпопею нашей гнусной, прекрасной и ужасающей жизни, вот увидишь, мы вспомним все, все вспомним. Я помню каждое из тех обидных слов, что говорили тебе в ту ночь эти богатые паскудники, Кларочка, ты ведь светила, как фонарик, ну да, фонарик, свет, это же ты и есть, Кларочка—свет города в прериях. Не забывай это!

К нам подошла Сара, взяла меня за плечи и уложила Клару, но Кларино лицо теперь не было уже таким бледным, ее глаза следили за мной, и она отчетливо, хотя и тихо, сказала:

— Клара... Клара... назови ребенка...—и добавила: — Означает Ясный Свет—ребеночек—Клара!

— Да, да,—плакала я,—Клара, ясная моя, лучик мой светлый...

Сара тихонько увела меня со словами:

— Что ж нам делать с сестрой нашей меньшею—сосцов нет у нее¹... В чем душа держится!

— О, пусть для всех моя душа будет,—сквозь слезы воскликнула я,—и молоко пусть для всех...

— Да! Да!—отозвалась Сара, и от всей ее высокой фигуры во вдовьем трауре веяло добротой и какой-то нездешней любовью, ее прямая осанка словно обещала и опору и защиту... Мать Буча встала, и в ее глазах неожиданно мелькнуло понимание, словно она наконец узнала меня; она кивнула мне и помогла усесться в кресло-качалку.

— Там внизу на улице Буч,—сказала она,—он работает, его в окно видно. Он к нам зайдет перекусить. Буч,—тихо позвала она,—твоя девушка тоже поест с нами кукурузных оладий.

¹ Песнь Песней, 8:8, перефразировано.

От внезапной боли я скорчилась, и Белла крикнула:

— Что, начинается? Боже правый, видно, ничего себе ребенок будет. А я вот как-то странно себя чувствую, вся мокрая, как утопший котенок,—ты помнишь нашу Сюзибелли? Слушай, а тебе выписали направление в больницу. Кстати, ведь надо же позвонить! Есть у кого-нибудь пятицентовик? Тут у меня в шкатулке с шитьем...

— Да я взяла уже оттуда два цента,—сказала я,—только ведь это все равно не годится. Для автомата пятицентовик нужен.

— Ну у кого-нибудь должен же быть пятицентовик! Не может быть, чтобы ни у кого не было. А вообще-то возможно. Очень даже возможно. Денег у нас что у курицы зубов. Вот старый костюм Хойнка, может, в кармане что-нибудь завалялось. А еще я какие-то деньги в старые туфли клала. Собиралась купить пеленок.

Я принялась считать секунды, загибая палец каждый раз, когда на счете шестьдесят кончалась минута. Следующий раз подступило на восьмой минуте.

Все как надо.

Я вспомнила свою жизнь с Бучем. Как подумаешь, что в начале начал твое собственное одиночество и смерть—дрожь берет. По всему телу дрожь, но все равно это нужно, все равно, даже рискуя, нужно идти на это. Нужна смелость, чтобы из одинокой своей обители все же говорить, высказаться, разглядев самое себя в зеркале, прочувствовав запах одиночества, выслушав шум пустоты. От этого пот проступает каплями, и кровь бухает в висках, ибо что есть одинокий голос, и что толку кричать в комнате с запертой дверью?

Боли усилились, ходить я уже не могла. Белла варила кофе, а я сидела и смотрела на часы. Теперь интервал был шесть минут. Меня обуяло нетерпение. Хотелось увидеть ребенка тотчас же. Может, он будет похож на Буча, с такой же вытянутой черноволосой головой и резкими чертами лица. Я чувствовала внутри себя кровь, будто реку, грудь высоко вздымалась, бедра и лоно уже готовы были исторгнуть это невиданное дитя, готовы были к мукам и трудам ради него. Мне вспомнилось, как Амелия однажды сказала: когда дело хорошее, это сразу чувствуешь, чувствуешь, когда что-то можешь, когда твое дело стоит того, и тогда хватайся за него зубами и ногтями. Так-то вот, моя девочка, говорила она.

И вот теперь впервые мне захотелось хвататься за

свое дело зубами. Я почувствовала, как наливается во мне тяжесть и тянет...

— Пойду на улицу,— сказала Белла,— позвоню. Ты собралась, детка?

— Я готова,— сказала я.

— А с собой возьмешь что-нибудь?— спросила Белла.

— Мне и брать-то нечего,— отвечаю,— вот разве что галстук Буча. Да два цента. Глядишь, уже и в колледж дочку снаряжать можно.

— Ну-ну, детка, смотри, еще подходящим обложат! Ничего, я пришлю тебе доктора Доллара.

— Что ж, этот доктор мне понадобится,— сказала я, Белла заревела от хохота, и мне еще долго слышался ее смех, вперемежку с неподражаемой ее тяжелой поступью на лестничных ступенях.

И тут я услышала, как трудно, судорожно ловит ртом воздух Клара; то был ее последний вздох. Я поняла это сразу.

— Клара,— закричала я,— Кларочка, подожди!

Я вынула у нее из сумочки зеркальце, в которое она всегда смотрелась, поднесла ей ко рту, округлившемуся страшным «о», словно последний вздох дался ей с болью.

Зеркало осталось ясным.



Глава 40

Я с облегчением прикрыла ей глаза, отгородив ее от ужаса, в который они смотрели, и сомкнула ее отверстые в безмолвном крике губы. Потом мать Буча держала ведро, а мы обмывали Клару и расчесывали ее золотистые волосы. Она была похожа на покинутую жизнью птичку—те тоже маленькие, косточки да перья. Амелия сказала бы: вот, дескать, до чего человек доходит, когда нет ни нормальной пищи, ни обогреться зимой негде, да еще домогательства всякие.

Сара достала из вещей Клары отделанное кружевом белое платье, вроде подвенечного. Мы приладили его ей по фигуре, и Сара уже читала что-то из Библии, типа: положи меня как печать на сердце твое, ибо сильнее смерти любовь... Большие воды не могут потушить любви, и разливы рек не зальют ее. Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее; что

будем делать с сестрою нашею в день, когда придут свататься за нее? Если бы она была стена, мы построили бы на ней палаты из серебра; если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Тут Сара сотворила над ней какой-то знак и понизила голос. Беги,—проговорила Сара над нею,—будь подобна серне или молодому оленю на горах бальзамических¹.

Мать Буча вложила Кларе в руки искусственную розу.

Теперь схватки мне и считать было не нужно. Ни они, ни отсутствие больничной машины меня уже не беспокоило. А вскоре чуть ли не весь народ с демонстрации, озабоченный и торопливый, пришел к нам, люди собрались в большой залитой солнцем комнате — и уличные девчонки, и швеи из только что организованного для создания новых рабочих мест цеха, и Амелия, раскрасневшаяся, потерявшая где-то шляпу; а когда она встала перед Кларой на колени, другие женщины тоже преклонили колени, и все запели, зашептали молитвы, кто что вспомнит, а некоторые всхлипывали и даже рыдали.

Ко мне подошла Белла.

— Ну, ничего себе, а! Позвонила я насчет машины, а они там вроде как и слыхом о тебе не слыхивали, заявки у них нет, или какого им рожна еще надо. Жаль, детка, ты не видела демонстрацию — к зданию суда собрались сотни людей, полицейские швырялись из окон гранатами со слезоточивым газом, а среди нас нашлись ребята бейсболисты, они ловили и бросали гранаты обратно, причем чиновники-то, чиновники, детка, как начали из здания разбегаться — крысы, да и только, а улица сплошь усеялась листовками с требованием молока и железистых таблеток для Клары.

На жарком полуденном солнце протянулась длинная очередь, полицейские шеренгой перекрыли улицу, но в дом ни один войти не посмел. Вмиг Клару окружили подарками: трубочками с губной помадой, старыми бумажными цветами, цепочками и медальонами с девою Марией, лентами, поясками, иконками с изображениями святых. Такое впечатление, будто каждая, у кого что ни найдись, все принесла подарить Кларе. Одна прическу ей пригладит, другая оправит на ней нарядное платье, кто-то шепчет молитвы, напевают песенки.

У меня даже в голове не укладывалось: столько людей, и всем им до нас есть дело — как Амелия

¹ Песнь Песней, гл. 8, перефразировано.

говорит, наша душа для всех; мужчины, конечно, держались поодаль, но женщины все собрались, и, честное слово—а тут еще это солнце, изливавшее свет так щедро и так свободно всем и каждому,—нет, в самом деле, никогда в жизни я ничего подобного не видела. Мне хотелось просто встать там, и пускай мосьдита падет им на руки—на руки великих Матерей; такими я их видела, и такими я всегда, до последнего издыхания буду их видеть. У меня не находилось слов, но все это—как я когда-то говорила Кларе—останется в нас навсегда. В нас, всепомнящих, вездесущих, гигантским зеркалом отражающих картину всеобщей жизни, всеобщих страданий. Я увидела в толпе маму—тот же изгиб стана, тот же опавший живот, на лице печаль и еще что-то, что-то яростное, неудержимое, что, быть может, и дает силы рожать детей.

Амелия подняла руки.

— Слушайте! Внимание, пожалуйста,—обратилась она к собравшимся.

А Сара сказала:

— Надо нам отслужить по Кларе мессу.

Амелия подхватила:

— Да, мы почтим память Клары массовым митингом, и пусть наш голос услышат все в городе—наш суд, наш приговор городскому началству, да, пусть услышат наше обвинение, наш суд. Мы обвиняем. Вздыхаем перст указующий. На них мы возлагаем ответственность.

Какой-то гул прокатился по толпе, передаваясь от одного к другому вниз по лестнице и дальше, на улицу.

— Когда? Завтра? Послезавтра.—Все соглашались со всем.—Да. Сара, готовь объявление. У нас еще годная трафаретка осталась. И записывай все предложения,—сказала Амелия,—все-все. Все обвинения. Народ требует слова. Погибла Клара. Кто убил Клару? Почему она не получила молоко и железистые таблетки? Чье равнодушие погубило ее? Кто равнодушен к тому, что мы голодаем?

Сперва только две-три женщины начали рассказывать о своих мытарствах в центре помощи безработным, но тут же к ним присоединились другие, каждая выкрикивала свое. Я помогала записывать их предложения.

— Разве она была преступницей?—продолжала Амелия.—Социально опасной? Никогда не обладала она богатством. Умерла в нищете. Никогда она не присваивала ни лес, ни пшеницу и не подмешивала сор в муку. Никогда не украдала ни у кого землю и не отобрала

ее за высокие проценты по закладной. Никогда не наживалась за счет труда других. Не жирела на военных поставках. Никогда не производила боеприпасов и оружия. Никому не причинила зла. Кто же убил Клару? И кто убьет нас?

О, это было поразительно—сколь громогласен и нагледен был гнев этих людей. И их сила. Амелия кивала, улыбалась, стоя среди них словно общая мать.

— Так, это слышала? Запиши.

— Аминь,—сказала Сара.

— Сара, поди впечатай это в трафаретку,—распорядилась Амелия.—В храме Труда есть пишущая машинка. Тебе разрешат. И быстрее возвращайся. Ах да, еще возьми у них бумаги. Расскажи им про Клару и вот про нее тоже. Они дадут.

Люди все подходили и подходили нескончаемой вереницей. Белла заставила меня улечься на ее кровать. Амелия сказала, что она принимала роды уже у сотни женщин и примет еще у сотни.

В углу сделали небольшой закуток. Амелия растирала меня. Белла плакала, держа меня за руку. Тут я увидела мать Буча, коснулась ее руки, и она все поняла. А я подумала о Буче, о том, как он представлял жизнь будто бейсбольный матч. Нет, золотце, это тебе не бейсбол! Я даже рассмеялась.

— Забавно, правда?—сказала Амелия, а мать Буча захихикала странным тоненьким голоском.

— Нет, это черт-те что, не на пол же ей ложиться!—сказала Белла.

— Дыши теперь,—сказала Амелия,—теперь тужься, тужься; дыши—тужься, тужься; дыши...

— Ах, Буч,—смеялась я,—ты и не знал того, что знает твоя мама, эта маленькая женщина, что привела вас всех в этот мир. Как вы делали это, мама?—спросила я ее. Она лишь хихикала с тонким скулящим призывом, и я увидела, что ее глаза точь-в-точь глаза Буча. Я потянулась к ней, обхватила, и она припала ко мне, маленькая как воробышек, прижалась, всхлипывая, стеная тоненьким голоском.

Все будто сон, но какой явственный! Я видела, как Амелия склоняется к моим ногам, поглядывая на меня, говоря: дыши—старайся вытолкнуть—нет, подожди—дыши... Боль накатила так, словно меня переехал грузовик. Но вокруг теперь теснились женщины, и я могла смотреть в их лица. Казалось, их дыхание шло в лад с моим, и их тела порождали ветер, могучий как вихрь в прериях. Амелия снова сказала, что приняла множество младенцев, и еще множество примет. Она

говорила не переставая. А я ее не слышала, и это было странно, это было как тогда, когда я оставила Буча на лугу, прикрыв его, бездыханного, одеялом.

— Дыши,— все командовала Амелия,— погоди... дыши... толкай, толкай... погоди... дыши...

А он еще спросил меня перед смертью: все-таки люди мы или нет? А я тогда сказала, что кое-кто нас за людей явно не считает, но нет, мы люди, конечно, люди. Вот же твое лицо, Буч, вот оно выплывает ко мне из великой реки, из великой тьмы.

Я брыкалась, как мустанг, тужилась, будто подымаю гору. Услышала: заработал мимеограф. Застучал, словно задавая ритм.

— Пошел, пошел,— закричала Амелия, и мне показалось, что я впервые слышу это слово.— Чудненько, только головку повернуть. Вот, теперь сильней, моя милая, и потихоньку, давай, милая, он уже показался, потихонечку давай.— Я почувствовала, как во мне прорвалась река, и хлынула, и что-то подалось, открылось. Я ли это вскрикнула, или женщины вокруг, или ребенок? Последний вздох Буча и первый ребенка. Еще покрытого какой-то тьмой и слизью, Амелия положила его на меня.

— Девочка!— воскликнула она,— девочка,— и принялась отирать слизь, а младенец вздрогнул и задышал, и перед моими глазами перевернулись и всплыли, все озарившиеся, прежде темные пласты памяти. А девочка лежала золотистая, вылитая Клара, вплоть до мокреньких волосенок.

— Девочка!— раздался вопль Беллы, и женщины радостно зашептали: девочка, девочка...

— Женщина!— веско произнесла Амелия, продолжая отирать ее тельце руками.

Белла что-то орала; на миг мимеограф смолк и застучал снова.

— Женщина, женщина!— орала Белла.— Сестра наша, наша дочь. Не надо нам всяких висюлек, ни шпага не нужна, ни рог сатаны, ни третья рука— пусть будет девочка, женщина, мать.

— Ха! Хо!— радовалась Амелия.— Еще одна женщина!

— Свет,— проговорила я,— ясный свет... Клара.

— Кларой назвали,— пронеслось среди женщин, и женский гомон окружил меня. Я в них во всех видела маму, в их тяготах и страданиях, в их туго схваченных телах, в оттянутых и опавших животах, в их яростном стремлении оберечь. Я почувствовала резкий прилив сил, а дочь завозилась, словно потянувшись к соску, и

я увидела, как Амелия берет нож, который она споласкивала спиртом из пивной бутылки, и перерезает пуповину.

И тут мать Буча очень связно сказала:

— Пуповину сбереги—потом, когда ребенок потеряется, станет блуждать, он возвратится к бабушкам, чтобы найти дорогу, и пуповина ему укажет. Путь укажет.

Заметив, как женщины сгрудились посмотреть, я подняла свою дочь, держа так, чтобы всем было видно, и услышала АХХХХХХХХХ общего изумления и восторга.

— Дайте-ка мне газету,—сказала Амелия,—послед завернуть.

А мать Буча вдруг вся загорелась—мол, дайте мне, мне дайте. Амелия завернула его и дала ей. А та и говорит:

— Слыхала я, будто в нем белка больше, чем в любой живности.

Наконец-то я смогла положить на ладонь маленький светлый затылочек дочки. И тут как вскрикну! Ее лицо было лицом моей матери, разве что меньше. Как в зеркале.

— Ах ты моя маленькая, моя женщина,—склонившись к ней, сказала я и дала ей грудь, полную молока.

РАССКАЗЫ



КОРЕННЫЕ И ПРИШЛЫЕ



а севере зачатую, на свет рожденную, когда отошли околупродные воды зимы, в зыбке из кольцом сомкнувшихся четырех сторон горизонта качала меня древняя земля. Еще влажная, только поверху схваченная ледовой коркой, сохранит она письма, оставленные волком и зайцем и людьми, коренными и пришлыми, и это будет моя первая азбука. В начале века дымы от наших костров и от костров индейцев еще смешивались. Но на границе колонистов уже было беспокойно, уже ее захлестывали насилие и кровь. Зимними ночами равнину одолевали кошмары, самый воздух дрожал в предчувствии набегов, надеясь на чудо. Амбары для пшеницы возвышались, как храмы; ограбленные, они зывали к отмщению.

Человек рождался прежде всего в пространстве, в гулком пространстве притягивающей к себе необъятной долины Среднего Запада, над которой сталкивались ветры, раскрученные, как лассо, в грозových сполохах неба, и это был гнев господень.

Своим рельефом тело повторяет ландшафт. Они отражаются друг в друге и творят друг друга. На нас отпечаток сезонных обновлений земли, тяжелейших людских кочевий, резкого слома эпох, принесшего вместе с новым веком перемены, каких не знала эта цветущая планета. Кроме материнской груди, угадывались и другие возвышенности и всхолмления, и, благословенная ободряющим, как бы внутренним взором, я переходила из материнских объятий в объятия прерии, сливаясь с ней каждым изгибом.

Я родилась в полночь — посеревший снег, скрип

половиц, колокольчики, всхрап лошадей, санные по­лозья. На пороге деревянного дома в два этажа со скошенной крышей, в свете керосиновых ламп выросли тени—бабушка, тетка и дядя, ездившие в Индию миссионерами,—и посыпались вопросы.

Далекая-предалекая северная ночь. Времена, когда железо еще не выгеснило дерева. Приговоренная к холоду, я лежала в прерии материнского лона, этого планетарного живота, а вовне—неохватный горизонт равнины, сплошь поросший лесами; так и покачивались, кольцо в кольце. На родовом щите неба полная луна двигалась по нисходящей диагонали под знак Нептуна, и Рыбы плыли во тьме к Водолею.

Но сам дом в четыре комнаты наверху и четыре внизу пуританским своим основанием крепко врос в землю Новой Англии, спланированный на идеально ровном месте, рассчитанный по законам классической геометрии, поправший собою равнину,—вот оно, тор­жество завоевателя, крепость господня, щит против греха и излишеств.

Я была зачата, когда буйствовало лето, свет луны и звезд питали мои подземные корни, в первобытном мраке моей индейской ночи шевелились каждая травин­ка, злак, сверчок, рыжая лисица, бобер. Все двигалось и сопрягалось. Материнская грудь и грудь прерии мерно укачивали, кривизной своей вписаны в квадрат комнаты. Вороны, проникнув в мою плоть, оглашали криком мой сон.

Прижимаясь друг к другу в этом индейском краю затяжной зимы, мы учились лучше видеть и понимать, слышали треск ледовых морен, во все совали свой нос—в пекло лесных пожаров, леденящую стужу, нашествие саранчи, пороки, войны, неурожай, засухи и даже закладные. Суровый климат, земля, еще не освоенная, странная, и те, у кого ее отняли, те, кто заглядывал в наши окна,—от всего этого угнетало чувство собственной вины, давило ощущение собствен­ной греховности. Часто валил снег, деревни исчезали под сугробами—не разглядишь, не подступишься. Лю­ди, держась за натянутую между домом и хлевом веревку, выходили задать корм скотине да так и замерзали на полдороге. Но в который раз возрожда­лась, набиралась сил прерия, древняя земля, освяща­емая индейскими ритуалами на протяжении тысячеле­тий, это яблоко раздора двух Америк, она кормила нас и учила уму-разуму.

Мы исколесили всю эту землю, пускали корни, нас выживали, изводили засухами, толкали дальше на

запад. Кто-то подавался в золотоносные края, края миражей, прельщающие идиллическими картинками, сказочными состояниями, идеальными фермерскими общинами. Тысячи исколесили эту землю, теряя близкую почву, пестуя каждый росток пшеницы и кукурузы, рожая слабоумных, мистиков, выдумщиков и пророков. В общем, как сказал один старый фермер, не судьба нам была уйти отсюда; пригвожденные ветром к дверям хлева, мы были вынуждены строить ветряные мельницы, придумывать способ пахоты без лошадиной тяги, усовершенствовать колючую проволоку. Священник из Дакоты сказал мне: «Отсюда выйдут пророки».

Где еще весна может заставить в мгновение ока зацвести обыкновенную палку? И вот уже равнина, берущая начало у отрогов Скалистой гряды, набухает зноем, и почти беззвучное таяние снегов вдруг всколыхнет омытое пространство легким ветерком и обещанием первоцвета. Все мы вылезали, как крокус, из зимних сумерек, из плененной снегами деревни у реки, где однажды за зиму все дети умерли от дифтерита. При свете нового солнца мы пересчитывали мертвых, и живые устраивали буйную пляску во славу весны, пировали, заглушая боль. Люди вколачивали свои иноземные пятки в американский материк, а потом потели на сеновалах, чтобы наплодить в этой глуши новых колонистов.

Весной все раскрывалось. Прерия раскрывалась, точно огромный веер. Люди согревались, сходились всем миром простегивать одеяла, ставить кому-то дом, собирали пожертвования. По раскисшей земле выходили пахать и сеять. По-соседски протягивали руку. После сева крестили младенцев и здесь же, возле церкви, устраивали пикники. Женщины в платьях из набивного ситца раскладывали всякую снедь, пока дети устраивали забеги на одной ноге или с картофелиной на макушке, а мужчины гнули подковы или играли в бейсбол. Детей рожали дома, призвав на помощь соседку. Иногда ждали доктора. Когда мне было двенадцать лет, я помогала бабке-повитухе принимать роды. Я держала мать, которая кричала и закусывала то, что осталось от губ, а бабка извлекала по кусочкам безжизненный, задохнувшийся комочек. Смерть, она поджидала кое-кого весной: иной дотягивал до ростопели, а пришла весна, и нет человека, тогда все мы, уцелевшие, хором затягивали «Старый грубый крест», и

«Соберемся ль у реки?», и «Пусть бог хранит тебя в разлуке».

Никто не умел закатывать вечеринки, как это делали поляки и ирландцы,—дня на два, на три. Впрочем, на собраниях баптистов тоже вовсю пели (правда, никаких танцев), во всеуслышание каялись и во всеуслышание получали отпущение грехов. Как-то раз при мне взломали лед и в прорубь окунули отчаянно кричавшую женщину, дабы спасена была крещением в животворной воде.

В субботу вечером люди начинали гулять, исключая сторонников сухого закона и «честных» прихожан, в основном трезвенников-протестантов, ходивших по воскресеньям в церковь к ранней обедне. Колонисты заполняли таверны, где их поджидали выпивка, девки и карты и где они спускали все, что успели заработать на этой земле, не без помощи шулеров, спекулянтов и прочего отребья. Существовали игорные дома для богатых, а в Стилутере—настоящие бега. В Сент-Поле Нина Клиффорд, влиятельная особа, держала два борделя, один для джентльменов с «Холма», второй для лесорубов, которые иногда откладывали топор в сторону, чтобы с толком потратить заработанные потом монеты. Считалось, что Сент-Пол поделили между собой три силы—Бишопу Айрленду достался «Холм», Джиму Хиллу—«железка», ну а Нине Клиффорд—все, что лежало ниже «Холма».

Если дождей было в меру, и солнца в самый раз, и кукуруза была «к Четвертому июля по колено», то по случаю Дня независимости устраивались веселые пикники, где можно было поупражняться в ораторском искусстве. Тех, кто отваживался проверить мощь своих легких, было слышно без всяких громкоговорителей в самых отдаленных уголках рощицы. Когда из-за спекуляций на зерновой бирже в Миннеаполисе упали цены на хлеб, обеспокоенные фермеры собрались за городом, и в парке, на городской площади, и в здании суда и ругали на все корки монополистов. Убрав или еще не успев убрать урожай, они съезжались целыми семьями в своих шарабанах из всех окрестных местечек. По рукам пошли разные листовки, фермеров призывали объединиться и дать отпор грабителям.

Где еще бывает такое бабье лето и такие урожаи? Всем миром убирали кукурузу. Продвигаясь вдоль посадок, мужчины срезали ножом початки и бросали их в повозки. Все обдирали початки, и кому доставался

рыжий, тот получал право во время танцев поцеловать свою девушку. Август был месяц больших ярмарок: фермеры привозили мешки зерна и всякую живность, ремесленники привозили сенокосилки и жнейки.

Осень возбуждала, предстоящая зима вселяла ужас. Мы могли рассчитывать лишь на то, что успели законсервировать, засолить, заквасить или зарыть в песок. Надо было торопиться заготовить дрова и закатать банки с помидорами, бобами и пикулями до первых заморозков. Это напоминало приготовления к битве. Моя бабушка заворачивала яблоки в газеты и укладывала их рядком-ладком в бочки. Шинковали и заквашивали капусту. Резали старых кур. Я всегда с изумлением наблюдала, как моя тихая бабушка берет топорик с длинной рукоятью и, наступив на горло любимой курице, отсекает ей голову с одного удара.

В доме развешивали для просушки разные травы, дни становились короче, лес желтее. На исходе лета прерия преобразается, все созревает, и грозовые облака плывут наэлектризованные, притягивая, как магнитом, всю небесную влагу. Лучшее лекарство от грядущей зимы с ее затворничеством и напастями — прощальные танцы. Пока не убрано с лугов сено, амбары превращаются в танцплощадки. Женщины, подхватив свои длинные юбки, отплясывают по кругу и парами, отбивают «шотландку», так что пыль столбом. Балки гудят от звуков скрипок и губных гармошек.

Но вот все покрыл персидский ковер из золотых листьев, кукурузные поля оголились, опять равнина обнажила свой покаты́й горб, и сухая стерня засеяна палой листвой. словно чья-то невидимая рука медленно сняла цветное лекало летнего пейзажа, и обнаружился голый чертеж земли, в котором слабый человек прочитывал грозящие ему опасности и разрушения.

Сова высматривает добычу в этот час охоты. Лисица вспугивает фазанов и куропаток в кукурузном поле. Юпитер стоит над Антаресом, и серп луны вонзается в дерн прерии. Грубое дыхание ветра с гор — знак индейцам, что пора потихоньку сворачивать палаточный лагерь и возвращаться в резервацию. Овен, небесный баран, перемахивает через край звездной карты и покрывает землю. Семя и корни становятся кровью и плотью. Заложники укорачивающихся дней и неотвратимых холодов, мы снова прижимаемся друг к другу в темноте, на краю безбрежной пустыни.

Подумать только, мне было двенадцать и столько же нашему столетию—четыренадцать лет миновало после испано-американской войны, двадцать два—после Танца Призрака и Битвы у Раненого Колена, два года оставалось до первой мировой войны, которая перевернет патриархальный уклад.

Юная дочь прерий, я росла в животворящем мире трех могучих женщин, которые, заполняя собой все пространство до самого горизонта, сеяли и убирали хлеб, вынашивали детей, пестовали все живое. Подобно тому как груша наливается спелостью в окружении других груш, я буйно расцветала в прямых щедрых лучах этой любви, обещавшей преумножение плоти вопреки разрушительному воздействию времени. Я узнавала райский свет в отблеске, что лег на их цветы, на груди прерии, на луга и ягодицы, в этой обволакивающей волне тепла и восхищения.

Первой была моя бабушка из Иллинойса, дочь индианки из племени ирокезов, вышедшей замуж за проповедника-аболициониста, своего учителя. Она последовала за ним на Запад и поклялась умереть с ним в один день. Она сдержала клятву. Что до моей бабушки, то она была пуританка, окружившая себя крепостными стенами многочисленных юбок и приходившая в восторг от собственных уловов. Она развелась с мужем, что было вызовом обществу по тем временам. Он пропивал обширное хозяйство, доставшееся ей от отца. После развода она запрягла легкую коляску, положила подле себя дробовик и покатила через весь Средний Запад туда, где обосновался Христианский союз женщин за умеренный образ жизни, по дороге оглашая глухомань слезными призывами к трезвости. Позднее мы все участвовали в агитпарадах и, оседлав грабли, одетые во все белое, выкрикивали лозунги: «Смерть тебе, король Алкоголь! Кто притронется к спиртному, тот не притронется ко мне!»

Когда ее дочь, моя мать, пошла в колледж, бабушка стала зарабатывать ей на учебу тем, что готовила обеды для общины. В девятнадцать лет моя мать выскочила замуж за гуляку-проповедника и родила от него четверых детей, из которых один умер в младенчестве. Она прочла статьи Эллен Кей и побывала на выступлениях Эммы Голдман, так что когда у нее родился последний ребенок, она уже свято верила в то, что женщина вправе сама распоряжаться своей жизнью и своим телом. Она прослушала курс истории религии и перестала ходить в церковь. Поскольку техасские законы лишали женщин и детей гражданских прав и всякой

собственности, превращая их в движимое имущество, однажды ночью мать выкрала нас из дому и бежала на Север, как какая-нибудь чернокожая рабыня, рассчитывая перебраться в соседнюю Оклахому с ее более либеральными законами. Отец предпринял попытку вернуть нас — то ли как преступников, то ли как свою собственность, — но потерпел неудачу.

Третьей женщиной была индианка, которую мы звали Зоной. Она жила в рощице с теми индейцами, что появлялись в наших краях летом, когда требовались дополнительные руки на полевых работах, а когда урожай бывал убран, она помогала нам делать заготовки на зиму. Ее муж умер с горя, после того как даже Танец Призрака не заставил буйволов вернуться и после того как правительство, обеспокоенное резней в местечке под названием Раненое Колено, запретило индейцам исполнять их танцы и курить священную трубку, а заодно расправилось с теми, кто пытался взять их под свою защиту. С этого дня, говорила Зона, даже черники не стало.

Зеленым побегом росла я в этом материнском лесу, в тяжелые времена пряча поглубже свои корни, чтобы выжить и выстоять. Удивительно, как много общего сошлось в судьбах трех этих женщин. Они испытали на себе все тяготы общества, безоглядно рвущегося вперед. Они всего хлебнули — из-за мужчин, из-за драконовских законов, из-за распада семей. Они жили по-своему, но так похоже, в беспросветном одиночестве детства, в череде безмужних ночей, среди врагов.

Они не ждали, что земля вдруг явит им свою благодать, что раскроются золотые копи или что в их северную глушь протянется железнодорожная колея. Они не ждали ни поворотов к лучшему, ни громких побед. Они ждали Апокалипсиса, прихода некоего мессии, либо, как моя бабушка, они ждали дня, когда можно будет свидетельствовать на небе со своими родными и близкими в награду за аскетическую и беспорочную земную жизнь. Главное, что они знали об этом мире, это то, что мужчина — животное, способное только на кутежи, да на карточную игру, да еще на грубое насилие.

Они несли в себе семя предков, тени иммигрантов на мосту, старые молитвы над горсткой пепла в прерии, благодатный дождь, пророчества эмбрионов и трупов, даль, которая открывает вид на пожары, похоронное мерцание человеческих костей, толщу кальция, долго не затихающие крики в ночи, цветочную пыльцу, горящий

очаг. У них у всех были летние шляпки (куда они складывали семена и травы), сумки с провизией и кошельки сиреневого цвета.

Мы все делали вместе—убирали урожай, доили коров, консервировали, прятались в погребе во время бури; я смотрела на них, как на материки, где без конца рождаются дети и умирают героические женщины. Все они были кровно связаны с главнейшими событиями нашей округи—жизнью и смертью, болезнями, появлением новых школ и дорог.

Частенько я тайком увязывалась за нашей Зоной. Я вылезала через окно в летней кухне и, спустившись по стволу яблони, пробиралась в бледных весенних сумерках к индейским кострам, где в грохоте тамтамов забывала о существовании деревни, чувствуя, как что-то яростное захлестывает этот древний край. Вся земля сужалась до круга, образованного светом большого костра, и видно было, как кожа обтягивает черепа мудрых стариков племени. Горизонт расширялся, словно раздвигаемый танцующими, которые двигались по спирали, в небе же выстраивалась цепочка звезд.

Я сидела на траве, в тени, вместе с Зоной. Как многие индианки прерий, Зона была высокая и сильная. У нее был восточный тип лица с выпуклыми скулами в обрамлении длинных черных волос. Зона рассказывала мне, как однажды затрепетала на ветру трава, стала красная как кровь,—то напомнила о себе плоть матери-земли, перед тем как страшный стальной плуг вонзил в нее хищный зуб. Рассказывала, как вольготно жили на равнине антилопы, и олень, и сохатый, и разная дичь и как по весне эти места оглашал брачный рев буйволов. Как разносился треск их рогов и топот ног в минуты яростного возбуждения. Как воины-охотники уходили добывать мясо на зиму. А летом—ягоды, сливы и пеммикан¹, ухаживания и дурачества, буйволы подавались на юг в солончаки, а ближе к зиме индейцы удалялись в свои величественные травяные шатры, где они рассказывали разные истории и легенды о горах и сияющем море на Западе. Индейцы, говорила Зона, первыми появились в этом мире. Раньше они жили внутри матери-земли, а на свет выбирались по толстым лианам. Некоторые лианы оборвались, и поэтому часть ее народа по сей день живет под землей. Еще она

¹ Национальное блюдо северо-индейских племен: спрессованный пирог с тонко нарезанным высушенным мясом, жирами и сухофруктами либо ягодами.

рассказывала, как торговцы сбывали индейцам зараженную черной оспой одежду. Почти вся деревня вымерла в ту зиму. По прерии гулял трупный запах.

Она объяснила мне, что земля была создана совершенно круглой и священной, чтобы никто не мог объявить ее своей собственностью. Землю нельзя забрать себе, говорила она, как нельзя забрать себе ее, Зону. Нет никакого прока от клочка в форме квадрата или многоугольника. У нее все сводилось к двум цифрам—4 и 7. Землю, говорила она, нельзя поделить на квадраты. Благодаря ей я поняла, что природа меня окружает, и что она простирается далеко-далеко вниз, и что белые купили и возделывают только ее макушку. Земля ждала, переплетя соломенные стебли, словно пальцы; Зона соединяла свои коричневые пальцы для наглядности. Она говорила, что мужчины и женщины уходят корнями в сердцевину земли и там переплетаются. Она не верила в ад и в рай. Она верила в то, что мы живем только здесь и только сейчас. Земля, говорила она, ответит белым страшной карой за то, что ее взяли силой, всю избороздили и загадили. Все, говорила она, возвращается, все происходит сейчас, на наших глазах. Она говорила, что прошлое, настоящее и будущее придуманы белым человеком.

А о траве она говорила: не было на земле ничего питательнее, чем трава прерии, содержащая больше солей и белков, чем любая пища. Пока не пришли с плугом, прерия могла бы накормить всех зверей, весь род звериный, как она кормила буйволов. В ту пору не было загонов, но пастбищ хватало—буйволы, пасясь, переходили с места на место. А сейчас, говорила она, трава, эта земная плоть, растет вниз, а земля развеивается по ветру. Трава может уже не возродиться, буйволы могут уже не вернуться.

Она говорила, что правительство не в силах отвратить индейцев от молитв и танцев. Индейцы унесут их с собой под землю, вместе с нерожденными детьми. Она обводила горизонт своим священным пером, словно веером раскрывая эту дикую природу, где все возвращается—заложенные земли, нарушенные договоры,—все раскрывается вместе с яркими перьями, и будто птица с нежной грудкой превращается в свет луны и солнца, и самый этот свет, и мать-земля—все превращается. А что превращается, говорила она, то возвращается. И я ей верила.

Я знала, вот моя защита—земля с ее превращениями и женщина. Я была окружена всемогущими силь-

ными женщинами, а сама была девчонкой-несмышленишкой: безгрудая, с капелькой ярости в сердце, путающаяся среди них, никчемная, голая, как эта земля, постигающая науку ярости, мечтающая врачевать и выхаживать землю, рождать из мира насилия и страдания новую расу, которая научит воинов не попираť женщин и землю. Ценой их собственной гибели!

Я видела их: после мародерства, поражений и ран войны возвращались в домашний круг, который, как сама прерия, есть власть женщин, кольцом сомкнувшихся вокруг детей. Яростная скрытая сила белокожей пуританки и краснокожей индианки имели много общего — непонятный импульсивный тотемический диктат места и рождения, земли и плоти.

Я и мои братья задыхались, изнемогали в их яростных объятиях. Это была почти физическая боль. Своим обликом они напоминали разгневанных воителей, мифических и настоящих, — отправленных в изгнание, преследуемых, поработенных. Они рассказывали друг другу ужасные истории — как ирокезы бежали от тех, кто устроил кровавую резню в деревне моей бабушки, как она пересекла штат Огайо, не расставаясь со своим мелодионом¹. Моя мама рассказывала, как она бежала из Техаса в Оклахому, где женщины имели права на собственных детей. Индианка Зона рассказывала, как ее мать погибла в 1890 году во время Битвы при Раненом Колене — она убегала, прижав к себе грудного младенца, солдаты настигли ее и забили ударами прикладов, младенца же, еще живого, бросили на морозе. И как ее отец ждал после Танца Призрака, что вот-вот выйдут из гор буйволы, но они так и не вышли. Иногда среди дня эти три женщины собирались вместе, сидели — спина прямая, головы высоко подняты, лица исполнены достоинства, — и рассказывали свои истории, до странности похожие одна на другую. Я слушала, и сердце мне подсказывало, что без ярости и гнева, без буйного нрава и физической силы они не смогли бы всех принять под свою защиту, они были одержимы яростной, грозной и пугающей страстью к восстановлению справедливости, к воздаянию за добро и к спасению тех, кто в этом нуждается.

Моя бабушка узнала о целебных свойствах здешних растений и трав от Зоны, о том, что в разные периоды они бывают ядовитыми. Высушенные корни черемухи, растертые до вязкой массы, останавливали кровь. Кору

¹ Вид аккордеона.

черемухи ели весной от дизентерии. Из древесины вырезали ложки. А ягодами начинали пеммикан, заготовлявшийся на зиму либо перед длинными путешествиями.

Моя бабушка сама раскладывала в погреб все растения и помечала что где своим аккуратным и разборчивым почерком. Погожим летним днем после полудня приходил наш друг — час травосбора. Лишнего никто не рвал, оставляли на семена, чтобы следующий год не был скуднее предыдущего. Из медвежьей травы плели кувшины для воды. Мир растений дарил рогульки, метелки и рыбачьи сети, дарил благовония, одежду, мыло, масло и краски, всевозможные настойки. Мою бабушку особенно интересовали всякие луковицы, корешки и клубни — она жила ожиданием недорода, голода, пожаров, болезней и смертей. Пятьдесят видов трав шло в приправы к салатам, разным блюдам, мукe и сиропу; пять — в напитки; три вида использовались в качестве противозачаточных средств, были травы от укуса змеи, противовоспалительные, стягивающие раны. Двадцать шесть видов трав применяла она для лечения «зимних» и «летних» недугов, другие использовались как припарки, тонизирующее, возбуждающее аппетит, снимающие жажду. Из вредоносных готовились яды. Из анемона, говорила она, можно приготовить смертельное зелье для врагов. Подсолнух перетирали и пекли лепешки на дорогу. Какую-то отвратительную прозрачную жидкость получали из перепревшего жабрея. Беспольных растений не существовало. Каждое на что-нибудь да сгодилось бы. Все требовало любви и заботы. Я и сегодня не могу вырвать из земли травинку — слышу, как она кричит.

Бальзамом на душу проливалось милосердие, каким Зона одаривала вселенную. Как-то раз она привела меня на ту сторону реки, в окрестности Бисмарка, где поселилось ее племя, и показала мне удивительные жилища: над вырытыми в земле ямами возвышались островерхие травяные шатры без окон, если не считать отверстия над головой, через которые выходил дым и куда проникал свет, как сквозь купол собора. На этом пятачке вселенной она показала мне жизнь, которая вращается вокруг костра предков. От нее я узнала, что насилие — это прямая, а любовь — круг.

Однажды, когда мы сидели на крыльце, укрывшись в тени от палящего солнца и шинкуя капусту для засолки, Зона рассказала нам о Танце Призрака. Когда правительство объявило вне закона индейские ритуалы, сказала она, наступил конец; даже голубика почти исчезла. Моя бабушка и мама закивали головами,

хорошо понимая, до каких странностей могут доходить эти мужчины с их властью и фантазиями, соединенными с реальностью чересчур уж тонкими нитями. О Танце Призрака Зона говорила с грустью, признаваясь, что не очень-то верила тогда в него и своим неверием подорвала способность буйволов выйти из гор. А вот ее муж, проделавший длинный путь, чтобы побеседовать с колдуном Вовокой, пришел к убеждению, что бледнолицый Иисус придет на помощь к индейцам, что после общеплеменного танца к ним вернутся буйволы, а также все умершие и что они, индейцы, снова смогут жить на этой земле. По ее словам, он видел в Оклахоме огромную железную кровать, или раку на песчаных холмах, окруженную ритуальными шестами и священными предметами, и в этой раке, рассказывали, Иисус спал каждую ночь после трудов праведных на благо индейцев.

Я же над ним посмеялась, сказала Зона, я не поверила, что такое возможно. Умерших, конечно, можно увидеть, но они ведь не возвращаются насовсем и не едят вернувшихся буйволов. Единственное, сказала она, во что еще можно было поверить, так это в то, что земля вновь будет принадлежать индейцам. И вся трава возвратится уже следующей весной, только бы скот не подъедал ее подчистую. Она вспоминала настоящую траву, которая ходила волнами и менялась на глазах, точно море из шелка. Один цвет она брала у севера, остальные у юга, востока и запада, а теперь трава стала бесцветная и гораздо ниже и к тому же безвкусная. Прежняя прерия, волнистая, играющая рябью, исчезла, говорила Зона. Она еще помнила, как индейцы зывали к буйволам, просили их пожертвовать своим телом, отдать свое мясо людям в пищу. То было время, говорила она, великого могущества и любви на земле.

И вот в последний раз явилась всем мечта о буйволах. Старухи принесли снадобья в узелках для камлания, чтобы выманить буйволов из гор. Они затянули старинные приворотные песни. Зона сшила мужу рубаху призраков, которая, рассказывают, заговорена от пули. В ней он отправился в долгий путь в штат Техас, чтобы принести оттуда череп и шкуру освеженного буйвола-самца для священного вигвама. То была последняя попытка возродить былую силу индейского щита. Добрая была бы сила. Не зря же Вовока видел белого Спасителя висящим на солнечном кресте.

После поста и парильни четыре ночи длились

песнопения, и все не отрывали глаз от скал, из которых должны были появиться буйволы и умершие, обитатели подземного царства. Зона никак не могла настроиться на торжественный лад. Вдруг у нее мелькнула мысль, что надо бы вовремя отскочить в сторонку, когда с грохотом ринется на людей вся эта масса... и она чуть не расхохоталась. Бессмысленная затея. Так прошлое не вернешь. Однако она тоже всю ночь не смыкала глаз. Кто-то слышал подземный гул. Люди танцевали до полного изнеможения. Муж Зоны, весь раскрашенный, с перепачканным лицом, обливался потом. Если она испытывала прилив любви и доброты, но не чувствовала себя достаточно сильной, то ее муж испытывал прилив доброты и силы, и за это она гордилась им — он верил, что сумеет вернуть предков и буйволов, прежнюю траву и свежую воду.

Вдруг он простер руки в ночи с криком, что это конец. Нет, закричала она, нет, у круга не бывает конца. Но он ее уже не слышал. Дни его были сочтены. Он перестал есть, угасал, скоро от него ничего не осталось. Исчезли дикие сливы, исчезла прежняя жизнь. Индейцы умирали от голода, разбредались и падали на сухую стерню. Но под землей все между собой связаны, значит, жизнь будет продолжаться. Так надо ради детей.

Моя бабушка и мать согласно кивали. Им это было понятно. Им пришлось проделать немалый путь, чтобы поднять фермы, прежде чем уступить их общим врагам. Мы это сделаем, говорила моя бабушка, мы не выпустим из рук круга, и тогда старое и новое соединятся. И она затягивала свою, ей одной известную обрядовую песню: «То-то будет радость, как снопы навяжем...»

Ночь дышала материнством, и луга — священные, изобильные — находились в руках великой женщины. Сегодня я смотрю с обрыва на Миссисипи, изгаженную, как и предсказывала Зона, но только куда хуже, чем ей это виделось в самых страшных снах. Однажды у нее вырвалось: смотрите в оба. Не забывайте. Помните о нежности. Помните о ярости. Она еще застала власть женщины на этой земле, огромной и гневной, готовой дать отпор всем, кто ее оскверняет и завоевывает.

Чем тебя одаривал этот уголок земли на северо-западе Америки, так это волнующим разнообразием этнических культур. Любая была мне доступна, я могла петь в норвежском хоре и танцевать с финской фольклорной группой. Тогда еще соблюдались обычаи. В

день святого Патрика можно было увидеть волинщиков в зеленых костюмах, а в парке какой-то специалист в области права, шелестя бумажками на ветру, декламировал последнюю речь Роберта Эммета. Но еще больший интерес вызывали у меня разные национальные кушанья.

С удивлением я обнаруживала в себе пылкий темперамент; тут я, кажется, пошла не в бабушку. Как же я любила танцы. Яркие и такие непохожие, иногда чувственные и всегда прекрасные. Они освобождали меня от пуританского аскетизма в плотских желаниях, от привычки связывать наслаждение с понятиями вины и греха. Помню мои первые танцы. Уж не знаю, как мама и бабушка меня отпустили, но, конечно, не обошлось без наставлений, угроз и призывов стоять насмерть против греха и излишеств. Мое первое выходное платье было белым, хотя я бы предпочла красное или, скажем, желтое. Но бабушка сказала, что это цвета для польских шлюх. Поэтому я надела белое платье и туфельки на низком каблучке с узким красным кантом. Волосы я закрутила на папильотки из газеты, что казалось мне тогда верхом распушенности.

Джон заехал за мной в двухместной коляске, украшенной бахромой, правда, в коляску была впряжена ломовая лошадь. Жатва только закончилась, и огромные ручищи Джона лоснились от загара. От него пахло мякиной, хотя он скреб себя до умопомрачения; свои вихрастые соломенные волосы он припомадил медвежьим жиром. Он помог мне взобраться на высокую ступеньку—огромный и непонятный. Мы медленно ехали между осин, стоявших в золоте. От меня пахло тальком и от него тоже. Я натерла щеки влажной креповой бумагой, подчернила ресницы обгорелой спичкой и прошмыгнула мимо бабушки, пока та не заметила, что у меня вид падшей женщины.

Мы оба сидели так тихо, что старая лошадь то и дело оборачивалась с веселым ржанием, желая удостовериться, на месте ли мы. В рощице экипажи и коляски останавливались—до начала танцев еще оставалось время, и можно было пофлиртовать. К счастью, мы не остановились. Бабушка предупредила, чтобы я ничего не пила, подобно тому, как Деметра предупредила Персефону ничего не есть в царстве Аида, каковой запрет она, конечно, нарушила и угодила в западню, проглотив косточку граната. Послушать бабушку, даже виноградный сок мог оказаться не таким уж невинным. Иными словами, «ершом».

В большой просторной зале люди разгуливали, перебрасываясь шуточками в ожидании танцев. Мужчины казались смущенными гренадерами. Девушки, накрашенные так, что на них больно было смотреть, одетые с иголочки, хихикали чересчур громко и поминутно обнимались, показывая тем самым, как это замечательно.

Но вот из бочки вынули затычку и в кружки полилось пиво, а на дворе уже разливался свет луны. Но я помнила: «Кто притронется к спиртному, тот не притронется ко мне!» И вообще я была хмельна уже тем, что пришла сюда со своим парнем, вот он, в башмаках на высоких каблуках, ждет первых в своей жизни танцев.

Запиликали скрипки, потом вступил аккордеон, и началось. Я перелетала от одного гренадера к другому, едва касаясь пола. Человек, объявлявший танцы, говорил, казалось, на другом языке. Но что мне было за дело до названия, меня крутили, и я крутилась. Я переходила из одних могучих рук в другие. Крестьянские парни смеялись, улюлюкали и «обжимали» девушек, как те меж собой выражались. Час за часом мы отлетали, сталкивались, раскручивались, обливались потом, отбивали ритм, переходили из объятий в объятия, прижимались друг к другу.—Ох, и славно бы, дружок, мы потанцевали, ох, попрыгали б, милоч, мы на сеновале! Сахарная тыква, сладкая морковь, заиграла у меня молодая кровь!

Все темнее ночь, все неистовее скрипки, швыряют нас парни, как мячики, сплетаются тела. Я уже не различала лиц. Новая знакомая проводила меня в поле. По одну сторону присаживались девочки, по другую, к ним спиной, становились мальчики. Никогда прежде не доводилось мне слышать такой хохот, а какие дьявольские намеки делала ночь всякий раз, когда из лесочка возвращались парами танцоры с блуждающими улыбками и запутавшимися в волосах листьями. Казалось, все мы стоим на краю геенны огненной. Только им было почему-то не страшно, они очерта голову ныряли в самое пекло, словно речь шла о совершеннейших пустяках.

Этой ночью я как бы родилась заново.

Моя бабушка приобрела участок земли и построила дом—простое и целомудренное олицетворение запросов суровой протестантки с ее отнюдь не аристократической приверженностью к каждодневному, исполнен-

ному внутреннего долга, методичному и праведному труду. Приехав в эту глушь, она наняла каменщиков и плотников и потребовала выстроить ей нечто такое, что соответствовало бы ее духу и пространственному воображению. Интересно, изобразила она все это на бумаге или просто составила словесный портрет на основе собственных воспоминаний, умеренности и благоразумия? Это был фермерский дом, типичный для Новой Англии, с летней кухней, подсобкой и вечно запертой гостиной, куда не проникало солнце. Вряд ли бабушка отдавала себе отчет в том, что ее дом воздвигается на земле, где испокон веков ставились только хижины, шатры и вигвамы, на земле, которой не касался плуг. Не думала она, конечно, и о том, что совершается варварство: землю отбирают у коренных жителей. А если подобные мысли и приходили ей в голову, наверняка она пребывала в убеждении, что христианские намерения ее англо-пуританской культуры принесут индейцам прямую выгоду и спасение.

Красота этого дома, сама его планировка вызывали у меня в детстве чувство благоговения, и сейчас, когда я вижу заброшенный остов посреди равнины, не могу удержать слез. Это было прибежище от угроз неистового времени, цитадель, где можно было рассчитывать по крайней мере на тепло (очаг в дорическом стиле) и скромный, грубый, но свой кусок хлеба.

В день распределения новых земель бабушке достался угловой участок, небольшой надел, и, вступив во владение, она сразу приступила к возведению своего деревянного оплота демократии. От этого участка, а точнее от флигеля, потом возьмет начало главная улица деревни. Первым делом бабушка велела сделать два погреба: один — чтобы держать там разные корни, и второй — чтобы укрываться от смерча и прочих катаклизмов, для чего во всякое время там были одеяла, вода и запасы пищи. Был случай, когда только благодаря этому погребу мы не задохнулись от дыма, который валил в нашу сторону во время лесного пожара. Бабушкиной мечтой, кстати, разделявшейся у нас очень многими, было иметь достаточно земли, свободной от долговых обязательств, под виноградники, крыжовник, клубнику, спаржу и ревень (все это должно было давать хорошие урожаи), а также под маленький сад — три груши и яблонька. Ежегодно наша дойная корова телилась, поросенок мы весной покупали. К осени он нагуливал бока на наших обедах, и мы его зарезали, коптили ветчину и бекон, шпиг же оставляли для жарки. Даже в плохой год мы обходились практи-

чески без рынка. Покупали мы (или обменивали) только керосин, дрова, кофе или муку, да и ту при желании могли бы делать из желудей, или своей кукурузы, или, как Зона, из тимофеевки, что росла на болоте. Молодые побеги этой травы Зона нарезала в салат.

От земли на фут поднималась видимая часть фундамента, выложенного речным песчаником; он и много лет спустя оставался все таким же прочным и надежным. Сосновые доски были по-прежнему идеально пригнаны, являя собой образец простоты и симметрии. Несущие балки держали, поперечные держали, половицы не прогнулись, не разошлись. Дом возводился основательно, в убеждении, что он простоят никак не меньше ста лет и что потолок, стены и очаг сослужат добрую службу обитателям, людям непритязательным, готовым довольствоваться малым. Здесь не было ни лишней деревяшки, ни случайного украшения; расчет был один—чтобы дом выстоял в любую погоду и надежно укрыл хозяев в своей крепко сработанной деревянной коробке. Тут можно было обнаружить, пожалуй, лишь два «изыска». Во-первых, простое, без всяких излишеств и украшательств круглое окно в нише, позволявшей с трудом втиснуть рабочий столик, в нашем случае—бюро, за которым я писала первые свои рассказы, имея перед собой вид сразу на две улицы. Еще одним «изыском» была парадная дверь с резным орнаментом, то ли покрытым черным лаком, то ли почерневшим от времени.

Передняя, она же гостиная, служила исключительно для приема гостей. Шторы были всегда опущены, дабы не выгорали крупные красные розы на ковре; на двух подставках стояли литографии моего прадеда и прабабки. Из гостиной вы попадали в общую комнату, а оттуда—в просторную кухню с подступившими к самым окнам грушевыми деревьями. Основная жизнь проходила здесь, вокруг большой потрескивающей поленьями печи, здесь по субботам перед сном мы купались в корыте. Я и мои братья мылись в одной воде, так как носить ее приходилось от самой колонки или набирать в бочке, куда стекала дождевая вода прямо из сточного желоба. Как же я завидовала тем, у кого цистерны с дождевой водой стояли в доме, откуда она насосом подавалась непосредственно в раковину.

Из наполовину открытой галереи вы попадали в летнюю кухню и в подсобку. В таких кухоньках те, кто мог позволить себе покупать «рокфеллеровский керо-

син», стряпали, экономя на дровах. (Бабушка частенько говорила: «Опять керосин мистера Рокфеллера вздорожал на два цента. Еще одно повышение в пользу его кармана, и мы переходим на свечи!») Единственная спальня, совсем небольшая, тоже находилась за кухней. Что касается меня и моих братьев, то мы спали на кушетках в общей комнате.

Была, пожалуй, еще одна крошечная уступка голой целесообразности — деревянное крыльцо, узкой террасой огибавшее треть фасада и украшенное балюстрадой ручной работы. Позже дорожка вдоль дома была заасфальтирована.

Этот тип постройки, довольно распространенный в прериях Среднего Запада, был своего рода культурным феноменом, дававшим представление о материалах, какие были в ходу, и о тех, кто ими пользовался, а также выразивший тягу колонистов к почти забытой чистой и здоровой симметрии. Он выражал собой твердую решимость — работника, дерева, времени, — прямодушную, суровую, не ведающую обходных путей и послаблений, педантичную, как сам пуританский мир. Он был производным от моей бабушки с ее натурой, восстававшей против порочных страстей и дикости первопоселенцев, против вызывающего насилия и буйства, преданной одному только карающему богу, суровому, но справедливому. Заложница пуританской чопорности и своих длинных юбок (зачехленная в них, она никогда не видела своей наготы), она существовала во времени и пространстве приличий, целомудрия и долга. В своей скромной обители она принимала Ахавов¹ после долгих странствий. Она поднимала на ноги цинготную, лыка не вяжущую команду и снова указывала ей путь к церковному алтарю и христову братству.

В доме стояла мебель моей тетушки, напоминавшая о ее миссионерской деятельности и служившая до тех пор, пока не вошел в моду стиль антик и ее родня, при всей своей бедности, не вознамерилась обить громоздкие стулья искусственной кожей. В недрах этого дома я возносила молитвы творцу. Первая музыка, которую я услышала однажды вечером, были звуки фисгармонии и негромкий бабушкин голос, — пуританку с полновзвучным жизнерадостным голосом сочли бы вызывающей. Когда она пела в церкви, шея у нее болезненно напрягалась, и звуки выходили какие-то болезненные,

¹ Капитан Ахав — герой романа Г. Мелвилла «Моби Дик».

звуки печали и мольбы и терпеливого ожидания часа, когда можно будет перейти через Иордан в землю обетованную. Укажи нам путь домой, возьми нас за руки и выведи из этой пустыни, упокой наши души. Страшными были песни про эту богом забытую глухомань: день за днем тружусь я в поте лица своего, печаль терзает мое измученное, отчаявшееся сердце, смерть мерцает в таинственном мраке, который есть прах и тлен, звезды высвечивают отверстые могилы, укажи мне стезю славы, здесь нас распяли, вот это дерево, этот нестерпимый свет, эти цветы, выбеленные страхом, совсем я изнемогла, несчастная, где ты прячешь от меня лик свой? Единственная любовная песня, которую она пела, была «Возлюби Ты мою душу, дай припасть к Твоей груди».

Только благодаря этим песням я осознавала всю глубину ее печали, ее ужасающее одиночество, ее жажду смерти, ее немоту. Порой среди ночи слышался плач, но я понимала, что она будет уязвлена, приди я к ней со словами утешения. Утром она уже держалась как ни в чем не бывало. Прячась за иронию, она рьяно принималась за работу внутри своей раковины, этого дома, вознесшегося под шатром света—там, где не знали, что такое молоток и гвозди,—этой пуританской цитадели, пусть не очень прочной, но устойчивой, в этой обители духа, в последнем оплоте надежды и отчаяния. Мы пригибались под враждебными ветрами чужой стороны, нас швыряло ночами в этом первобытном море, у штурвала сменялись женщины, мы были жалки и ничтожны перед громадой нашего великого белого кита.

И по сей день можно увидеть в прерии эти пустые дома, те самые, из заземленных грез первых пуритан, продававшиеся и перепродававшиеся, вроде нашего дома, который постигла эта участь перед первой мировой войной. Они еще живут в памяти тех, кто бежал в иные города, иные поселки, где их снова ждала борьба. В моих ночных кошмарах наш небольшой светлый дом множится на десятки своих подобий, и их все увлекает поток времени. Нырни в его воды, поищи среди этих покинутых стен сокровища, озари смыслом жестокое прошлое. Мощно, как радий, излучают в моей памяти свет эти домишки, затонувшие в странно мерцающих морских глубинах.

В этой ореховой скорлупке, называвшейся домом, бабушкины мысли вертелись вокруг ангелов, тайной вечери и вознесения девы Марии. В этой карающей пустыне с нами был карающий господь. Мы читали

псалтырь и про христово воскресение и про женщин, пришедших ко гробу в то утро. Бабушка готовилась к жизни в раю. Она верила, что попадет именно туда, как попадут туда близкие ей люди. Дольний мир превратился в вотчину дьявола.

Земля колонистов была не самым лучшим местом, чтобы сохранить в чистоте христианскую мораль, тем более когда приходится думать о шейных платках собственной вязки, корсетах, перчатках, шляпах и длинных, по щиколотку, юбках. Твердокаменная, с давно застывшей иронической улыбкой на каменном лице—такой она нам и запомнилась, когда в возрасте восьмидесяти пяти лет господь наконец забрал ее из этого ада.

После второй мировой войны я приехала в прерию, чтобы найти наш дом. Он стоял на своем месте, хотя поселок за это время превратился в индустриальный центр. Луч солнца, светившего через мое плечо, привел меня на нужную улицу. Дальше уже притягивал особенный свет, исходивший от дома. Вот он, на углу широкой улицы. Видимо, не так давно его освежил белой краской какой-то благочестивый протестант. Переднее крыльцо выстояло, как выстояли столбы, не давшие покоситься крепкой крыше. Окно-иллюминатор было на своем месте. На заднем крыльце даже сохранилась решетка, правда, розы выродились. Сохранивший верность дому сиреневый куст, хотя и запущенный, нестриженный, тоже был на месте, и, как прежде, росли мелкие ирисы возле фундамента из речного песчаника, благодаря которому дом держался так трезво и прямо. Виноград одичал. Уцелела одна груша, имевшая вид пожилой матроны; надо думать, дерево еще плодоносило. Судя по бутылкам из-под виски, которыми были заставлены ступеньки, ведущие в погреб, новым обитателям дома, видимо, пришлось много пережить. Рядом со вторым погребом валялась кукла с оторванной головой. Правда, были произведены кой-какие перестройки; например, в одной из кладовок сделали уборную, как только в деревне провели воду. За газоном явно ухаживали, а у заднего крыльца я даже заприметила несколько лилий.

Когда мне открыли, я с робостью перешагнула порог: знакомые уголки детства обступили меня.казалось, вот сейчас мне навстречу шагнет бабушка, высокая, прячущая длинные руки под передником. Видишь,

скажет она, какой хороший дом я построила. Да, скажу я, даже пол не просел, ты все построила на славу.

Обои, наверно, не раз переклеивали. Это было странно и прекрасно — снова оказаться в этой коробочке, где ты чувствовал себя в безопасности. Не только дерево, но самый дух нашей плоти и истерзанной плоти столетия оживали сейчас внутри этой раковины улитки, оставляя следы, сокровенные, как вещество мозга. Я легко представляла себе, как поколение за поколением делали желе из виноградного сока и как они красили добротный остов в яркие тона, благодаря чему эта чудесная дорическая раковина сохраняла память о том, какая скрытая сила была заключена в характере моей бабушки.

Наша хрупкость оборачивалась нашей силой. Этот священный дом был, казалось, увенчан летней шляпой — девической, свободного фасона — вроде бабушкиной. Дом пережил, как пережили мы, гибель эпохи, вихри человеческих судеб, враждебность американского Среднего Запада.

Когда машина отъехала, мне не было нужды оборачиваться: дом, словно ящик Пандоры, открылся во мне, залитый апокалипсическим светом.

Путь от патриархального хозяйства пионеров до машинной цивилизации уместился в границах одного поколения. На моих глазах кое-кто прибирал к рукам пахотные земли, и тысячи людей оставались без куска хлеба. В год моего рождения, несмотря на проведенные народной партией антимонополистические законы, произошел первый гигантский прирост капитала у династий Хилла и Моргана, решивших обеспечить будущее своих детей (так они говорили), и детей их детей, и так до десятого колена. Я рада, что была свидетельницей и жертвой разорения, мытарств и отчаяния моего народа.

Всякого повидали мы на своем веку: расцвет фермерства, незримый гнет невесты где живущего хозяина, почти колониальную зависимость, войны, налоги, высокие проценты и закладные. Я помогала объединиться решительно настроенным рабочим и фермерам, этим Давидам с пращами, которые вышли против захвативших власть Голиафов.

После короткого пребывания в Канзасе мы вернулись на Север в самый разгар депрессии и забастовочного движения, накануне предательски развязанной

первой мировой войны. В Народном колледже в городке Форт-Скотт, штат Канзас, моя мать познакомилась с Артуром Лесюэром, который вместе с Эллен Келлер, Юджином Деббсом и Чарльзом Стейнмецем основали эту единственную в своем роде рабочую школу Америки. Тысячи фермеров и бедняков, шахтеры и прочий трудовой люд заочно осваивали здесь рабочее законодательство, родной язык и историю рабочего движения.

Моя мать была среди тех, кто стоял у истоков одной из самых замечательных наших книжных серий — «Литтл блю букс». В своих лекциях она цитировала Маркса, Джефферсона и Тома Пэйна, а рабочие спрашивали, кто они такие. Дешевых изданий их трудов тогда не было в помине. Мать предложила выпускать книжки карманного формата по чисто символической цене. Миллионы экземпляров этой серии распространялись на полевых станах, в товарных вагонах, на заводах.

Артуру и Марианне Лесюэр не пришлось бы в голову сказать, что они какие-то особенные, нет, они были солдатами целой армии героев, мужественно восставших против властителей обширной новой империи. Они участвовали во всех прогрессивных движениях, отдавали им все силы и никогда не расписывались в своем поражении. До самой смерти, а умер Артур восьмидесяти пяти лет, он боролся за отмену смертной казни. А Марианна в семьдесят пять баллотировалась в сенат, агитируя избирателей во всех уголках штата выступать с осуждением войны.

Артур родился в семье радикалов на острове Джерси. После поражения французской революции его родители перебрались на другой берег Ла-Манша, куда последовал в изгнание и Виктор Гюго. Оттуда уже они отправились в Миннесоту в поисках свободной земли и обосновались в плодородной долине неподалеку от Гастингса, в родном городе Игнатиуса Доннелли, Нинингере, которому предстояло стать жемчужиной Миссисипи, новыми Афинами. В первый год своего пребывания в Америке они пренебрегли законами рынка, когда привезли картофель на продажу в Чикаго; так им был преподнесен первый урок на тему: «Что такое монопольное право и контроль за распределением». После смерти матери Артура трое подростков и их сестра Энн принуждены были работать на своей земле в поте лица, чтобы пережить депрессию.

Когда отец Артура избил кнутом банкира, пришедшего аннулировать его права на заложенную ферму, юноша впервые столкнулся с судопроизводством. Он решил стать адвокатом, чтобы защищать бедняков. До шестнадцати лет он почти не рос — даже овсянки, и той не хватало, — а когда собрался было сесть за парту, уже вышел из школьного возраста. Зато заработанных на уборке урожая денег хватило на то, чтобы записаться в юридическую школу в Энн Арборе, где ему дали кличку Зубр. Он купил подержанную маккормиковскую жнейку и летом нанимался убирать урожай, зарабатывая на учебу. Получив диплом, он открыл свою контору в Миноте, штат Северная Дакота, интерьер которой составляли кухонный столик, два стула, свод законов и ружье. Он защищал переселенцев от произвола, а еще немного подрабатывал в качестве адвоката у Джима Хилла.

В юности он затеял теологический диспут с самим епископом Уипплом из Сент-Пола, которому случилось зайти на их ферму. Девяти лет от роду, в поле во время пахоты, он бросил вызов самому Создателю; пусть или как-то проявит себя, или уж вообще помалкивает. Или пусть поразит его на месте. Ответа не последовало. Избавившись от страха, зависимости и чувства перво-родной вины, он обрел достаточно сил, чтобы стать защитником народа. Изучая по ночам Маркса под блеск воды Маус Ривер, он сделался социалистом. От партии социалистов его избрали мэром Минота, и в первый же день вступления в должность он был арестован, после того как отдал приказ снять с заключенных кандалы и выбросить их в реку. Его арестовали за уничтожение городского имущества.

Он полюбил быт переселенцев и впоследствии оплакивал его утрату. Он был коренастым мужчиной с мощным торсом пахаря и стойкой боксера, с загорелым обветренным лицом жителя прерии. Он отличался необыкновенно развитым чувством ответственности, пылким стремлением к социальной справедливости, был неподкупен до смешного. Он верил в то, что мы называем словом «натура» и что является нашим корнем, который нельзя ни купить, ни продать, ни заполучить на стороне. Одних она превращает в заядлых озорников, Артура она превратила в общественно-го защитника. Это был своего рода кодекс чести, отваги и справедливости. Он предъявлял суровые требования к себе и к людям. Когда страсти в суде накалялись, он испытывал прилив сил, точно боксер на ринге, и тут он пускал в ход все возможные уловки,

чтобы закон помог отстоять права угнетенных. Во время уличных дебатов он выступал с импровизированной трибуны вместе с членами партии Индустриальные рабочие мира (ИРМ) и вместе с ними был арестован. Он отказался покинуть здание тюрьмы и на суде выступил с защитительной речью. Однажды, когда банкир ему объявил, что домашний скот, заявленный им в качестве залога, уже ему не принадлежит, он привел стадо «пастись» на ступеньках банка со словами: «Можете пересчитать!» Без борьбы он бы просто зачих. Он ясно видел перед собой противника и не позволял себе недооценивать его истинной силы, как, впрочем, и своей собственной.

Он не пил, был стеснителен и целомудрен. Он рассказывал моим детям сказки про Джонни Стебелька и про легендарного дровосека-великана Пола Беньяна, знал массу историй о переселенцах. Он любил стихи Роберта Бернса и умел рассказывать смешные байки с местным акцентом.

Он черпал силу в земле, в народе. Была у него слабость: он обожал учить. Народ, считал он, способен понять все. Он считал, что сам он всему научился у масс. Он исколесил из конца в конец Миннесоту и обе Дакоты в своем стареньком автомобиле, с картой-разверткой на коленях. Я побывала с ним во многих деревеньках, распространяла листовки по железной дороге в Миннесоте. Действовать приходилось со всеми мерами предосторожности, ведь пинкертоновские ищейки и головорезы, нанятые промышленными магнатами, не спускали глаз с агитаторов и за распространение подрывных материалов людей убивали на месте. Мы приезжали днем, получали разрешение на аренду школы и сразу начинали раздавать листовки с таким напутствием: «Смотрите в оба, а то зерновая биржа опять вас надует!» После мы ужинали в доме у кого-то из друзей или же закусывали бутербродами прямо на площади. А в семь вечера звучал школьный звонок, зажигалась подвесная керосиновая лампа, на стене развешивались диаграммы.

Диаграммы эти свидетельствовали, что зерновая биржа оценивала первосортную пшеницу по третьему сорту, выкачивая из фермеров миллионы. Артур выявлял не только плохое, но и хорошее, показывал, как можно добиться лучшего. Брал в союзники Джона Уэсли Пауэлла, доказавшего в 1878 году, что участок в сто шестьдесят акров себя не оправдывает. Землю надо обрабатывать сообща, нужны также общинные пастби-

ща и общественный контроль за водными ресурсами. Пауэлл показал, что вспашка плугом приведет к пылевым бурям, а порубки леса — к наводнениям. На последней странице своего исследования автор наглядно показывал, как горстка людей прибрала к рукам общую землю, проведя во все концы железные дороги и установив монополию на пшеницу, — например, Пиллсбери и Уошберны, которые, как выражались фермеры, появлялись на свет с официальной печатью на ягодицах, гарантировавшей им место в Конгрессе.

Слушатели почти всегда уходили ободренные после горячих речей в амбарах или на массовых пикниках, собиравших целые деревни, десятки семей, съезжавшихся в экипажах. Женщины затевали грандиозные пиршества и пели хором «Один у нас кормилец — фермер» и «Боевой гимн республики», а иногда «Наш флаг окрашен кровью тех, кто отдал жизнь за нас за всех». Если в юные годы, когда вы дрожали, как осина, на ветру истории, вам не приходилось слышать людей, вдохновенно поющих вместе, вы не сможете представить себе эти политические вакханалии в зарослях хлопчатника или в открытом поле с выставленными пикетами, способными в ясный день обнаружить врага за пятьдесят, а то и за сто миль.

Последним вывешивалось воззвание Игнатиуса Донелли: «Возвратись в свои шатры, Израиль! Отберите плодородные земли у жадных плутократов и отдайте народу! Простые люди Америки должны быть не пешками и не послушными автоматами в руках монополий, но хозяевами своей жизни и своей страны. Родился на свет ребенок — партия трудового народа, смотрите, какой великан! Его кровь пульсирует в сердцах десяти миллионов, жаждущих лучшей доли. Его молот зажат в мускулистой руке армии труда. Это ваша партия. Троны тиранов шатаются. Включайтесь в борьбу!»

Разом все всколыхнулось. Трудовой люд, мужчины и женщины во всех концах штата обрели надежду. Они были разного происхождения, и родной язык у каждого был свой, но с этого дня они дружно пошли за своими ораторами, за теоретиками и практиками нового дела. Наконец-то они вывели на чистую воду своих лицемерных благодетелей, прикармливающих их урожаи и саму землю. Они стали задаваться вопросами, почему плодородная почва и богатая белками трава не обеспечивают им сносного существования, почему сельско-

хозяйственная техника стоит такие бешеные деньги, стоило ли резать землю на столько мелких наделов.

Повсеместно началась кровавая забастовка. За одно только требование восьмичасового рабочего дня рабочих готовы были убивать. Арестовали Билла Хейвуда. Шахтеры требовали прибавки к зарплате и сокращения рабочей смены. Сразу было переброшено несколько тысяч солдат из соседних штатов, в миннеаполисском штреке, где была крупнейшая контора по найму на всем северо-западе, полным ходом шел набор штрейкбрехеров. Солдат из охраны компании убил разносчика Литвалу. В радиусе двадцати миль все наиболее активные организаторы забастовки были схвачены. Безоружным шахтерам предъявили обвинение в убийствах. Арестовали лидеров партии ИРМ.

Артур был одним из ее учредителей на конвенции 1905 года. Он выступил в Ладлоу адвокатом шахтеров, чьи жены и дети были принесены в жертву интересам Рокфеллера. Он защищал «дикого» Билла Хейвуда. Он защищал членов партии ИРМ и участников антивоенных манифестаций.

В наши дни мало кто знает, а узнав, не бывает поражен тем, каким оскорблениям и судебным преследованиям в начале века подвергалась ИРМ, социалисты и борцы против войны. Тогда узнать правду было куда труднее. За антивоенную деятельность нашу семью не только изолировали от мира, в нас стреляли, книги потрошили и сжигали во дворе нашего дома на Дэйтон-авеню неподалеку от церкви св. Павла, окна разбивали булыжниками, завернутыми в записки непристойного содержания. Организаторов Легального союза избили, вымазали смолой и вывалили в перьях. Нет ничего ужаснее смолы. Несколько дней я осторожно отдирала ее от тела пострадавших, боясь с ней вместе отодрать кожу. В Миннесоте находилась штаб-квартира Комитета бдительности, официальная фашистская организация с неограниченными возможностями, во главе которой стоял губернатор Берксист; комитет еще называли Комиссией по охране общественнойности.

После своей манифестации в Ред-Уинге, во время которой ее участники не без умысла пачкали машины красной краской, они решили устроить облаву на Чарльза Линдберга-старшего. За основной группой увязалась толпа зевак. Начали с того, что заляпали желтой краской амбар Линдберга. Его самого скорее

всего вывозили бы в смоле и в перьях, не случись проезжать мимо паровозу, где кочегаром был антивоенный активист,— он остановил паровоз, втащил на подножку убежавшего Линдберга и оторвался от «бдительных» преследователей.

В 1916 году на съезде в Сент-Луисе в соцпартии произошел раскол из-за разных позиций в отношении войны. Артур и Марианна Лесюэр голосовали против участия в войне. В сенате единственным, кто подал голос против участия в войне, был Ла Фоллетт от штата Висконсин. Его портрет в здании конгресса штата, в Мэдисоне, перевернули лицом к стене. На улицах люди оплевывали Ла Фоллетта.

Фрэнк Литтл, член партии ИРМ, работавший на металлургическом заводе, примкнул к забастовке шахтеров в Батте. Его, хромого, выволокли из дешевых номеров и повесили на перилах моста. Вся его вина состояла в том, что он посмел выразить свой протест, после того как сто шестьдесят три шахтера погибли в результате взрыва на шахте, принадлежавшей компании «Анаконда».

Годы войны были для нас страшные годы. Почти никто из ребят, с которыми я училась в школе, не вернулись с фронта. Я и мои братья как бы зарылись в землю. Мы не отваживались ходить в школу. Но в 1918-м к власти в Северной Дакоте пришли социалисты из Легального союза. В течение года губернатором и большинством среди законодателей были социалисты. Были экспропрированы элеваторы, шахты и газеты. Вместе с другими правоведами и фермерами Артур выработал первое рабочее законодательство. Туда были включены статьи о социальном страховании и компенсациях для безработных, о ликвидации монополий и отзыве выборных лиц. Позже многие из этих статей вошли в общенациональный свод законов, принятый в период «нового курса» президента Рузвельта.

Радикалы ушедшей эпохи поражали своим неистребимым оптимизмом. Артур не раз бывал свидетелем того, как боевые организации предавались, громились, уничтожались, загонялись в глухое подполье, а вожди и их последователи попадали в черные списки, терроризировались и даже физически уничтожались. Артура могли подмять, но не сломить. Он знал, что народ выстоит. В шестьдесят лет его кандидатуру выдвинули на пост городского судьи, но он проиграл избирательную кампанию кандидату с сильной финансовой под-

держкой. Он же располагал лишь голосами бедных. В восемьдесят с лишним, наполовину ослепший и, по сути, уже отошедший от дел, он взялся защищать узников в Стиллаутере, осужденных, как он считал, несправедливо.

Я росла в примитивном мире насилия и многому была свидетельницей. Мне посчастливилось в моменты катаклизмов видеть обнажившимися наши геологические и социальные корни. Я убеждалась в том, что мы не витали в облаках. Я была привязана к месту и времени, когда все освобождалось от иллюзий. Я убеждалась в том, что земля и люди — это реальность в непрерывном движении и она достойна нашей любви.

Я пошла в лучший колледж. Я жила в месте небывалых геологических сдвигов и социальной пестроты. Здесь, как и в местном климате, царили резкие контрасты, как бы узаконенные этой глушью. Колебания маятника происходили открыто, и амплитуда была максимальной. Переселенцы, коренные жители, вчерашние революционеры, а ныне политэмигранты — в каждом таился бунт, взрыв, как и в самой почве, ландшафте, грозовой атмосфере. В лесу под нашими ногами лежал слой перегноя, образовавшийся за миллионы лет существования рек и Великих озер. Около пятисот миллионов лет назад долину Миссисипи попеременно затопляло море и сотрясали вулканы. Мы ступали по ледниковому наносу, по земле, которая горела, взрывалась, лежала под паром, давала всходы. Четыре с половиной миллиарда лет хранила она в себе железо, медь, никель и золото. Уже при мне снег заразила радиация и почву отравил стронций-90. Лишайник вырастал в самых неожиданных местах. Эти непонятные коллизии порождали могучих людей. После возвращения из другого измерения особенно отчетливо видишь, какие здесь глубокие корни и как вздыблена земля.

Здесь привычна оседлость четырех-пяти поколений диссидентов, радикалов, сектантов, аболиционистов, «красных» республиканцев, антимонополистов. Все эти движения имеют здесь такие глубокие и извилистые корни, как люцерна.

Меня вскормило это место и время и люди. Наш дом на Дэйтон-авеню принимал диссидентов, его сотрясали отважные речи радикалов. Сильнейшее влияние оказали на меня все, кто был связан с ИРМ. Они были

убеждены, что только из рабочей среды могут выйти поэты и певцы, пророки, герои и мученики. Они путешествовали в поездах со своими красными книжечками в кармане и сразу объявлялись там, где кто-то покушался на права собратьев-рабочих. Остановливаясь у нас передохнуть, поесть, принять душ, они рассказывали леденящие душу истории о разных случаях в товарняках, о своих выступлениях в поле и доках Сан-Диего, о лесорубах и ожесточенных дебатах в Сиэттле. Они знали, в каких тюрьмах можно отсидеться зимой, если хочешь иметь сносную еду, читать книги и заниматься самообразованием.

Чарльз Эшли, сын английского лорда, вооруженный тростью и томиком поэзии, просвещал фермеров и читал им стихи прямо на пшеничном поле. Джо Хилл, высокий блондин с необыкновенными голубыми глазами, пел в Гэйтуэе и в Сент-Поле, на митингах в парках, где простые люди собирались вокруг импровизированных подмостков. Выступавших нередко обрывала полиция, и ночь они проводили за решеткой.

Они носили с собой малоформатные сборнички стихов, листовки с текстом песен и революционные песенники карманного издания. Они носили с собой газету «Призыв к разуму» и распространяли до миллиона экземпляров. На заработанные во время полевой страды деньги они могли открыть школу на Хэннепин-авеню или в прибрежном поселке, где всю зиму изучали классовую борьбу. Они постигали поэзию и умудрялись учить, не имея учебных пособий, и за все это их ждала тюрьма. Они были проводниками, по которым распространялись электрические заряды.

Кэйт Ричардс О'Хэйр, рослая ирландка, арестованная в Северной Дакоте за антивоенные выступления, перед тем как предстать перед судом, пришла к нам. Она возглавила марш детей, чьих отцов арестовали в Оклахоме во время так называемого «кукурузного бунта»: мужчины, не желавшие идти на войну, засели с охотничьими ружьями в зарослях кукурузы, откуда их потом выбил отряд милиции. Кэйт повела детей в Вашингтон, по дороге их подкармливали фермеры. К ужасу президента Вильсона они явились к Белому дому, оголодавшие, в лохмотьях, и потребовали амнистии для своих отцов.

Дом моих родителей был небольшой, двухэтажный, почти копия бабушкиного, с широкой лестницей, на которой могли усестись человек пятьдесят. Имен-

но здесь мы слушали рассказ шахтеров из Колорадо, представших перед нами в плачевном виде. Сюда тайком пробрался Линкольн Стеффенс, объявленный президентом вне закона, пробрался, чтобы рассказать всем о том, что происходит в России.

Здесь скрывался Билл Хейвуд, одноглазый гигант из шахтеров. Он разговаривал с нами, меряя шагами крошечную комнатку. Его выпустили под залог, и вот он объяснял нам, как надо уметь преодолевать свои слабости, если хочешь повести за собой рабочих. Он признался, что равнодушен к спиртному и, случается, уходит в загул, тогда он не пропускает ни одного питейного заведения, задирается, ввязывается в драки, читает вслух стихи. А потом вдруг протрезвеет, вспомнит про жизнь рабочего люда — и сразу возьмет себя в руки, снова берется за Дарвина и Моргана, Лондона и Маркса. Особенно он любил Шекспира и мог шпарить наизусть целые сцены. Иногда он постился, чтобы укрепить дух.

Хейвуд рассказывал, как он впервые сел за парту вместе с шахтерами. Они обменивались литературой, а учил их самый среди них грамотный, студент или просто грамотей. От одного из таких грамотеев он услышал лозунг «Обидеть одного — значит обидеть всех». Он рассказывал, какое впечатление произвели на него узники Хеймаркета. От них словно бы исходил яркий свет. Хейвуд казался мне гигантским растением, выросшим из копей, из мрака и ужаса, впитавшим в себя жизни всех шахтеров. Он рассказывал, как их калечит труд, какие у них пепельно-серые, омертвевшие лица, как они гибнут от свинцовых испарений. Он всех оплакивал и за всех готов был сражаться. Такого человека мне еще не приходилось видеть.

Кларенс Дарроу говорил одиннадцать часов во время суда над Хейвудом. В одном Бостоне тогда прошли по улицам пятьдесят тысяч демонстрантов. Рузвельт объявил Дарроу «нежелательным элементом», и тогда мы вышли на улицы с плакатами «Я — нежелательный элемент». В своей речи Дарроу сказал: «Я говорю от имени бедных, слабых, измученных, от имени бесконечной вереницы людей, которые во мраке и отчаянии дали жизнь человеческому роду». Весь мир ждал исторического дня, когда присяжные признают Хейвуда невиновным. Он похоронен в Кремлевской стене.

Совершенно особенным человеком был Юджин

Деббс. Он смело говорил о своей любви и не стеснялся целоваться открыто. Наш пуританский край не был приучен к такому проявлению чувств, Деббс же целовал своих товарищей, детей, женщин. Нигде, кроме как на Среднем Западе, не мог появиться такой человек. Он в равной степени знал поэзию и устав ИРМ или язык простых людей. Его питательной средой была народная среда, их чаяния, и теперь он им возвращал все сторицей.

Он вырос и возмужал в борьбе. Его любовью была Америка и ее народ. Он сидел у нас на кухне и читал наизусть предсмертную речь Джона Брауна. Он был верен ораторскому искусству, поэзии и любви. Он был высокий, тощий и двигался, как некоторые деревенские подростки, словно стесняясь выбрасывать вперед свое худосочное тело. Его красивое лицо, облысевшая голова, весь его облик излучали доброту. Он был не прочь выпить в кабачке с работягами, почитать им стихи, произнести речь или просто рассказать о чем-нибудь, а потом и их послушать.

Он был блестящим оратором. В эпоху, когда не было усилителей, его проникновенные слова звенели, как колокол, словно сам он был резонатором. Он расхаживал взад-вперед, воздевая к небу длинные руки и обращаясь к публике одновременно как учитель и как влюбленный. Во время президентских выборов 1908 года он и Артур были участниками «красной эстафеты»: каждый час паровоз останавливался, и они произносили речи с открытой платформы, а на перроне их слушали фермеры и рабочие.

Была такая традиция: когда Деббс заканчивал речь, девочки преподносили ему красные розы. Мы приходили в белых платьицах, с розами цвета крови рабочих. Каждая что-то ему говорила, а он, высоченный, ласково к нам наклонялся. Никогда не забуду, как на глаза навернулись слезы, когда я обратилась к нему со словами из его речи: «Наше единственное желание — чтобы земля принадлежала народу». Он принял цветы и, наклонившись, перецеловал нас всех. Вокруг тоже плакали. Это было внове для нас — чувство нежности. Однажды в Сизэттле я познакомилась со старым человеком, который по прошествии пятидесяти лет вспоминал солнечный день в парке и все, слово в слово, что говорил тогда Деббс, и при воспоминании об этом у него тоже увлажнились глаза.

Помню взволнованный рассказ Деббса, как в Сент-Поле, на углу 4-й улицы, он столкнулся лицом к лицу с самим Джимом Хиллом, чьи поезда он задержал во

время пульмановской стачки 1896 года, и как этот циклоп заявил ему, что ни один из его рабочих не присоединится к забастовке, уж он-то, мол, знает своих путейцев (в некотором смысле он их, конечно, знал). Но рабочие последовали за Деббсом — и победили. Деббс рассказывал: когда его поезд отходил от станции, тысячи забастовщиков молча стояли на путях с непокрытыми головами. Они стояли с кирками, их лица сияли, хотя в глазах были слезы, и честь, которую они ему оказывали, была для него дороже всех цветов мира. Эти пророки распаханной прерии, эти герои народных саг по сей день живут в здешних корнях, в стеблях травы.

ВЕСЕННИЙ РАССНАЗ



ткрыв глаза, она сразу вспомнила, что наступило пасхальное утро. Белые льняные занавески надувались в полуоткрытом окне, словно подавали знак кому-то снаружи. Прохладный воздух проникал в комнату, нес с собой ощущение чего-то необычного. Она долго лежала, прислушивалась к шуму ветра, к звукам наступающего дня. Мать уже два раза звала ее снизу. Теперь позвала в третий:

— Юнис, ты не собираешься вставать? Месса в девять. Ты должна отвести мальчиков.

Юнис не ответила, затихла, прислушиваясь к ветру, притворяясь спящей. Свежий ветер, казалось, побывал во всех уголках дома. С самого утра младший братишка бегал, кричал, хлопая дверью, выскакивал на улицу. Ее забавляло, что голоса вдруг стали звучать совсем не по-зимнему. В полусне она слышала зазвеневшие в воздухе детские возгласы и смех. Мимо дома прогрохотала повозка молочника — цоканье копыт и скрип колес тоже звучали иначе, звонко, весело. Зимой все звуки были глухими, словно застывали в воздухе, а вот теперь они оттаяли, проснулись, приободрились и влезают один за другим к ней в окно вместе с этой приятной прохладой.

Вскочив с кровати, она подбежала к туалетному столику, слегка наклонила под углом зеркало. Так она могла видеть свое отражение лежа в постели, — золотистые волосы рассыпаны по подушке, на нежном лице — улыбка. Будто завороченная, она разглядывала себя. Голос матери послышался теперь совсем рядом,

на лестнице, на этот раз слова прозвучали более отчетливо, чем из кухни, но смысл их не доходил до размышлявшей девушки.

— Юнис, я не собираюсь разогревать блинчики. Уже восемь.

Слова матери, казалось, донеслись с другой планеты. Но через несколько минут девушка все же поднялась с постели, почему-то с удовольствием наблюдая за своими движениями в зеркале. Двигаясь по комнате, она касалась окружающих ее вещей, подойдя к зеркалу и откинув со лба волосы, долго вглядывалась в свое лицо. Присев на кровать, она принялась натягивать чулки, то и дело останавливалась, оглядывая ноги и вновь бросая взгляд на свое далекое и такое привлекательное в повернутом под углом зеркале отражение. Она смотрела на свои руки и ноги и представляла себе предметы, которых ей еще только предстоит коснуться, и дороги, по которым ей предстоит пройти.

— Я не буду закрывать окно,—прошептала она, беззвучно шевеля губами, и ей даже почудилось, что не она произнесла эти слова,—я не закрою окно. Что-нибудь обязательно произойдет, если я наберусь смелости и не закрою его, настоящая жизнь ворвется сюда.—Холодный воздух медленно проникал в комнату.

Все это время, пока она лежала, сидела, одевалась, ей казалось, что она становится взрослее и красивее. Этот прилетевший к ним издалика ветер не только пробудит и заставит плодоносить землю, он и в ней разбудит новые, пока смутные желания, которые в один прекрасный день созреют. Она ощущала, как сама округляется, наливается соком, будто плод на неведомом дереве.

Белые занавески надувались, то влетали в комнату с внезапным порывом ветра, то вырывались наружу. Из ее окна был хорошо виден огромный вяз на заднем дворе. Почки на нем совсем не были заметны, просто казалось, что окутанные красновато-коричневой дымкой ветки напряглись и заострились. Сквозь разветвленную, как оленье рога, верхушку просвечивала голубизна неба. Вдруг выглянуло солнце, его тонкие, золотистые лучи полились на еще не оттаявшую землю. Подбежав к окну, она подставила теплу обнаженные белые руки, светлые волосы заблестели на солнце. Видно, ей пришла пора расцветать. От этой мысли ей стало весело, и, отодвинув занавеску, она высунулась из окна навстречу ветру.

Внизу слышались звонкие голоса, по дорожке, весело болтая, приближались мальчишки, взбудораженные ярким солнцем и воздухом, словно стайка воробьев. Забираясь на покосившиеся изгороди, они добывали из щелей остатки почерневшего снега, чтобы кидать друг в друга. Неожиданно из погребца прямо как из подземного царства показался ее дядя. В руке он держал лопату и грабли.

— Ты забыл пальто,—крикнула она, просто потому, что ей очень хотелось закричать навстречу сильному ветру и сверкающему свету.

— Ты забыл пальто!—пропела она, получая удовольствие от того, что можно вот так высунуться и кричать. Удивившись, он задрал голову и посмотрел на дерево, будто его окликнули оттуда дрозды. Юнис рассмеялась, откинув назад распушенные волосы.

— Я здесь, в окошке, дядя Джо.—Сверху он казался ей невысоким, меньше, чем был на самом деле.

— Ах вот ты где,—пробормотал он, улыбнувшись. Она чувствовала, что ему приятно смотреть на нее.

— Уж не собираешься ли ты поработать в воскресенье,—крикнула она и захохотала.

— Хочу освободить луковицы канн, пусть подышат воздухом, прогреются.—С лопатой и граблями он направился к углу дома, рядом с которым в прошлом году цвели канны, и принялся рыхлить землю. Девушка следила за ним, и на мгновение, как наяву, перед ней вспыхнули алые, будто язычки пламени, бутоны среди темно-зеленой, сочной листвы. Прошлым летом каждый раз, когда она приближалась к цветам, они поражали ее. Потом огоньки погасли, а сочная зелень увяла. Но вот пройдет время, и они вновь появятся, величественные и чарующие, словно из сказки, а для нее, когда они расцветут, начнется новая пора, полная неожиданностей и волнений.

Фигура дядюшки, рыхлившего землю, то и дело приковывала к себе ее взгляд. Он помогал растениям начать новую жизнь. Ритмично двигаясь, чуть подавшись вперед, он целиком ушел в работу. Привычка обрабатывать землю, получать с нее урожай, сделала его тело ловким и гибким. Дядя приехал к ним не так давно, покинув ферму в Айове. После смерти тети Эммы у него стало побаливать сердце и родственники решили, что оставаться там одному слишком опас-

но. И вот теперь он перебирался из дома в дом, живя по очереди у братьев и сестер, и находил себе нехитрую работу, вроде той, что увлекла его сейчас.

Юнис наблюдала за ним и думала о том, что его жизнь близится к концу, впереди смерть. И все-таки именно он так старается, чтобы поскорее ожили канны. Она смотрела из окна, как он трудится. На нем была голубая рубашка, на голове небольшой черный картуз. Внешне он отличался от остальных представителей мужской половины их семейства,—небольшого роста, коренастый. Несмотря на годы, в нем ощущалась сила, с какой ей прежде не доводилось сталкиваться в людях. На широких запястьях и на груди, чуть заметной из приоткрытого ворота рубашки, виднелись густые черные волосы. Он насквозь был пропитан запахом табака, и этот крепкий запах напоминал о его ферме, где паслись лошади, зрела пшеница и где прошла его жизнь с молчаливой, похожей на выносливое дикое растение, тетей Эммой. Он и держался совсем не так, как ее отец и дяди. Энергия переполняла его, и поэтому все, за что он брался, он делал с удовольствием. Было приятно смотреть, как он работает. Он рыхлил землю, нагибался, подбирал скопившийся за зиму черный и скользкий мусор и бросал в жестяную бочку, стоявшую за его спиной. Расчищенная им земля с блеклыми ростками травы и пробивающимися побегами канн напоминала нежную, недавно поджившую кожу.

Довольный, он посмотрел на Юнис.

— А вот и они. Их не проведешь. Могут побиться об заклад, что и под всем этим хламом они знали, что пришла весна.

— Откуда им знать?—крикнула она. Он задрал вверх голову, но взгляд его голубых глаз скользнул мимо нее. Он ничего не ответил. Она почувствовала смущение, как это часто случалось с ней в его присутствии. Нагнувшись, он сгреб очередную порцию мусора и бросил в бочку. Над ним набирали силу ветки темного вяза. Ветер сорвал с его коротко стриженной головы черный картуз. Он подхватил картуз, надвинул его крепче и вновь склонился к земле. Девушка высунулась из окна подальше, чтобы лучше видеть, как он работает. Ветер все не утихал, приносил ощущение свежести. Внизу упорный человек уничтожал последние следы зимы, выпуская наружу зеленоватую дымку, едва забрезжившую над землей.

— Который час, дядя?—наконец спросила Юнис.

Выпрямившись, он вынул из кармана золотые часы:

— Четверть девятого. Ты прозевала блинчики с медом, которые твоя мама напекла нам к завтраку. Я съел целую дюжину.

— Привет!—из кухонной двери, застегивая рубашку, показался ее средний братишка Джим. Он только что умылся, лицо его блестело на солнце.— Поторапливайся, Юнис, я встал в семь.

— Джим,—окликнула его мать,—уйди сейчас же с холода, ты же после душа.—Хлопнув дверью, Джим вошел в дом.

С шумом прикрыв окно, она повернулась к нему спиной, и ей показалось, что в комнате темно и тесно. Торопливо собираясь, она радовалась, что ей пора идти.

Дорога к собору, куда направлялись дети, петляла между высокими прямыми деревьями. «Похожи на черные свечи»,—подумала Юнис, идя рядом с братьями. Со всех сторон, сквозь лабиринт деревьев, спешили люди. Стайки мальчишек останавливались, чтобы покормить белок, охотно прыгавших к ним с веток. Под деревьями еще лежал снег. Приходилось то и дело перешагивать через маленькие ручейки, перебегающие дорожки. Мужчины разбирали деревянный настил, ведущий к озеру от раздевалки для конькобежцев. Скоро появятся утки и лебеди. Голуби, издавая гортанные звуки, степенно прохаживались туда-сюда. Сверху слышалось чириканье воробьев. Проходя мимо площадки для крикета, братья заговорили о том, что скоро будут играть в бейсбол и теннис. Юнис думала о чем-то своем, не вслушивалась в их разговоры. Этим летом она уже не станет играть в мяч и бегать по парку с подругами. Теперь, после ужина, она будет надевать нарядное платье и прогуливаться по дорожкам, а все мальчишки, увидев ее, умрут от восторга. Придется начинать новую жизнь.

— Джим, зачем ты носишь эту дурацкую фуражку?—Ей почему-то было неприятно смотреть на его бледное лицо под сдвинутой набекрень фуражкой.

— Ты уж заботься о своих нарядах,—ответил Джим, совершенно уверенный в том, что фуражка ему к лицу. Ответ прозвучал так грубо, что ей захотелось плакать, но она отвернулась и перевела взгляд

на Джонни, бежавшего вприпрыжку, поддавая ногой жестянку из-под табака. Останавливать его не имело смысла,—все равно не перестанет, только огрызнется.

Взойдя на пригорок, они увидели высокие башни собора, похожие на двух ведьм в остроконечных капюшонах. С трех сторон по ступеням поднимались люди и исчезали в темных проемах дверей. Со сверкавшей в лучах солнца колокольни разносился звон. Ветер раскачивал во все стороны деревья, как будто и ему передавалось возбуждение торопящихся к мессе людей. Боясь опоздать и привлечь к себе внимание, дети ускорили шаг. Они почти что взбежали по ступенькам, чуть замешкавшись, перед тем, как очутиться в полусумрачной после ослепительной, ветреной улицы церкви. В отдалении, у алтаря, два мальчика зажигали свечи. Чувствуя, что на них смотрят, сестра и братья пошли по главному проходу и, поспешно преклонив колена, проскользнули на деревянную скамью. Шепча затверженные наизусть молитвы, Юнис смотрела на алтарь, украшенный лилиями и ветками папоротника. Пахло воском, из-под сводов собора опускался запах ладана, не выветрившийся после прошлой мессы. Появился священник в свободном черном облачении. Это был немолодой, худощавый человек, с лицом, будто вырезанным из того же старого дерева, что и фигурки святого Иосифа и архангела Гавриила, стоящие по сторонам алтаря. Низким, гулким голосом он начал читать молитву. Держа в руках кадила, ступая подетски неловко, опять появились мальчики,—их тонкие шейки выглядывали из отложных белых воротников, из-под черных одежд виднелись несоразмерно большие ноги. Юнис стало жаль их. Глядя на них, она ощутила себя женщиной. Задумавшись, она пыталась проникнуть в то, что скрывалось за привычным ритуалом службы. То усиливаясь, то затихая, разносились звуки органа, звучали тонкие голоса мальчиков, чистые и звонкие, они тревожили воображение. Она представляла себе их простодушные лица, широко открытые рты, вытянутые вперед от напряжения шеи, в те минуты, когда из их юных глоток льется бесхитростная мелодия.

По-прежнему погруженная в раздумья, она неожиданно заметила худую белую фигуру распятого на кресте человека. Поодаль, в углублении, в ниспадающих одеждах, склонив взор, стояла женщина, его мать. Деревянный алтарь, причудливые фигурки, взирающие на мир кроткими, страдальческими глазами,—все

это она видела сквозь наворачнувшиеся на глаза слезы, охваченная необъяснимым, бурным волнением. Мир полон страданий. Святые у алтаря похожи на любого, кто страдает на земле. Женщина, склонившаяся над распростертым телом мужчины, принявшего в муках смерть свою; взмах резного креста, священник, произносящий молитву,—суровое лицо, слегка откинутае назад как бы собственной тяжестью, седая красивая голова.

Гудели колокола, курился серыми струйками ладан, сливались в единую трепетную ноту голоса юных мужчин. Устав от напряжения, глядя на спинку передней скамьи, она не могла не думать о том, что так волновало ее, вновь вызывая в душе трепет. Не в силах отделаться от преследовавшей ее мысли о предстоящем, она подумала о своей матери, печальной, хрупкой, замученной. Мужчина может быть гордым, независимым. Женщина покоряется каким-то таинственным темным силам, и они побеждают ее.

Ничто не нарушало привычного течения мессы, но все, происходившее здесь, вдруг отошло куда-то в сторону, показалось далеким и маленьким, словно могло поместиться у нее на ладони или вообще творилось в ней самой. Все было исполнено тайного смысла, и ей предстояло эту тайну познать. Священник привычным движением раскрыл лежавшую перед ним огромную книгу, достал чашу со святыми дарами, и она подумала, что вот так же легко откроется тайник, в котором сокрыто семя ее бытия. С волнением она наблюдала за священником, приобщавшим к святому таинству.

Неожиданно все кончилось, время истекло. Братья сидели с нею рядом. Прихожане задвигались, с них сошло оцепенение, в какое повергла их служба, толпа раскололась, задвигалась.

Мальчики пошли к алтарю гасить свечи. Люди шумно поднимались с мест, спеша к воскресному обеду. Джим и Джонни тоже заторопились. Девушка чувствовала себя несчастной и растерянной, но встала и вместе с беспорядочной толпой вышла на ветреную улицу. Стало прохладнее, свет не был столь ослепителен, краски поблекли. Они быстро зашагали, на ходу поднимая воротники. Джонни отыскал припрятанную в снег табачную жестянку и всю дорогу до дома поддавал ее ногой.

Уже возле самого дома Юнис вспомнила о предстоящем пасхальном обеде. Со двора им навстречу выскочил пес. Джим оттолкнул его и прошел вперед. Юнис

задержалась, ей захотелось приласкать зверя, но он напугал ее. Благодарно виляя хвостом, высунув язык, он вертелся вокруг нее волчком и чуть не сбил с ног.

— Уйди, уйди, Малыш,—сказала она.

Джонни покатиł свою жестянку дальше за дом, и пес поплелся за ним, грустно взглянув на нее напоследок.

Поднявшись на крыльцо, почти что в панике, она подумала, что кто-нибудь обязательно попадется ей навстречу, прежде чем она доберется до своей комнаты. Голос отца слышался из гостиной. Она знала, что отец сидит там, расстегнув воротничок, просматривает воскресные газеты.

— Привет, Юнис, тебе дать страничку юмора, считаешь?

С трагическим выражением лица она замерла на ступеньках.

— Господи,—пробормотала она, театрально прикрыв глаза,—страничка юмора!

— Не хочется,—крикнула она, не скрывая раздражения, и, стуча каблуками, взбежала по лестнице.

В своей комнате она бросилась на неприбранную постель и, притаившись, словно зверь в засаде, прислушивалась к звукам, доносившимся снизу. Джонни гонял жестянку по двору, шелестели газетные листы, отец старался погромче прочитать какое-нибудь сногшибательное сообщение, чтобы смогла расслышать мать, то и дело уходившая на кухню.

Она опасалась ненапрасно, беспокойный голос матери спросил о ней, и на лестнице послышалась усталая, медлительная поступь. Ожидая, что через минуту мать откроет дверь, она повернулась к входу спиной. Лежа с закрытыми глазами, она уловила знакомые интонации, представила себе родной облик и неожиданно обрадовалась. Ей было о чем спросить ту, что была умудренней, но вопросы не складывались в голове. Наверно, мать не даст ответа, даже если она и решится спросить.

— А ведь я очень похожа на нее в молодости. Что же случилось с ней?—Не поворачиваясь к остановившейся в растерянности матери, она рисовала в воображении каждую ее черту. Худая, в прошлом стройная фигура, задумчивое выражение лица, когда-то придававшее тонким чертам мечтательность, с годами перешедшую в вечную озабоченность и усталость, еще больше заострившие черты.

— Почему ты не идешь обедать? Ты плохо себя чувствуешь? — С тревогой спрашивала мать, наклоняясь над ней.

— Все в порядке. Не волнуйся, иди. — Мать медлила, не уходила. — Ой, мамочка, — почти беззвучно прошептала Юнис, всей душой желая, чтобы у матери нашлись для нее еще слова, чувствуя на лбу прикосновение тонкой руки.

— Температура нормальная...

Юнис резко села на кровати.

— Ну конечно. Я иду обедать.

Острый приятный запах жареной свинины, поднимавшийся снизу, вызывал чувство голода. Приводя в порядок перед зеркалом спутанные волосы, она увидела в нем отражение матери, стоявшей посреди комнаты, спрятав под фартук натруженные руки. Беспокойные глаза искали в зеркале отражение дочери. Взгляды их встретились, но слов не нашлось. Спускаясь, Юнис не могла отвести глаз от знакомой до мельчайших подробностей фигуры.

— Итак, — произнес отец, раскладывая по тарелкам ломтики жаркого, и по его тону можно было догадаться, что сейчас последует какая-нибудь шутка, — Юнис, странички юмора тебе теперь не по вкусу. Должно быть, мы взрослеем, — обратился он к ней, смущенно улыбаясь, понимая, что его слова задевают ее. Ему хотелось вместе с ней посмотреть смешные картинки, а она, словно важная дама, отвергла это занятие. Уставившись в тарелку, Юнис почувствовала, что краснеет. Переменив разговор, мать обратилась к Джонни:

— Милый, у тебя щеки горят, будто их натерли свеклой, ты слишком много бегал.

Юнис взглянула на круглую мордашку сидевшего напротив брата, на его румяные будто яблоко, шершавые щеки, взлохмаченные ветром светлые волосы. Дядя Джо смотрел на мальчика с нежностью, будто их связывал между собой какой-то секрет.

— Пойдем в парк, Джонни, попросим служителя перевезти нас на остров и показать утку с утятами.

— Здорово, — ответил Джонни, нарезая мясо.

— Можно и мне с вами? — не утерпела Юнис.

— Сиди дома, Юнис, — сказал Джонни. Ему не было с ней интересно, как прежде. Она изменилась.

— Ладно, — торопливо сказала Юнис, опасаясь, что отцу опять захочется ее поддразнить, — у меня свидание.

Но свидания ей никто не назначал. После того, как посуда была вымыта, она начала собираться. В гостиной отец курил возле окна, мать сидела в кресле-качалке с видом человека, недавно вернувшегося из далекого, утомительного путешествия.

— Пока, мама,— Юнис помедлила в дверях,— я пойду прогуляюсь.— Ей были ненавистны вечера, когда мать вот так сидела в кресле, словно чужая в этом доме. На звук ее голоса мать подняла полные внимания глаза.

— Хорошо, родная,— сказала она, опуская на колени книгу,— ты пойдешь с друзьями?

— Нет, я не знаю, где они, пойду одна,— ответила Юнис, и ей захотелось заплакать.

— Хорошо,— повторила мать, вновь берясь за книгу.

Юнис все не уходила, стояла в дверях, оглядывала комнату, где сидели мать с отцом. Чувствуя, что она не может уйти, мать отложила книгу и поднялась. Юнис направилась к входной двери, выдохнув безнадежное «до свиданья», и заплакала.

На улице, подумав о том, что кто-нибудь может попасться навстречу, она вытерла слезы. В парке было безлюдно. Она брела под высокими сводчатыми деревьями с печальным, загадочным видом, но никого не встретила, и ей стало неинтересно. Она решила пойти на Четвертую улицу, там было много магазинов и часто прогуливались компании.

«Пожалуй, куплю плитку шоколада»,— подумала она, нащупывая в кармане пятицентовик.

Выйдя из парка на улицу, она напустила на себя важный вид и пошла дальше, перебирая в уме тех, кто мог оказаться здесь. Впереди, около табачного магазина, маячила группа мальчишек. Она поняла, что они заметили ее, хотя их разделял еще целый квартал. Не переставая болтать и смеяться, они исподтишка приглядывались к ней. Она не могла решить, как ей держат себя с ними, какой походкой подойти. Чувствуя свое превосходство над ними, но опасаясь совершить какую-нибудь неловкость, она подошла ближе. Мальчишки замолчали и уставились на нее. С ужасом она подумала, что сейчас поскользнется на подтаявшем льду или обнаружит, что из-под пальто у нее неряшливо выглядывает подол юбки.

Кое-кого из мальчиков она знала по школе.

— Привет, Рэд,— произнесла она, неестественно растягивая слова. В ответ все они приподняли шляпы.

Наконец-то миновав компанию, она вошла в аптеку и там купила сладости. Один из мальчиков вошел следом. Прислонившись к прилавку с газированной водой, он завел беседу с продавцом, нарочито громко отпуская остроты, чтобы ей было слышно. Она прошла по магазину, чувствуя на себе взгляд мальчика, жалея, что вошла сюда, но в глубине души испытывая радость. Ей было неловко долго листать журнал, зная, что денег, чтобы купить его, у нее не хватит. Она медлила, не решаясь пойти к выходу, опасаясь, что мальчик кинется открывать перед ней дверь. Задерживаться дольше было неприлично, и, разворачивая на ходу плитку шоколада, она пошла к выходу. Открывать перед ней дверь мальчик не захотел. Проходя мимо магазина по улице, она разглядела в окне две смеющиеся, озорные мальчишеские физиономии.

Можно было опять заговорить с Рэдом, но она вспомнила, как неестественно прозвучало это ее «Привет, Рэд!», и то, как мальчишки для смеха приподняли свои шляпы, и ей захотелось побежать. Она даже почувствовала, как она бежит изо всех сил, хотя точно знала, что еле идет, аккуратно снимая серебряную обертку с шоколада.

Зайдя за угол, скрывший ее от всех, она ощутила досаду и разочарование, почувствовала желание вернуться. В одиночестве бредя назад к парку, она мечтала, чтобы кто-нибудь из оставшихся там, на улице, догнал ее, воображала себе беседу.

Присев на скамейку, напряженно вглядываясь в ведущую к парку дорожку, она кого-то ждала.

По тропинке возле озера прогуливались парочки, фотографировались, решительно сбрасывая с себя зимние пальто. Она смотрела и думала о том, как непременно они держат друг друга за руки, целуются, укрываясь за голыми кустами сирени, вовсе для этой цели не пригодными.

Невезучим выдалась для нее этот день. Захотелось пойти за второй шоколадкой, но она не решилась. По противоположному берегу озера мальчишки носились, как стая обезьян, ошалевших от весеннего воздуха, залезали на деревья, шлепались в грязь, толкались, кричали, обзывались. Бесстрашно забегая в ледяную воду, они мочили одежду, ботинки, ноги, и крик их разносился по всему озеру. Она подумала о том, что совсем недавно и ей доставляло удовольствие резвиться у воды, петь и кричать от счастья, подставляя солнцу ловкое тело.

У нее стали замерзать ноги. Бледный, громадный шар солнца завис над самыми верхушками деревьев. Воздух остыл, ветер не прекращался. Она так и не придумала, куда ей пойти, грустно съездившись на холодной скамейке. Темные деревья погружались в сумерки, ушли последние влюбленные парочки, разбегались мальчишки. Стемнело, высокие кроны сомкнулись над ее головой. На дорожке послышались шаги. Кто-то приближался. Притаившись, она вслушивалась. Человек остановился возле нее, о чем-то спросил. Замерев, не отвечая, она дожидалась, чтобы он ушел. Ей стало страшно, не раздумывая, она отправилась домой.

В доме горел свет. Окна гостиной были темными, значит, все в столовой, ужинают бутербродами с холодной свининой.

Не поворачивая к входу, она прошла мимо дома, вдруг представив себе, что она тут не живет, шагнула в неизвестность. Удалившись в сторону, дрожа от волнения, она вообразила, что покидает все, что прежде ее окружало, и идет дальше, а если не сойдется с пути, то попадет в новый дом, где будут те, кто ей пока не знаком. Но все же сделав круг, она вновь подошла к своему старому дому. В столовой горел свет. Подкравшись к окошку, она заглянула внутрь. При ярком свете все, сидящие за столом, выглядели непривлекательно. Мать и отец расположились по разные стороны стола, между ними виднелось казавшееся болезненным лицо джима. Дядя Джо сидел к ней спиной, рядом темнел затылок Джонни. Губы их шевелились, наверно, они разговаривали, но разобрать слов она не смогла, с окон еще не убрали вторые рамы. Она разглядывала их долго. Устав стоять на носочках, прыгнула вниз с приступки и вновь очутилась в темноте. Из-за угла запахло свежескопанной землей. Сегодняшнее утро, когда дядя обрабатывал канны, казалось далеким. Так приятно было подставлять лицо ветру, наслаждаться солнечным светом. Опустившись на колени возле клумбы, она разглядела беленькие, изогнутые ростки, едва показавшиеся из земли. Прикоснувшись пальцем к одному, она ощутила какой он плотный, прохладный, чуть влажный на ощупь, полный затаенной силы. Движимые этой силой, они устремятся вверх, чтобы гордо дожидаться поры цветения. Сквозь густые, голые кусты сирени, пригнувшись, она пробралась к входу.

От дома исходило тепло. Внутри двигались, разговаривали мать, отец, братья. Она слушала, слушала.

Звуки замирали в окутывавшей ее черноте. По улице, мимо дома проходили люди; пробегали торопливые ребятишки, уверенной походкой шагали юноши. Ей показалось, что зрение ее напряглось до предела, что она превратилась в слух. И лишь ветер летел к ней из темноты, словно посланец другой жизни.

Она стояла так, пока не открылась дверь и на крыльцо не вышла мать. Протянув руку, она легко могла дотронуться до ее юбки.

— Юнис,— позвал ласковый голос,— защищая глаза ладонью от света, мать всматривалась в тень, отбрасываемую вязом. Мгновение она постояла прислушиваясь. Потом вернулась в дом.



тех пор как она вышла замуж, ночи стали ей казаться странствием, путешествием в неведомую страну. Она чувствовала, как они с ним плывут по чудесной реке, мимо скользящих берегов и просыпаются утром в некой новой стране, до них доносятся удивительные звуки и непонятная речь, они смотрят из своего окна на эту страну, жадно впитывая каждый вздох, каждый шорох просыпающегося города.

Иногда Кен тоже казался ей незнакомцем, случайным попутчиком, она с тайным ужасом следила за тем, как он обувается, идет бриться, а после, спрятавшись под одеяло, мечтала уснуть и не просыпаться. Кто этот человек? Кому она доверилась? Ой, мамочка, твердила она себе. Там, в ванной, бреется какой-то мужчина, она же совсем не знает его. Да, мамочка, какой-то незнакомый мужчина взял и вошел в наш с тобой дом, надо было хорошенько запирать дверь... Пока он не видит, нужно проскользнуть в кухню и поставить на плиту кофе.

Как же ей было неуютно, а ему — хоть бы что! Его не мучали никакие сомнения. Он твердо знал, она его жена. Он не пугался по утрам, увидев рядом с собой ее, а уходя на работу, спокойно и уверенно целовал, как будто навечно закрепляя ее за собой и за этим гнездышком.

Это было ужасно. Ну почему он видит в ней только

жену? И все же в тот миг, когда он спускался по лестнице и она, выбежав из квартиры, махала ему на прощанье, глядя, как его поднятое к ней лицо делается все меньше, а потом, услышав, что он уже внизу, бросалась обратно в комнату и еще целую минуту, пока он совсем не исчезал из виду, снова махала ему вслед из окна, в тот миг она бывала счастлива необыкновенно.

И ее уже ни капли не удивляло, что она жена Кена. Она понимала, как нелепы все ее переживания, пора уяснить себе, что она миссис Кен Свонсон. Проводив мужа, она принималась с воодушевлением охорашивать их комнатку, которая служила им и спальней, и столовой, и гостиной. Часы летели незаметно, блаженное ощущение счастья вытесняло тоску о родительском доме. Позабыты были все ссоры. Словно их никогда и не было. «Мы никогда не ссоримся»,—уверяла она воображаемого собеседника, и ей казалось, что они действительно никогда не ссорятся. И сама она и несуществующий собеседник ничуть в этом не сомневались.

Кен всегда уходил из дому ровно без четверти восемь, но прежде чем он спустил четыре минуты растворялся в уличной толпе, совершался обязательный ритуал, от которого она ни за что не желала отказаться.

Смело открыв настежь окно—ведь начиналась весна,—она почти вся из него высовывалась, похожая на рвущуюся из неуютного гнезда птицу, чтобы еще раз помахать Кену, и где-то там, в вышине, на фоне неба и бегущих облаков он мог разглядеть это детское личико в ореоле развевающихся волос. Ему хотелось тоже ей помахать, ведь она могла упасть, но он боялся показаться смешным и стеснялся спешащих на работу толп. Она ждала, когда он, сворачивая за угол, поднимет на прощанье руку, а после еще несколько минут жадно вдыхала воздух и смотрела на бегущие облака. Одурающе пахло морем и пропитанной весенними ароматами землей. На улице полно народа, дети, мужчины, женщины, только что выскочившие из теплой постели, им явно не хотелось покидать свои гнезда. Как хорошо, что у нее все так удачно сложилось и никакие заботы не омрачают согретого волшебством путешествия по неведомой стране его и ее жизни. Дома напротив были окружены для нее тайной. Что за люди там живут? В этом городке, куда она приехала с Кеном, она совсем никого не знала.

Она торопилась выйти на кухню и, встав на цыпочки, смотрела в обитое жестью окошко. Только отсюда можно было хоть кого-нибудь увидеть, хоть какие-то знакомые лица. Вот она, внутренняя стена соседнего дома, крест-накрест расчерченная маршами пожарных лестниц, окна, в которые можно было заглянуть, увидеть, как люди двигаются по квартире или подолгу, вроде нее самой, глазуют на улицу, снова исчезают, растаяв в таинственной глубине, выплывут на мгновение, будто диковинные глубоководные рыбы, блеснут в пронизанной светом водной толще и вновь растворятся в неведомой стихии.

В каждой квартире был жестяной балкон, который, казалось, мог в любую минуту обрушиться, сквозь балконные решетки виднелись огромные окна, они-то ее и интересовали. Прямо напротив ее кухоньки было окошко с оранжевыми шторами, ей казалось, она давно знает эту грузную женщину, просиживавшую на балконе целыми днями, наверное, она очень больна. Женщина обычно шила или читала, а то вдруг поднимет голову и смотрит на Фрэн, прямо ей в глаза, так что хотелось поскорее спрятаться. Потом Фрэн поняла, что женщина ее не видит, и оставалась стоять под этим неподвижным взглядом, словно скрытая плащом-невидимкой. Ей было немного страшно, и она подбадривала себя чуть нервным смехом.

Над оранжевыми шторами этажом выше располагались еще две доступные глазам Фрэн квартиры. В одной жил негр, он вставал очень поздно. Она в это время уже собиралась обедать. Сквозь оконное стекло смутно виднелась кровать. А может, он просто не ночует дома. Может, он картежник, и у него совершенно особенная, полная острых ощущений и риска жизнь. Оставалось только гадать, что это за жизнь, скрытая от нее незримой преградой, и сколько бы она ни тянулась на носках, преграда всегда оказывалась слишком высока.

Зато она точно знала, что рано или поздно сбудется то, о чем она мечтала. Дело в том, что во второй квартире жил еще один человек, он поднимался с постели в ту минуту, когда Кен растворялся в уличной толчее. Живи она в этой квартире, ее не мучали бы страхи. Таинственный незнакомец всегда просыпался именно в эту минуту. Порой ей казалось, что она видит его, вот он мелькнул в полумраке комнаты. Глядя на заветное окно, она очень волновалась. Наверно, именно такое волнение она должна была

испытывать, выходя замуж за Кена, но тогда не чувствовала ничего похожего. Вернее, чувствовала до их свадьбы или когда Кена не было дома, но если Кен был рядом — никогда. Просто удивительно...

Она все стояла на цыпочках в подаренных ей на свадьбу матерью красных шлепанцах, совсем еще новеньких. Ее таинственный незнакомец был очень похож на Кена и вообще на каждого, кто мог оказаться ее мужем. Незнакомец то исчезал в полумраке, то вдруг появлялся, так близко, что у нее замирало сердце, но к окну не подходил, никогда не подходил... Сейчас он наденет пальто и все-таки подойдет ближе к окну, сейчас она увидит его, совсем как раньше, когда она была девочкой, когда, зарывшись с головой в сено, замуривала глаза, и едва рассеивались золотые точки, она смутно различала идущего ей навстречу будущего избранника... тут Фрэн всегда открывала глаза, вечно что-то мешало, она и не помнит что.

Вот он на миг замешкался у зеркала, снова скрылся в глубине комнаты и в конце концов ушел. А она стояла как зачарованная, потрясенная его уходом. Кто же он? Что все это значит? Иногда, поддавшись отчаянью, она снова залезала в постель и целый день спала.

Но обычно, опустив голые пятки обратно в новенькие красные шлепанцы, она, будто затворница, опять скрывалась в своей кухоньке, где, не сходя с места, можно было дотронуться до любой стены, да, совсем как затворница...

Помыв посуду, она стала собираться в магазин. Достала плетеную сумку, потом переобулась в черные лакировки. Это ее свадебные туфли, и костюм тоже, они еще такие новые, что ей кажется, будто все тотчас догадываются, каких ужасных, просто непереносимых волнений стоила ей покупка этого наряда. Сама она ни на минуту не забывала, что эти сверкающие туфельки были куплены ради того, чтобы она превратилась в миссис Кен Свонсон, и что носит она их с самой свадьбы, уже три месяца. Все это походило на сказку.

Она вышла на лестничную площадку, заперла дверь, положив руку на перила, она огляделась. Как же страшно идти по незнакомому дому, мимо незнакомых дверей и коридоров, полных чужих и враждебных запахов. Сердце стучало быстро-быстро. К счастью, она очень редко с кем-нибудь сталкивалась. Она двига-

лась с опаской, малейший стук отзывался похожим на взрыв грохотом, внизу она ускорила шаг и наконец-то оказалась на крыльце под стремительно несущимися над головой облаками. Она сбежала по крутым ступенькам и, перекинув сумку через локоть, солидной походной пошла по тротуару. Денек выдался замечательный! Вокруг кипела жизнь, по небу мчались ослепительно белые, похожие на заморских птиц облака. Магазины ломились от всевозможных платьев, блузок, галстуков, детских вещичек. Восхитительно. По улице несся белый щенок, просто так, никуда, он так увлеченно и весело лаял, что весь сотрясаясь от собственного лая. Увидев, как он, запнувшись, упал и покатился кубарем, она невольно расхохоталась.

Ее несло как на крыльях. Ей хотелось побежать. Еще немного, и она взлетит. При виде заставленных всякой всячиной витрин она радостно замерла. Что же выбрать? Вся эта вкуснота для них, для их драгоценного семейного благополучия. Нет, слишком все замечательно. И маринады, и ржаной хлеб, мясо, тушенное с луком и чесноком, рыбешки всякие, цыплята, свежие яйца, есть подороже, есть подешевле. Перед магазинами, откуда долетали смех и веселая болтовня, сидели на скамейках женщины... Фрэн вошла в пахнущую теплым хлебом булочную и долго и придирчиво выбирала буханку попышнее, Кен любит этот черный хлеб, поскольку «в белом нет ничего полезного». Он-то знает. Можно не сомневаться. Окутанная теплым, щекочущим ноздри ароматом, так похожим на ласку теплых женских рук, рук ее матери, она толкнула дверь. Скорее назад, в это погожее утро, в веселый уличный гомон!

И дети и взрослые внимательно смотрели куда-то вперед, в самый конец улицы. А оттуда слышалось треньканье колокольчиков, барабанная дробь, жужжанье рожков. Как здорово! Она стиснула руки и застыла на месте с открытым от любопытства ртом. Что, что там такое? Сейчас, еще немного... Праздничное шествие! Вот радость! Из-за угла вынырнул пестро разрисованный, увешанный воздушными шарами грузовик, он вез щит с огромной надписью — мороженое «Блу риббон» — и с гигантским нарисованным рожком, увенчанным пышной шапкой из мороженого; за грузовиком следовал эскорт автомобилей, жужжали рожки, звенели колокольчики, из репродуктора неслись веселые клоунские выкрики. Все это утопало в ярком весеннем солнце.

Фрэн стояла совершенно замороженная неподалеку от двух похожих на итальянцев малышей. А белые облака все мчались и мчались, то открывая, то загораживая солнце, неустанно все вокруг преображая. Моргнуть не успеешь, как улица залита золотым мерцающим светом и весь мир словно парит, подчиненный живой и теплой гармонии, и замирает сердце... Фрэн закрыла глаза, чувствуя как по лицу скользят живые лучи, ее охватило тихое светлое блаженство; эта почти неуловимая игра света и тени очень напоминала ее собственную, порой такую непонятную жизнь, от первых мгновений до этой минуты... Какая она, ее жизнь? Счастливая, очень.

Грузовик с рекламой уехал, Фрэн поспешила в гастроном и, подойдя к прилавку, неожиданно выпала:

— Бутылочку цельного молока для моего малыша.

Продавщица улыбнулась.

— А сколько ему? — поинтересовалась она, опуская бутылку в пакет из плотной бумаги.

— О, совсем еще крошка. — Фрэн состроила дурацкую вежливую улыбку, шляпка у нее сбилась набок, прическа растрепалась. Она схватила пакет и чуть не бегом кинулась прочь. А что, если продавщица захочет посмотреть на малыша? Ей мерещилось, будто все вокруг только на нее и глазют. С такой укоризненной миной, можно подумать, у каждого были дети, ну и ладно, зато так приятно представить, что и молоко, и все эти овощи она купила для Кена-младшего.

Дойдя до парикмахерской, она внезапно замерла, не замечая, что пучок моркови вот-вот вывалится из сумки.

А что, если она — Фрэн похолодела от страха — нет, нет, не может быть... Увидев на какой-то женщине чудную лису, она тут же забыла о своем страхе. Но вскоре снова остановилась на самом краю тротуара, будто собралась переходить улицу — как он сказал? Ах да, что он не сторонник избирательного права для женщин. Чудовищно, просто ужас. Как она могла выйти замуж за такого человека? Она еще ни разу не голосовала, но была горячей сторонницей избирательного права для женщин. Почему она раньше не спрашивала его об этом? И ванну не каждый день принимает. Это огорчало ее чрезвычайно. Он считал, что мыться каждый день глупо. Надо же такое придумать. И как она только терпит?.. Тут ее чуть было не сшиб грузовик, и пришлось отвлечься от печальных мыслей.

А что, если бы Кен попал под грузовик. Она живо представила эту сцену. Вот его приносят, кладут на кровать... все, до малейших подробностей. Почти полквартила она шла в полной уверенности, что потеряла Кена навсегда.

Она разглядывала уличную толпу, женщин, вышедших на крыльцо вытряхнуть половик и на миг задержавшихся на ней взглядом. Ей хотелось протянуть им руку со словами «я тоже теперь жена», но, вытряхнув свои коврики, они спешили скрыться за гулко хлопавшими дверьми незнакомых домов.

Возвратившись домой, она почувствовала себя такой одинокой. Неприкаянно стоя посреди комнаты, она подумала, что ей очень не хочется видеть сегодня Кена. Хорошо бы он не пришел. Она прилегла на кушетку, и ее тут же сморил сон. За окном бурлила жизнь. Оно было чуть приоткрыто, и в комнату залетал ветерок. Играл растрепавшимися волосами, потом осторожно опускал их Фрэн на щеки. Тикали часы. Она спала по-детски разметав руки, с таким пугающе-доверчивым, естественным видом, что делалось страшно за нее. Своей незащищенностью она была похожа на жертву, это бросалось в глаза. Она спала слегка откинув голову, тонкие как у ребенка брови были удивленно подняты. А может быть, смущенно? Ветерок шевелил легкие пряди и складки у блузки, и казалось, рядом стоит какой-то невидимка и дует на нее нежно-нежно.

Она очнулась, будто от толчка, и, ничего не понимая, села. Поначалу Фрэн решила, что она дома, в своей светлой солнечной комнате, но потом узнала крохотную квартирку, дверь кухни, где спокойно можно было дотянуться до любой стены. Посмотрев на часы, она испугалась: уже половина пятого. Она проспала несколько часов. На полу валялась сумка с высунувшимся наружу пучком морковки. Ну и хозяйка! Она вскочила и скорее принялась за готовку, мама тоже всегда спешила, когда готовила ужин. Кен приходит ровно в пять шестнадцать. Если бы можно было вернуться в прошлое, и пусть бы оно никогда не кончалось, нет, не вернешься, изо дня в день, из года в год ровно в пять шестнадцать будет являться с работы муж. Ею вдруг овладело тупое безразличие. Она привычно поднялась на цыпочки и взглянула в соседние окна, конечно, повсюду собирались ужинать. Хотя с консервами гораздо меньше хлопот, пора было ставить сковороду на огонь.

Люди возвращались домой; все чаще хлопала внизу входная дверь, Фрэн напряженно вслушивалась, испытывая страх, и даже ужас... С каким он явится лицом? В каком настроении? Вот раздались шаги на втором этаже... выше. Она замерла, зная, что он откроет дверь секунда в секунду. Она угадала. Дверь открывается, она с испугом оборачивается, да, он уже здесь, с завернутым в ярко-зеленую бумагу букетом.

— Дорогая, привет,—сказал он, протягивая ей цветы, вернее, небрежно сунув их ей в руки.

— Осторожней же,—резко вырвалось у нее. Она старалась не смотреть на него, но невольно видела, какая мускулистая и узкая у него спина, как упрямо он держит белокурую голову... Вот он снял пиджак, она представила, как вечер за вечером он будет его снимать и аккуратно вешать. Она еле сдержала стон.

— Кругом такая красота, просто настоящая весна, правда, дорогая?

— Я же просила не называть меня так,—крикнула она из кухни, ставя на плиту сковороду с фасолью.

— Надо же, опять забыл,—засмеялся он.

Она развернула цветы. Ландыши. Почему он выбрал ландыши? Она положила их рядом с пучком моркови. Ужин она разогрела, теперь еще нужно заставить себя войти в комнату и поставить блюдо с фасолью на маленький столик, накрытый скатертью с синими птицами, на большее ее, пожалуй, не хватит.

— Как моя лапонька поживает?—нарочито ласково спросил он, обнимая ее за талию. Когда он вот так обнимал ее, то—она это чувствовала—всегда подтрунивал над ее неопытностью. Сам-то он, похоже, знал все.

— Не надо,—она испуганно отпрянула, загораживаясь блюдом, ей на руку капнул горячий соус, она заплакала.

— Что же ты натворила, дорогая,—он отобрал у нее фасоль и поставил на стол. Он был сама заботливость, но она никак не могла успокоиться, он явно думал, что это она из-за соуса заливается слезами.

— Я плачу не от боли,—оправдывалась она,—совсем не от боли, ты не думай.

Он еле сдерживался, столько шума из-за пустякового ожога.

— Успокойся, ничего страшного,— уговаривал он,— давай лучше поставим сюда цветы. Он принес с кухни вазу с ландышами и поставил ее на середину стола, крохотные колокольчики нежно и радостно зазвенели.

Она попробовала есть через силу, Кен украдкой за ней следил.

— Что ты на меня так смотришь?

— Как я смотрю?—удивился он, ничего не понимая. Что это с ней, в самом деле? Тут никакого терпения не напасешься.

— А вот так, с насмешкой.—Она старалась сдерживать слезы.

— Боже правый,—простонал он, швыряя вилку на стол,—нет, я сыт по горло.—Лицо его напряглось, все больше делаясь похожим на стиснутый кулак, губы поджались. В эту минуту он ее просто ненавидел.

— Я не знаю... совсем тебя не знаю...—пролепетала она.

— Не знаешь,—он горько усмехнулся.—Ладно, лучше ешь,—сказал он, и к ее ужасу с таким аппетитом принялся за фасоль, будто неделю голодал. Прямо зверь какой-то. Ее жгла обида.

— Почему ты кидаешься на еду будто... будто зверь?—чуть слышно спросила она.

— Та-а-к, значит, я еще и зверь. Весьма похвально называть собственного мужа зверем.

«Что это я, ведь он мой муж»,—кричало все ее существо.

— Я не говорила, что ты зверь.

— Не говорила? Неужели? Разве можно спорить с женщиной!

Она закусил губу. Господи, только не ссориться. Она все простит. До боли в груди она была переполнена желанием простить, излить на него свое прощение, ведь он же ее муж. В буран она согрела бы его в объятьях. Вот бы случилась какая-нибудь катастрофа, она бы его спасла.

— Как у тебя на работе?—с трудом выговорила она, словно рот у нее был набит песком.

Он решил проявить великодушие и принялся рассказывать. До чего же у него все просто и ясно, а ее жизнь ему совсем неинтересна. И есть совершенно не хочется. Она скоро зачахнет от тоски и печали. А он даже не замечает, что она ничего не съела. Она вспомнила своего таинственного незнакомца, он-то был в ее грезах таким внимательным, таким нежным.

— А дома мама только накрывает на стол. Они еще не начали ужинать,—вырвалось у нее, когда речь зашла о его сегодняшнем обеде.

— О боже!—он вдруг взорвался.—Почему бы тебе не вернуться домой?—Он вскочил, снова сел. Ей было приятно, что ее слова задели его.

— Ты не любишь меня.

— Нет, Фрэн, люблю,—сказал он, понутив голову.—Но ты несчастлива со мной. А ведь мы думали, что будем очень счастливыми.

От волнения у нее даже перехватило горло, как много им нужно еще сказать друг другу.

— Ты не хочешь меня понять. Тебе бы только спать со мной.

Он молчал. Лишь жилы на шее вздулись так, что воротник впился в кожу, ей стало страшно, и она чуть слышно добавила:

— Дома Лиззи и Грэйси так любили меня слушать. Говорили, Фрэн, из тебя получилась бы настоящая писательница, ты так здорово рассказываешь, а теперь... теперь...

— Ты постоянно думаешь о доме... Тебя здесь нет, ты осталась там. Ты не моя жена, ты все еще дочка, мамина дочка.

— Нет, неправда,—ей было стыдно. Ну почему бы ей не рассказать ему про то, что она сегодня видела?

— Никак не можешь расстаться со своими подружками,—не унимался Кен.—«Грэйси, Грэйси»,—передразнил он.—Только это и слышу.

Она вспыхнула от злости.

— Не смей ничего говорить о Грэйси, не смей, слышишь!—Она выскочила из-за стола и бросилась на кушетку, зарывшись лицом в подушку. Он снова принялся за еду, она же не помнила себя от обиды. Ничего не видя, она встала, надела пальто и шляпку и метнулась к двери.

— Ты куда?—услышала она, но не остановилась, уверенная, что он кинется за ней, а он... он подошел к перилам, окликнул ее еще разочек, и все.

...Промчавшись по этажам, она миновала неосвещенный подъезд и выскочила на улицу. Умереть, единственное, что ей остается. Она кружила по улицам, то и дело ища его взглядом. Почему он не побежал за ней? Ее нагонял какой-то мужчина. Что делать? Она бросилась назад к дому, влетела по ступенькам наверх, рванула дверь и с облегчением обнаружила, что он

здесь, читает газету. Ей хотелось кинуться в его объятья.

Но она лишь сказала:

— Я забыла сумочку.

— Она на шкафу.

Она увидела, что эн убрал со стола.

— Не махнуть ли нам на выставку?— он делал вид, будто ничего не случилось.

Она вспомнила, как он не побегал за ней.

— Нет.

Неужели он когда-нибудь опять отпустит ее одну на эти ужасные улицы, где ее будут преследовать незнакомые мужчины?

— Я никуда не пойду.— Она с несчастным видом отошла от двери.

Сняв пальто и шляпку, она не швырнула их как попало, а тихо и аккуратно повесила, но как теперь вернуться в комнату? Что же ей делать? Ведь нельзя же прямо у него на глазах плюхнуться в кровать. Будь у нее своя спальня, она бы просто заперлась от него. В надежде, что он обратит на нее внимание, Фрэн остановилась посреди комнаты. Конечно, будет теперь демонстративно читать газету, какое ему до меня дело, подумала она. Надо идти мыть тарелки. Как мне одиноко. Ей вдруг стало так хорошо. Нет, от меня не дождутся жалоб, и со сладкой болью она представила, как спустя долгие, полные жертв и страданий годы она умирает, не произнеся ни единого укора, умирает достойной старой леди...

Разделавшись с тарелками, она вошла в комнату и к своему великому удивлению увидела, что он уже лег. Как ни в чем не бывало. Просто поразительно. Безумная мысль вдруг овладела ею, надо заставить и его и себя встряхнуться, любым способом. Она со скорбной миной опустилась в кресло-качалку.

— Кен, кажется, у нас будет ребенок,— сообщила она, холодея от собственных слов.

Спустя мгновение он, все так же удобно развалившись, произнес:

— Думаю, тебе показалось, в любом случае, пока нельзя быть в этом уверенной.

Стоило ей сказать, что она беременна, и она тут же в это поверила. Она сидела с обреченным видом и действительно чувствовала себя неважно.

— Не знаю. Состояние отвратительное,— призналась она, и это была чистая правда.

— Бедный мой ребенок,— сказал он, но теперь она и слышать не могла слова «ребенок».

— Иди скорей сюда.

Она не шелохнулась.

— Не хочешь?

— Нет,— ответила она, напряженно выпрямившись от ужаса.

— Прекрасно,— он резко отодвинулся.— Можешь вообще не ложиться.

Она сидела очень тихо. Тикали часы, ветер скрипел незакрытой форточкой. Поскрипывали половицы, словно по комнате бродил кот, натыкался на разные углы, и сейчас, играя, станет ловить ее спрятанные под креслом ноги. От вещей веяло таким покоем, что она забыла о недавней ссоре. Ее опять охватило чудесное ощущение отрешенности от мира, они у себя, одни, далеко, далеко от людей.

— Кен,— осторожно позвала она, но он не откликнулся. Она не удивилась, он всегда засыпал мгновенно, как ребенок, как раз в то время, когда ей не спалось. Раздувались шторы, ветер, словно живое существо, разгуливал по комнате, ее охватило блаженство, такое же, какое вызвало у нее сегодняшнее рекламное шествие, губы Фрэн тронула легкая улыбка, и тело тоже улыбалось. Она подошла к кровати и склонилась над Кеном, его лицо больше не было злым и напряженным, во сне оно разгладилось, перед ней лежал ее избранник. Сердце Фрэн наполнилось нежностью.

Она шире открыла окно, совсем настезь, так чтобы ветер дул прямо на нее, потом все с себя сняла и еще минуту постояла под весенним, несущим жизнь и тепло ветром. Похожие на стаи огромных птиц облака все так же куда-то мчались, и ей, в который раз, показалось, что это тихо пронесется мимо ее жизнь. Она накинула отделанную шитьем ночную сорочку и начала осторожно пробираться по наполнившейся прохладой комнате.

Стараясь не разбудить Кена, она легла на самый краешек и вытянула ноги. В душе у нее еще таилась боль, но тихая, по-своему даже приятная, эту боль можно было даже потрогать, не боясь разбедить.

— Не жизнь у меня, а сплошные страдания,— пробормотала она с блаженной улыбкой.

Время от времени она подпирала рукой подбородок и смотрела на Кена. На разгоревшиеся щеки, на нежную худую шею и смутно белевшее тело. Он слегка

откинул голову, она видела его таким, какой он был на самом деле, сейчас она могла любить его, не стесняясь своей нежности. Он был совсем как ребенок... ребенок... где она слышала сегодня это слово?

Ей захотелось разбудить его, мужчину, который ее выбрал, хотелось ощутить его ласки, но она боялась его взгляда, так хорошо ей знакомого, взгляда обычного собственника.

Вот если бы она умерла, с какой бы нежностью он над ней склонился. Словно над невестой. Она сложила руки на груди. Он проснется, окликнет ее по имени, коснется маленьких рук... Мои маленькие руки...

Она не заметила, как уснула, а ветер шуршал газетой, которую Кен обронил на пол.

Проснулась она от неясного и тревожного предчувствия. В комнату ворвался сильный порыв ветра. Она приподнялась на локтях. Темнота за окном мягко высветилась внезапной, похожей на цветок вспышкой, словно где-то там вдалеке вдруг раскрылся бутон магнолии, и в следующий миг весь воздух задрожал от приглушенного рокота, трепетной лаской отозвавшегося во всем ее существо, снова подул ветер, и штора, будто привидение, метнулась в глубь комнаты, от ветра пахло набухшими зернами и влажной землей. Фрэн жадно, всей грудью вдыхала его аромат.

Раздался короткий треск, ослепительная вспышка, казалось, насквозь пронзила ее тело, она вскрикнула: «Кен... Кен». И снова грохочущий рев, и будто по сигналу на землю ринулись струи, тут же в ней растворяясь. Дождь барабанил по крышам, стекая с них водопадами. Ей было и весело и страшно.

— Кен, Кен,—снова позвала она, глаза ее были широко раскрыты от ослепительных вспышек, которые делали комнату похожей на светлый, раскачивающийся на невидимом суку кокон, которые вонзались в ее плоть.

Она слышала торопливые шаги, хлопанье дверей, черный дождь, будто тысячи дротиков, сыпался с неба, проникая вместе с порывами ветра в комнату. Воздух дрожал от страшного напряжения.

— Кен, Кен,—повторяла она, и он внезапно проснулся, он умел просыпаться мгновенно, и тоже широко раскрытыми от изумления глазами стал вглядыв-

ваться в пронизанную порывистым ветром темноту, а за окном, будто невидимый легион, сражался дождь.

— Фрэн,— произнес он, удивляясь, как сильно всегда пугаешься весенней грозы.

— Фрэн...— Она прижалась к его груди, и свежий ветер словно манил их за собой, снова и снова овеивая животительной прохладой.

Прошептав еще раз ее имя, он бережно привлек ее к себе, и она впервые отозвалась, неотрывно глядя ему в глаза, вся пронизанная свежим ветром. А он дул и дул на них из отворенного окна.

ПРАЧКА



I

Орошо помню тот день, когда я увидела ее впервые. Я как раз стояла за маминой спиной в дверях. Мы тогда вызвали прачку. Это было раннее утро, когда еще не жарко, а солнце кажется белым.

А напротив нас маленькая, крепко сбитая женщина, черноглазая, с острым носом и твердым ртом.

Никогда она не была похожа на прислугу.

Потом она начала приходить к нам два раза в неделю. В первый день она стирала, а на следующий — чинила белье, занималась уборкой и любой случайной работой.

В свои дни она приходила очень рано, мы, дети, еще только завтракали перед уходом в школу. Она обычно входила молча и смотрела на нас, стоя у двери, а мы необыкновенно удивлялись ее появлению. И так она приходила всякий раз, и в каждом ее появлении было что-то таинственное.

Она обычно шутливо приветствовала нас, и нам казалось, что она вносит порядок в хаос утренней спешки, даже какое-то единообразие, так что каждый чувствовал, как коротка жизнь и как странно все предопределено в ней.

За все долгие годы, что мы ее знали, она всегда надевала что-то напоминающее униформу, — черный жакет, который она снимала и вешала на спинку стула, и черную шляпку, которую она размещала рядом с жакетом на сиденье. Я не могу ничего больше сказать о ее вещах, кроме того, что они были черными и как бы неотделимыми от нее; такими же, как монашеский наряд от монашенки, хотя на монашенку она совсем не была похожа.

И еще была одна вещь, создававшая ореол таинственности вокруг нее: когда она снимала черную шляпку, ее руки поднимались к волосам цвета воронова крыла, целиком поднимая их с низкого белого лба. Ее волосы всегда напоминали мне о том, что у немцев это слово существует лишь во множественном числе. Мне запомнилось это движение, полное усталости, несмотря на раннее утро, но усталости другой, не физической.

Нам не разрешалось угощать ее за завтраком чем-нибудь особенным.

— Нет, нет. Я буду есть только то, что здесь. Очень хорошо для меня.

Она говорила на ломаном английском. Речь ее была прерывистой и полной восклицаний. Я считала, что она приехала из другой страны. И она подтвердила: да, она — немка.

Она обычно закатывала рукава и усаживалась за стол рядом с мамой. Обе они казались воинствующими феминистками, обе были красивыми и необычными женщинами. Они оставили своих мужей и уехали вместе с детьми, одно это уже было большим поступком. Фамилия ее мужа была Кретч; я думаю, что она сохранила эту фамилию только потому, что была матерью его детей. Детей было четверо, два мальчика и две девочки.

— Это мұка, растить мальчиков без мужа,— говорила она своим хриплым голосом.— С девочками-то я управляюсь, а с мальчиками ведь все иначе. Мужчина им нужен, я чувствую.— Она издавала какой-то гортанный звук и снова принималась за еду.

Кретч был немецким фермером. Он женился на ней, потому что ему была нужна работница. Работала она как каторжная, но когда он попытался и детей запрячь, она забрала их и уехала в город. К удивлению своего мужа, она вполне достаточно зарабатывала на жизнь. А тут и дети подросли и стали пополнять семейный бюджет.

— Мой старший сын Франц.— Она методично ест, основательная в свете раннего утра, обнажившего беспорядок на столе. А мама сидит напротив нее, подперев голову руками, и слушает.— Я считаю, мужчина должен иметь работу. Да. Он работает в автоматагине; он немножко оглох от шума. Вы ведь знаете мальчиков: работает он без отдыха, а работать он не очень-то любит. О, знаете, он иногда прямо бешеный бывает! Мужчина ему нужен. А другой мой мальчик очень милый. Но мальчикам так нужен мужчина. Ах, да вы ведь знаете!»

Было приятно смотреть, как она работает, следить за ее ловкими руками.

Из кладовой было видно, как она, бесстрастная и умелая, гладит посреди комнаты.

Я приходила и садилась на ступеньку напротив нее, чтобы видеть ее светящиеся руки. Она всегда была доброжелательна.

— Вы никогда не поете, миссис Кретч?

— Пою? Нет, нет. Я никогда не пою.

И она продолжала гладить, ловко орудуя своими сильными, обнаженными по локоть руками.

Вот она надевает свою черную шляпку и жакет. Ее профиль кажется четким и волевым в вечернем свете, от нее веет мылом и жаром. И вот тогда и видно, что она чужестранка, и какая-то тайна окружает ее. Ее лицо было лицом убежденной пуританки, таким, какими бывают лица аскетов.

И удивление, возникавшее при ее появлении, не покидало меня, когда она уходила, снова одеваясь в черное, ее темные глаза были печальны, темные крылья волос обрамляли шляпку, а руки—неподвижны по сторонам ее крупного сильного тела.

— До свидания,—говорила она, и это слово тоже было окружено тайной. Мы бежали к окну, чтобы увидеть, как она уходит, ее крупная фигура напоминала монашескую, она спускалась по дорожке и выходила на улицу, бегущую среди доходных домов, и внезапно исчезала в тумане. За время между окончанием ее работы и возвращением в двухэтажный деревянный дом, где жили дети, необыкновенные вещи, должно быть, случались с ней.

II

Однажды вечером ее жестковатый голос с сильным иностранным акцентом раздался в телефонной трубке. Она была очень озабочена из-за старшей дочери, которая собиралась уехать с каким-то фельдшером и учиться медицине. Мама, полная сочувствия, отправилась к ней.

Дом ее оказался одним из тех некрашенных домов, чьи квартиры взирают на нас своими слепыми окнами. Дверь над деревянными ступеньками открывалась прямо на улицу. Комната, в которую мы вошли, недавно была оклеена новыми обоями в бледных цветах. Смутно чувствовался знакомый запах мыла и раскаленного утюга. Миссис Кретч пригласила нас войти в дом. Она

продемонстрировала его весь, его коридоры, его ровные стены, деревянные лестницы позади комнаты, в которой мы были, а также захламленную комнату справа от нас, в дверях которой стояла девушка в позе актрисы, собирающейся покинуть сцену. Она не замечала ничего вокруг себя, как монашенка, случайно оказавшаяся на улице.

— Моя дочь Лилли.— Она указала на нее после того, как мы были церемонно усажены.— Лилли, расскажи им все, они—наши друзья.

Лилли полностью повторила в себе мать, хотя была более хрупкой и посветлее. Она сидела прямо и говорила без смущения на чистом английском, хотя и нарочито громко. Она была непосредственна, так же, как и ее мать.

В комнату вошел высокий и угрюмый мальчик. Миссис Кретч повернулась.

— Это мой мальчик, тот, что учится ремеслу.— Она взглянула на него, не видя, как будто бы он стоял вплотную рядом с ней. Взгляд ее стал отчужденным, когда она увидела его высокую, всей своей осанкой выражающую упрямство фигуру.

Мама стала уговаривать девушку изучать стенографию. О том же говорила и миссис Кретч с присущим ей упорством.

Все время, что мы там были, по комнате сновала другая молодая девушка, накрывая стол к ужину; она была высокой блондинкой; разглядывая нас, она робко поднимала глаза. На стене висели картинки—дамы, нарисованные акварелью. Я решила, что картинки принадлежат ей. Да, сказала миссис Кретч, это она их сделала. Она мягко обратилась к девушке:

— Хильда... Хильда, подожди накрывать на стол и подойди сюда.

Я привскочила на стуле. Опять мне показалось, что эта пахнущая мылом женщина—волшебница, которая знает магические слова. Девушка подошла к нам и остановилась, глядя на свою мать. Так глядели они друг на друга, каждая погрузившись в свои мысли. Я уже была близка к тому, чтобы разгадать загадку матери и дочери. Сердце мое билось. Необычайное возбуждение овладело мной. Но мне так и не удалось разгадать их тайну. Я так ничего и не поняла.

Позже девушка начала изучать дизайн, и хотя и не особенно выделилась на этом поприще, она делала довольно милые вещицы, а иногда в их колорите и линиях было что-то столь же необычайное и вызывающее, как и во внешности миссис Кретч. Наверное, это

и было их тайной. Казалось, что ничего особенного в этих вещах и не было, хотя наверняка они были началом еще неопределенного, но бурного цветения.

Позже я покинула город, а вернулась в него только через несколько лет. В эти годы мама все время сообщала мне о миссис Кретч в письмах. Кроме того, что она выполняла у нас всю работу по дому, мама вообще была в восторге от нее, миссис Кретч и она необычайно привязались друг к другу. Такого рода чувство часто возникает между очень простой и сильной женщиной и женщиной образованной.

Когда я вернулась, меня уже волновали другие вещи. Я совершенно не думала о миссис Кретч. Мама рассказала, что все ее дети стали на ноги и самостоятельно зарабатывают себе на жизнь, а младший — студент. Я едва обратила внимание на эти слова. А через несколько дней мама сказала, что миссис Кретч умерла.

Ее смерть потрясла меня, опять почудилось мне в этом что-то таинственное и необычное. Я ощутила невероятную печаль. Да было ли это чувство печалью? Это было больше, чем обычная печаль. Что же такого сделала эта женщина, стоявшая в дверях столовой много лет тому назад? Мне вдруг почудилось, что весь мир внезапно переменялся, стал чем-то новым, таинственным, полным многозначительных ритуалов. Смерть ее вызвала у меня те же чувства, что она вызвала при жизни.

III

Мы с мамой отправились на похороны. Нам обоим казалось, что нас влечет туда какая-то сила. Старшая дочь миссис Кретч позвонила нам. Она сказала, что мать ее внезапно умерла. Ну конечно. Мы привыкли видеть, как ее фигура растворяется в тумане после обыкновенных слов: «До свидания». Дочь ее дала нам адрес маленькой похоронной конторы. Мы получили машину только в середине дня, когда движение в городе было особенно оживленным. Вот и этот дом. Окна казались какими-то особенно слепыми, а дверь была закрыта будто бы навеки.

У тротуара стоял катафалк и несколько машин. Нам могли бы сказать, что мы опоздали. Но эти мелочи уже не имели никакого значения. Двери нам открыл небольшого роста рыжеватый мужчина, он же и провел нас через жаркую комнату.

В задней комнате на ковре стоял мужчина с Библией в руках и тихо и проникновенно говорил что-то. Но ничего уже не имело значения.

Комната была небольшой и уютной. В углу, на серой крышке гроба лежали цветы. Ничего не имело значения, кроме лица женщины, покоившейся на облаке шелка. Я опять была изумлена. Она была белой, уже утратившей краски жизни—черные волосы на узком лбу; изящные ноздри, сузившиеся от дыхания смерти; покрытые восковой бледностью щеки, грудь ее была усыпана лавандой. Остальное было скрыто гробом. Самым красивым был ее лоб под крылом густых черных волос.

Мужчина продолжал говорить, переминаясь с одной ноги на другую и жалковато улыбаясь.

Дети, все четверо, сидели перед ней, мальчики глядели вниз смущенно, а девочки, затянутые в черное, глядели прямо на нее, положив на колени руки. Они смотрели на нее как чужие, почти без слез. На их лицах лежала печаль, а она напоминала пустую оболочку, из которой вылушили зерно.

Казалось, что даже ее тело утратило память о детях. Она казалась девушкой, но лишь с тем различием, что девственность ее была тайной. Печаль отрешенности лежала на ее челе.

Я помнила ее полной, а сейчас она была тонкой, как в молодости, и сильной, как весталка. И глядя на это отрешенное лицо, я думала, что смерть, должно быть, прекрасная и самая непонятная в мире вещь.

Рыдали какие-то женщины сзади нас. Мужчина в скюртуке замолчал. Музыка не было слышно. Жизнь не была к ней милосердной. Когда слова смолкли, казалось, что разукрашенное, но уже близкое к распаду, тело в гробу полностью владеет всей комнатой. Все взгляды были направлены на него. А вокруг—полная тишина.

Никто не подошел к гробу. Вдруг позади нас раздались тяжелые шаги. Мужчина с широкой спиной стоял перед гробом, припав на одну ногу, так, что его могучее тело перекошилось. Его маленькая голова была коротко острижена, а в руках он мял шляпу. Кретч. Так он стоял, глядя на нее. Она была молодой в гробу, такой, как в день своей свадьбы, и даже еще красивее, так как эта красота была более скромной, более гордой и совершенной. В его взгляде были почтение и страх. Он повернулся и тяжело захромал к двери.

Четверо детей ее встали и подошли к ней все вместе. Глаза ее были полуоткрыты, как у сладострастно

дремлющей женщины. Только на губах лежала печать страшного прикосновения, и подбородок стал серым. Брови почти сходились. Черные волосы, как крылья выпущенной на свободу птицы, взметнулись со лба. Да, облако чувственности окружало ее. Эта женщина, известная своим аскетизмом, лежала в гробу как куртизанка.

Человек с пегими волосами подошел к ней и собрал цветы с гроба.

Опять мне показалось, что я близка к раскрытию тайны. Он поднял белые кружева с ее последнего изголовья и накрыл ей лицо. Дети бесстрастно наблюдали за ним. И неожиданно свет, замерцавший было над ее тайной, померк. В чем же была эта тайна? Она выполняла в своей жизни какой-то обряд, она осознавала его, как необходимый труд, тайну его она унесла с собой. Почему?

Родившись, человек чувствует себя как бы брошенным в море. Умирая, он покидает свое тело, очищается от этого моря, это мгновение перед разложением, мертвенная бледность на челе, освещенном ужасным светом холодной вечности. Человек оглядывается у могилы и на миг видит озарение смерти; он покидает белые пески моря, тело погружается в землю, на которой оно существовало, и ничего уже нельзя более разглядеть.

Крышкой гроба было закрыто ее лицо.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ



Рахили

два узнала я, что у меня будет ребенок, как стала все записывать на этих вот клочках бумаги. Мне хочется что-то сказать, прояснить кое-что для себя самой и для других. Вот живет на свете человек, он живет, и больше о нем почти нечего сказать. А потом что-то происходит.

В полдень, когда я пишу это, сидя на балкончике, мне видно грушевое дерево. Оно не просто так стоит. Оно имеет некоторое отношение к тому, что случилось со мной. Я сижу тут целыми днями на осеннем солнце, а потом начинаю писать на этой желтой бумаге; внутри у меня начинается какое-то жужжание, парение, кружение, и мне хочется это как-нибудь записать. Раньше я такого никогда не чувствовала, вот только когда была девчонкой, впервые влюбилась и хотела все записать, чтобы не растерять. Это вроде как фермер, который, заслышав гудение пчелиного роя, выходит, чтобы его поймать и получать мед. Если он не выскочит сразу, то пчелы улетят и он услышит средь бела дня лишь ослабевающее жужжание.

Карман моего свитера набит исписанными листочками. Много дней подряд, пока Карл ищет работу, я сижу тут и пишу на клочках бумаги, разглаживаю их и перечитываю написанное.

Здесь, в пансионе миссис Мэсон мы живем уже две недели. Падают листья, и все окутано золотистой дымкой. Я уже на четвертом месяце, и сейчас осень. С гор на город спускается густая плотная мгла. Днем я выхожу на прогулку. Через два квартала есть парк. Там на траве целыми днями лежат старики и бродяги. Найти работу трудно. Кроме Карла, много и других

безработных. Люди, как и я, голодны. Люди готовы цвести, но не могут. Вечерами мы ходим туда с сумкой несвежих фруктов, которые покупаем подешевке в ларьке, перейдя улицу,—несколько кистей винограда да перезрелые груши. В полдень проносится вихрь, вечерами с неба слетает ветер и гонит опавшие листья, а порой на дорожку быстро падает легкий дождь. Рано поутру раскаленное солнце взбирается на небо и весь день сияет сквозь дымку. Странно, но я все это замечаю—солнце, падающий дождь, порывы ветра. Они словно стали для меня что-то означать, как это грушевое дерево.

Перед домом миссис Мэсон растет большая магнолия, ее желтые цветы свисают над ступенями так, что до них почти можно достать. Громадные листья неподвижны, они сверкают в знойном воздухе, а когда я спускаюсь по ступеням, направляясь в парк, на дорожку порой тяжело падает увядший лист.

Старый дом этот—деревянный. И когда-то, я думаю, был роскошным особняком. В холле стеклянные люстры, а в ванной—фигурный кафель. Дом когда-то принадлежал богачам, а теперь в нем обитают жильцы и крысы. У нас комната на третьем этаже. Входишь в темный коридор и поднимаешься вверх по лестнице. В залах стоят сломанные кушетки и диванчики. Около часу дня девушки спускаются вниз за почтой и сидят на парадном крыльце. В старом деревянном доме напротив поднимают шторы. В полдень всегда очень жарко.

Рядом с нашей комнатой в каморке без окон лежит больная женщина. Проходя, видишь на подушке ее лицо, а из двери доносится тошнотворный запах болезни. Я не спрашивала, что с ней, но все знают, что она ждет смерти. Говорить с женщиной трудно. Ее никто не навещает. Она была нянькой и всю жизнь растила чужих детей; теперь никто ее ни разу не навестил. Иногда она встает и отпивает глоток из бутылки с молоком, которая всегда стоит у ее кровати, облепленная мухами.

Хотя мы заплатили только за неделю, хозяйка, миссис Мэсон, позволила нам остаться, и мы уже неделю живем в долг. Но сейчас не сезон, и мы, возможно, заплатим потом. Для нее это, видимо лучше, чем если бы комната пустовала. Но мне неприятно, выходя из нашей комнаты, проходить мимо хозяйской двери, и я всегда боюсь встретиться с ней на лестнице. Я спускаюсь вниз как можно осторожнее, и это очень трудно—ступеньки ужасно скрипят.

В задней части дома мы занимаем самую верхнюю комнату. Она выходит на старый балкончик, который кажется привязанным к стене кусками проволоки и веревки. Его покатым пол упирается в шаткие перила. На перилах примостился ящик с геранью. В Калифорнии герани мощные, большие. По-моему, им всё нипочем. С тех пор как приехала, я их поливаю, и появился кошмарно красный цветок. Тут на балкончике я и сижу. Верхние ветви грушевого дерева нависают прямо над перилами.

Уже много дней сижу я тут. Место это стало для меня как бы живым. За спиной у меня темнеет комната, и только большущее ореховое дерево царапается в единственное окно кухоньки. Если подойти к перилам и посмотреть вниз, можно увидеть далеко внизу задний двор, который превратили в сад, посадив два фруктовых дерева, и можно разглядеть тропинку, проходившую летом мимо маленькой клумбы с цветами, на которой теперь торчат только засохшие стебли. Под ореховым деревом, куда почти не пробиваются лучи солнца, земля голая. Около круглого ствола собачья конура, но не похоже, чтоб в ней когда-нибудь жила собака. На воздухе в потоках солнечного света стоит старое плетеное кресло. Почти каждый день в нем сидит, закутавшись в старый капот, женщина. Я не знаю, кто она, как не знаю никого из этого дома, потому что мне приходится спускаться вниз крадучись.

Мой страх перед хозяйкой Карл считает глупостью. Он возвращается домой пьяный и шумит всюду. Заявляет, что иметь жильцов в такие плохие времена для хозяйки удача, но я замечаю, что утром он спускается по лестнице тихо и частенько уходит через черный ход.

Я целыми днями одна, поэтому и сижу на этом шатком балкончике. Прямо перед перилами, так что я почти могу ее коснуться,—нежная сияющая верхушка грушевого дерева, растворившего передо мной дверь. Если бы на нем все еще висели груши, каждая была бы сама по себе и испускала своего рода излучение. Вот как сейчас исходит излучение от меня. А быть может, все — хозяйка этого пансиона миссис Мэсон, женщина в соседней комнате, живущие внизу девушки, все в этом мертвом деревянном доме висели однажды вместе, но каждый сам по себе в дымке и цветении на каком-нибудь невидимом дереве? Я бы этому не удивилась.

Я счастлива, что у меня есть этот высокий балкончик, где я могу сидеть долгими днями и ночами, глядя как качается передо мной это дерево. Перед тем как

переехать сюда, после разразившейся в Сан-Франциско демонстрации, мы жили в старом отеле, вонючем, с грязнухой горничной и старым котом в холле, днем и ночью нам приходилось слушать включенное в конторе радио. Окно нашей комнаты смотрело через узкий проход в другую комнату, где по утрам худой человек брил свое злое лицо и смотрел в нашу сторону. Высунувшись из окна и глядя вверх, я видела прямо перед собой стены высокого здания и дымное небо над ним.

Меня почти все время мучило от скверной пищи, которой мы питались. Мы с Карлом ходили по улицам в поисках работы. Иногда я от слабости не могла ходить. Карл возвращался, а денег не было совсем. Он снова уходил в надежде что-нибудь одолжить. Я знала, что он не раз просил милостыню. Мы об этом никогда не говорили, но я видела по его глазам, когда он, обойдя квартал, возвращался с подающим. Он ходил с продавцом мексиканских бобов, но зарабатывал мало. Я лежала голодная на продавленной кровати, мне было плохо еще и от затхлого запаха заплесневевших стен. Я подолгу лежала, слушая звуки дневной жизни города. Я чувствовала себя плохо из-за моего ребенка. Почему-то вспоминается, что порой я словно зачарованная напевала и чувствовала себя счастливой в этой убогой комнате. Все это, наверно, из-за ребенка. Карл возвращался и приносил иногда немного денег, тогда мы шли в молочную, но тамошняя еда не вызывала у меня аппетита. В первом же коридоре меня начинало тошнить, и люди смотрели на нас.

Карл злился. На улице он уходил вперед, лишь бы не подумали, что мы вместе. Однажды мы до темноты гуляли в доках.

— Почему ты чего-нибудь не сделаешь?— повторял он.— Тогда бы тебя так не тошнило от еды. Избавься от этого. Теперь все так делают. Сейчас не время заводить ребенка. Все прогнило. Мы должны это изменить.

Он твердил: «Избавься от этого. Почему ты не хочешь что-нибудь сделать?» И он злился, когда я ему не отвечала и молча шла рядом. Он кричал на меня так громко, что портовые грузчики, грузившие пароход, отправлявшийся в Лос-Анджелес, стали над нами смеяться и подшучивать, решив, глядя на нас, что ссорятся влюбленные.

А потом, уж толком не знаю когда, потому что я считала не время, а только свои девять месяцев, как-то вечером на карнавале Карл продал достаточно много

мексиканских прыгающих бобов, смог оплатить наш переезд, и мы поднялись на пароходе вверх по реке до города, расположенного в дельте, надеясь, что там будет легче найти работу. Если не хватало денег, чтобы ехать в каюте, на этом пароходе можно было просидеть всю ночь на палубе. Вечером мы допоздна шагали по палубе, а когда похолодало, пошли в салон, потому что пальто свои мы заложили. К этому времени я уже пристрастилась носить с собой листки бумаги и исписывать их, как я делаю сейчас. Я чувствовала, что со мной происходит что-то приятное, и мне хотелось это ощущение сохранить. Видимо, так. Во всяком случае, я всё записывала. Возможно, это связано с настоячивыми просьбами Карла что-нибудь предпринять. «Все это делают,— твердил он мне.— Пустяковое дело, а потом все будет позади». Я же старалась меньше с ним говорить. Всё, мною сказанное, его только сердило. Я писала и словно разговаривала сама с собой и с ребенком.

Так вот, в эту ночь на пароходе, когда мы зашли в салон, Карл мгновенно уснул в кресле. Но я спать не могла. Я сидела и стерегла его. Доносилось только шлепанье винтовых колес да плеск воды. На мне был тогда этот свитер, и мои тогдашние записи лежат и сейчас в нагрудном кармане.

Я переставала записывать, поднимала голову и видела спавшего, как мальчик, Карла.

«Сегодня ночью мир, в который ты приходишь — очень странен и красив,— обращалась я к невидимому младенцу.— Я хочу сказать, прекрасен мир природы. Не знаю, что подумаешь ты о человеке, но темное сияние растений, дуновение ветра над плодородной землей и нежная твердая поступь морского ветра мне знакомы и ты их тоже узнаешь. Я надеюсь, ты станешь подобен им. Надеюсь, что ты будешь сиять светом античности, красотой листа и дикого кролика, дикой свежей красотой тела и глаз. Я плыву на пароходе между темных берегов, на реке и в небе так тихо, что мне слышно, как возятся на берегу маленькие зверьки и вокруг становится различимо их легкое дыхание. Я думаю о них, диких, несущих своих детенышей, спрятавшихся в темноте под кустами; в нежные ноздри их влетает напоенный ароматом фруктов ветер, и они глядят на луну и быстро бегущие облака. Безмолвные, живые, они сидят в темной тени жадного мира. В нас тоже живет что-то дикое; что-то нежное и дикое есть в том, что у меня есть ребенок, ты, в том, что ты тайно скрючился вот здесь. Что-то очень нежное и дикое есть

в этом. Мы тоже во власти множества охотников. На пароходе этом я веду себя как остальные люди, потому что не показываю, что у меня есть ты, но я знаю: на самом-то деле мы так же беспомощны, так же дики, как те, нежные и дикие животные на берегу, которые могут оказаться на корабле.

Я кладу руку на то место, где ты лежишь так тихо. Надеюсь, ты появишься, сияя жизненной силой, и она будет сверкать на тебе как перья птиц. Надеюсь, ты станешь борцом и будешь добиваться перемен, чтобы могли жить все».

Карл проснулся на рассвете, и его рассердило, что я сидела и смотрела на него. Теперь его раздражает даже мой вид. Он заставил меня встать и ходить по палубе, хотя еще только рассветало. Сказал, что когда я так смотрю, у него дрожат руки и ноги. Мы все ходили и ходили по палубе, и он продолжал уговаривать меня тихим голосом, надеясь принудить. Зубы у меня стучали от холода, и было так тяжело слушать кого бы то ни было, а Карла особенно. Я, помнится, все думала про себя, хорошо бы теперь детей рожала машина, и тогда бы никому не было беспокойства. Я вспомнила места, где побывала с этим новым ребенком, переезжая с трупной из Тиа-Хуаны в Сан-Франциско. Ехали поездом, переваливали через горы, пересекали пустыни, жили в отелях и мебелированных, и я не могла прийти в себя от увиденного. И не было никого, кому бы я могла открыть, что жду ребенка. Я не хотела, чтобы меня жалели. Каждый вечер мы давали под тентом представление, и все лица значили для меня не больше, чем пыль, но в пути, из окна поезда, земля все время виделась разной и все что-то означало — костлявые изломы гор были словно скелет земли, выпиравший сквозь цветущую плоть. И мой ребенок будет сотворен из кости. По полям шло лето, плодоносили сады, на ягодных плантациях сгибались сборщики урожая, собирали апельсины и виноград. В сентябре мы уже снова были в городе, в поисках работы, без конца бродили по улицам, и я незаметно входила в подъезды, чтобы потрогать под пальто живот. В этом маленьком городке мне сейчас лучше — стоят ветреные осенние дни, а с солнечного неба внезапно выпадает дождь. Искать работу я больше не могу. Карла временно наняли мыть посуду в венском кафе. А я сижу на этом балкончике, словно в глубоком сне, в ожидании неведомого ребенка. И все время слушаю дальний полет странных птиц, кружащихся вокруг меня в полном тайн воздухе. Это время подошло неожиданно. Как можно это объяс-

нить? Все мертво и замкнуто, вокруг мир камня, а потом все вдруг внезапно оживает, как случилось у меня, будто анекдот на скале — он раскрывается, обнаруживает себя и сами камни разламываются, как хлеб. Все к тому же связано с грушевым деревом. Оно вошло каким-то образом в мою жизнь, пока я столько дней сидела тут с моим ребенком, а в воздухе все бормотало грушевое дерево.

Все плоды с дерева исчезли, но в моем воображении они висят, созревающие очертания среди множества саблевидных листьев, превращающиеся во множество будущих груш. Я чувствую себя грушей. Я тайно вишу внутри свернутых листьев, так же, как будут висеть груши на своем дереве. По-моему, все люди чувствуют в какой-то момент себя так же, круглыми и полными. Поглядев на большинство людей, можно сказать, что мир остается для них камнем и закрытой дверью. А я боюсь, что он снова станет таким же и для меня. Быть может, после рождения этого ребенка все снова станет мелким и незначительным. Как прежде. Быть может, мне даже будет трудно вспомнить нынешнее время и это не покажется странным. Вот потому мне и хочется все записать.

Как можно это объяснить? Внезапно я чувствую в себе разные движения, одновременно происходит многое — неудержимое чувство потока, ломающейся оболочки, прорастания зерна, разрастающейся плоти. Быть может, именно пробуждение такой активности заставляет ожить поле и выбросить миллионы ростков зерен и семян. Быть может, нечто подобное и создает новый мир. Я сижу тут, и кажется, что деревянные дома вокруг меня превратились в стручки, которые, внезапно, пока я наблюдала — наполнились живыми семенами. Дом напротив превращается в бродильное семя, оживая в собственном движении. Кажется, что все движется по кривой сотворения. Аллеи внизу и все дома уподобляются для меня цветущему саду, они колеблются и дрожат, с криками двигаясь вперед. Приходящие и уходящие люди словно висят на дереве жизни, и каждый сам по себе цветет. Я стою здесь, глядя на ставни соседнего дома, внезапно его стены падают, двери отворяются, и я вижу, как внутри молоденькая девушка застилает постель, с которой она только что поднялась, мечтая о юноше, ставшем ее возлюбленным... она стоит перед зеркалом и любит себя собой.

Я вижу, в другой комнате спит молодой мужчина, его голая рука заброшена за голову. Я вижу, как лежит

в постели молодая женщина, муж только что вышел от нее. На меня смотрит ребенок. Старая женщина качается в качалке. Читая книгу, склонился над столом мальчик. Женщина только что покормила грудью ребенка и вышла развесить на веревки белье, а платье ее спереди намокло от молока. К открытой двери подходит молодая женщина, она смотрит вверх и вниз по улице, поджидая своего молодого мужа.

И встаю рано и вижу, как эта молодая женщина подходит к двери, накинув розовую шаль, и машет мужу рукой. Они поженились совсем недавно, она машет мужу, пока он не скрывается из виду, и потом стоит еще немного с поднятой рукой, улыбаясь.

Почему я должна волноваться? Почему меня должно охватывать волнение, когда я вижу, как машет своему молодому мужу женщина, или женщину, кормившую ребенка, или молодого спящего мужчину? А я волнуясь. Многие дома превратились в безмолвно цветущие сады. Многие люди стали для меня как фрукты: юная девушка, что стоит у себя в комнате одна перед зеркалом, спящий молодой мужчина, кормящая мать, все они дрожат от своего внутреннего цветения, сотрясаемые порывами расцветания, двигаясь к повороту в будущее.

И я не хочу, чтобы это от меня ушло. Сейчас много дверей открывается и закрывается, на тьму падает свет, растворяются запертые места, движутся неподвижные вещи. Но настанет время, когда двери снова затворятся, смолкнут крики, исчезнут прорастание и движение и все другие чудесные открытия. Я останусь совсем одна. И стану похожа на женщин этого дома. И я пытаюсь записать почувствованное на клочках бумаги, стараясь сохранить для себя это время, чтобы потом, когда все снова станет прежним, я бы помнила, помнила, каким все должно быть.

Ведь это весна, которая должна царить в мире, и я говорю себе: «Лежи на солнце, и пусть ребенок сверкает в тебе как драгоценность. Мечтай и пой, язычник, мудрый своей необходимостью. Стой тихо, как дерево с налившимися почками, как стебель, трепещущий и сверкающий в зное дня. Лежи, как кобылица, тоскующая по жеребенку, который стучит в ее бока непослушными ножками. Спи ночью, как весенняя земля. Ходи тяжело, как стебель созревшего злака, когда он, созрев, клонится к земле и ждет косаря. Пусть жизнь твоя наполнится и станет подобна чаше, подобна сосуду. Пусть ребенок в тебе стучится и стучится, поднимаясь внутри, как дельфин».

Я смотрюсь в зеркало. Ноги мои и голова почти не изменились, ноги прямо как ствол. Бедра мои раздались и сзади так натянулись, будто сами себя обнимают. Я похожу на бледный, блестящий гранат, твердый и плотный, кожа моя блестит как хрусталь, и сквозь нее просвечивают голубые и расширившиеся вены. На улице играют дети, и по дорожке идут с парнями девушки. Меня это не касается. Я — висящий на невидимом дереве гранат, и под твердой моей кожей течет сок и развивается семя. Я медленно одеваюсь. Мне противен запах одежды. Хочется ее снять и висеть на солнце, созревая... созревая.

Записать это так, чтобы получилось вразумительно, трудно. Никто не рассказывал мне, как чувствует себя женщина в ожидании ребенка или что чувствует грушевое дерево, усыпанное плодами. Мне бы хотелось прочитать это через много лет, когда я уже стану бесплодной и не буду трепетать, как сейчас, чувствуя себя то обитательницами нашего дома, то женщиной в закрытой комнате, чье дыхание я слышу сквозь полдень.

Когда у Карла нет денег, он ночевать не приходит. Я выхожу на улицу и иду, стараясь забыть, как я голодна. Город этот — старый, и вдоль улиц растет много старых мощных деревьев. Готовые упасть, свисают с них ночные листья, темные и полные приближающейся к ним смерти. Темные деревья стоят по отдельности, тяжелые от своих поникших листьев, прохладная поверхность которых цепляется за мрак. Я сую руку в гущу листьев. Они пружинят в ответ холодной поверхностью, их стеклянная поверхность для меня в темноте неожиданна. Я тоже чувствую себя деревом, тянущимся кверху, живущим сильными соками, деревом со свисающими мощными листьями, которые сверкают как ракеты и падают к моим корням, и во мне столько силы, что я смогу прорваться к новой жизни. И когда я иду по улицам этого обветшавшего города, внутри у меня, в темноте зреют семена моего будущего ребенка. Под темными сверкающими деревьями я иду дальше. Вокруг много домов, и в них сияет свет, но мы с тобой проходим по краю лужайки в затопляющей нас темноте. Дома не для нас. Для нас все виды голода, для нас глубочайшее недовольство.

Деревья вырастают из семян, принесенных издалека ветром, и мой ребенок тоже из семян, принесенных щедротами последнего года и гибелью восставших. Мой ребенок тайно набирает силы от прилетевших издалека семян, он тайно и грозно крепнет в ночи.

Вышла женщина и села в качалку, она читает, скрестив толстые ноги. Она почесывается, чистит ногти, ковыряет в зубах. Через дорогу распластался на земле гараж. Люди въезжают в него и выезжают. Но тут наверху очень тихо, в движении только грушевое дерево, и мне чудится еле различимый звук—оно живет, молча вытягиваясь вверх, вперед, назад.

На всем дереве вращаются и вращаются листья, мягко изогнутые, звенящие листья. Они без передышки вращаются на дереве, а дерево движется словно вокруг своего ствола, трепещет от невидимого ветра, плавно качаясь. Далеко внизу бежит по вертикали, будто поток, ствол, черный, крепко сидящий в земле; и невидимые глазу, скручиваемые мощным излучением, извиваются вверх и вниз корни. Мне видно, как дерево поднимается винтообразно вверх, ствол прямой, от него сезон за сезоном тянутся, извиваясь ветки, от быстрого движения этих извивающихся ветвей ствол раздваивается, от толстых ветвей вытягиваются в хрупкой недолговечности веточки более тонкие и с них потом падают, свернувшись, листья груши.

Подо мной лежит двор, плоский и темный, под обстрелянным снизу деревом, потому что сверху кажется, что грушевое дерево с земли все время обстреливают, словно запускают ракету, и она должна прорваться сквозь массу листьев и плодов, которые крутятся и опадают. Движения их кажутся быстрыми и внезапными, как полет ракеты. Когда мой ребенок вырастет, то и на него можно будет посмотреть, как на что-то возникшее внезапно... но я знаю, что все создается медленно. И грушевое дерево знает тоже.

Глубоко внутри вертикального ствола должно быть движение, река сока поднимается снизу и распространяется во все стороны до самых кончиков листьев. Листья—губы дерева, говорящего, когда дует ветер, либо они двигаются как языки. Видный вам плод дерева—это круглый рот, им дерево говорит во весь голос; он висит совсем спелый, налившиеся округлости висят среди маленьких округлостей листьев. Я их себе там представляю... Дерево выстрелило как ракета, потом остановилось, окруженное воздухом, из него нежно вырастают листья, и теперь его плоды округло выгибаются, медленно превращаясь в длинную кривую.

Я сижу тут весь день, словно на ветвях, внутри нежного, изгибающегося тела дерева. Я глядела на него до тех пор, пока оно не стало мне ближе, чем Карл. Кажется странным, что дерево может стать человеку ближе, чем муж. Даже как-то стыдно. И мне стыдно,

но это так. Я сидела тут на неярком солнце, а дерево говорило со мной множеством язычков своих листьев, рассказывая весь день, как сделать плод круглым. Часы медленно текут, а я слушаю. Слушаю шепот грушевого дерева, оно говорит со мной, со мной. Как могу я описать, что говорит оно? Карл со мной так не говорит. Никто со мной по-хорошему не говорил.

По лестнице медленно поднимается женщина. Я слышу ее дыхание. Я слышу, как она стоит за раздвижной дверью.

Она выходит и обращается ко мне. Я знаю, почему она смотрит на меня так пристально. «Я слышала, вы хотите иметь ребенка,—говорит она.—Это очень плохо». Женщина такого же цвета, как опавшие листья в парке. Неужели и она была когда-то живой?

Сейчас я пишу на куске оберточной бумаги. Уже почти десять. Карл не пришел домой, и мне нечем поужинать. Я прошла по улицам, где тяжелые, тяжелые деревья нависают над головой, и в домах сверкает свет. И над рекой встает туман.

Перед тем, как войти в свою комнату, я прошла на задний двор и увидела, что грушевое дерево стоит, не шевелясь, в темноте его листья свернулись, его лучащееся тело струится во тьме, как глубокий подземный поток.

ЖЕНЩИНЫ БЕЗ НАДЕЖДЫ



Я сижу в бесплатном городском бюро по трудоустройству. В женской секции. Мы тут уже 4 часа. Сидим мы здесь ежедневно, ждем работы. Но работы нет. Большинство из нас не завтракали. Некоторые более года питаются кое-как. Голод доводит человека до того, что он погружается в состояние летаргического сна, а голод в городе — особенно. Существует ли еще такое место на свете, где человеку приходится среди изобилия безмолвно, не протестуя, голодать, где лишь самые отчаянные из-за куска хлеба крадут, а то и убивают, ну, а робкие еле тащатся вдоль улиц, клювом страшной птицы вонзается голод в их кишки?

Мы сидим и смотрим в пол. Никто не смеет задуматься о надвигающейся зиме. Летние дни уже на исходе. Каждый жаждет получить работу, чтобы скопить немного денег к длинным и мучительным месяцам жестоких холодов. Но работы нет. И сидя тут, мы все это знаем. Вот почему мы редко разговариваем. Мы смотрим в пол, страшаясь это понимание увидеть в глазах друг друга. Есть в этом что-то унижительное. Мы избегаем глядеть друг на друга. Мы смотрим в пол.

Вот так час за часом, день за днем сидим мы, ожидая, что вдруг появится работа. На одно место претендуют многие. Внутри проволочной клетки сидит, уставившись в книгу, худая, изможденная женщина. Уже четыре часа мы наблюдаем, как она смотрит в эту книгу. В ее взгляде безразличие. В маленькой пустой комнате сидят на скамейках в ожидании несколько женщин. Многие приходят и уходят. Мы знаем друг друга в лицо, так как сидим здесь каждый день.

Тут находится бюро по найму домашней прислуги. Большинство приходящих сюда женщин — средних лет, некоторые вырастили детей и теперь вот остались одни, у иных мужья потеряли работу — тяжкие времена, и муж покидает дом в поисках заработков. Работы он не находит, и его уносит все дальше. Очевидно, от него давно уже нет известий. Но женщину это не удивляет, она этого ожидала. И вот она бьется уже в одиночку, чтобы прокормить многочисленную семью. Порой ей оказывает помощь благотворительное общество. Она может неплохо устроить свою жизнь за счет благотворительности, если эта женщина умна, если она по натуре своей способна на подхалимаж, послушание и хитрость. Если же она горда, то втихомолку голодает; оставив детей без присмотра, идет искать работу, возвращаясь после дневных поисков к домашним заботам, детям.

Что-то в этом роде написано на лицах всех этих женщин. Тут есть и молодые девушки, те, что недавно из деревни. Город порой слишком быстро превращает иных в бесстыжих. Сейчас наблюдается великий исход девушек из деревень в города. В Миннесоте совершенно опустели тысячи ферм. Девушки пытаются найти работу. Хорошенькие, может, получают место, если таковое имеется, в магазине или ресторанчике, но это удается лишь привлекательным и ловким. Другим же, кто, так сказать, от сохи, приходится значительно труднее.

Рядом со мной сидит Бернис. Она полъка, лет тридцати пяти. Пятнадцать, а то и более, лет она проработала на кухнях у хозяев. Она высокая, с рыхловатой, полной фигурой, лицо ее словно отмыто до блеска. В этих городских перипетиях, где изворотливость стоит больше, чем сила мускулов, она, с ее крестьянским складом, ума порой просто не в силах разобраться. В ее голубых глазах не ум, а нерасторопность и доверчивость. Ее тяготит одиночество и нехватка общения. Если с ней заговаривают, то ее лицо оживляется, проясняется, словно беседа рассеяла толщу тьмы, и тогда она чудесно говорит о всяких мелочах — что погода будто бы чудная или рассказывает какую-нибудь безумную небылицу о своих приключениях на улицах города, приукрашивая их яркими подробностями, словно плетет огромный многоцветный узор. А все равно она город любит. Он возбуждает ее как базар. Ей нравится пройтись по магазинам и купить что-нибудь по дешевке, выискивать такие места, где всего лишь за несколько центов можно заполучить

черствый хлеб и пироги. Ей нравится прохаживаться по улицам, высматривая мужчину, который пригласил бы ее в кино. Иногда она за день попадает на пять фильмов или порой целый день просиживает на одном фильме, пока не выучивает весь диалог наизусть.

Молоденькой девушкой она приехала в город с фермы в штате Висконсин. С ней сразу же приключилось вот что: какой-то дантист-шарлатан выгащил все ее прекрасные сверкающие зубы, и забрал накопленные ею за время работы на консервной фабрике пятьдесят долларов. После того случая мужчины, которых она встречала в парках, растолковали ей, как оберегать себя, обучив никому не доверять, развратив ее простецкий ум. Бывает, что и сейчас она нет-нет да и забудет, что нельзя доверять каждому, и попадает впросак. Ее научили получать за бесплатно, что удастся, пересчитывать сдачу, возвращаться, если оказалось, что ее надули, отстаивать свои права.

Она живет одна в маленькой комнатке. Восемь лет назад она за семь долларов купила подержанную мебель. Она снимает, кажется, за три доллара в месяц комнату на чердаке порой неотопливаемого дома. Как-то дом, где она жила, признали негодным, и все остальные жильцы съехали, она же прожила там на верхнем этаже одна всю зиму, потратив за все это время только двадцать пять долларов.

Ей хочется выйти замуж, но ей известно, что происходит с ее изможденными раньше времени замужними подругами, оставшимися с детьми на руках. Вот и не выходит замуж. Она целомудренна. Она слегка глуховата из-за того, что простыла, развешивая зимой белье. Пятнадцать лет она стирала и готовила на хозяев, скопив за это время тридцать долларов. Вот уже год, как у нее нет постоянного места и она потратила все эти тридцать долларов. Когда-то ей мечталось займать маленький домик или джонку, может быть, с клочком земли для нескольких цыплят. Мечту эту ей никогда не осуществить.

Вместе с мечтой она лишилась и всей своей мебели. Замужняя приятельница, муж которой сейчас в отъезде, предоставила ей ночлег, за который она расплачивается, работая на нее день и ночь. Она приходит сюда ежедневно и теперь, переполненная ужасом, сидит, сложив на коленях припухшие руки. Она голодна. От недоедания кожа ее обвисла. Она живет на крекерах. Порой коробка крекеров растягивается на неделю. Есть

у нее друг — пекарь, иногда он крадет куски черствого хлеба и приносит их ей.

Вчера в секции молодых женщин сошла с ума одна девушка, которую мы в течение всего лета видели каждый день. С ней приключилась истерика — она топала ногами и вопила.

Уже восемь месяцев, как она без работы. «Вы должны мне что-нибудь дать», — не переставала говорить она. Служащая бюро, очевидно, в свою очередь вдоволь настрадавшись день за днем из-за того, что не может предложить работу, ибо ее нет, впала в ярость. В бешенстве набросилась она на девушку, и вот они стоят друг перед другом — разгневанные и беспомощные. Однажды эта женщина сказала мне, что смотреть на все эти страдания порой бывает невыносимо, что тяжело даже просто слышать о них и что часто она не в состоянии есть, а по ночам видит кошмары.

Вот так и стояли они — две женщины в ярости — девушка плакала, а женщина на нее орала. За восемь месяцев, что девушка была без работы, она обноси-лась, и женщина орала, что никуда не может послать ее в таком виде. «Почему ты не чистишь свои туфли?» — ругала она девушку, а та не переставала рыдать, потому что была голодна.

«Такую, как ты, мы рекомендовать не можем», — сказала измученная служащая из Христианской ассоциации молодых женщин, зная, как та голодает, сознавая, что бессильна помочь. А девушки и женщины покорно сидели, уставившись в пол, стесняясь взглянуть друг на друга, отчего-то испытывая стыд.

Сидя здесь в ожидании работы, женщины тихонько обсуждают эту Эллен. Голоса их звучат тихо и без особого сочувствия, нет сил сквозь туман собственных мучений разглядеть чужую боль. «Что с Эллен случилось?» — спрашивает одна из них и сама уже знает ответ. Мы все его знаем.

Молодая девушка, дружившая с Эллен, рассказала, что накануне вечером видела ее в городе у черного хода кафе, где та шумела и задирала юбку, так что вышел повар и вынес ей кое-какую еду, а на аллее собралось несколько мужчин, бросавших на землю мелочь, чтобы еще раз взглянуть на ее ноги. Девушка с завистью сказала, что Эллен шикарно позавтракала и еще ее угостила завтраком стоимостью в два доллара.

Женщина-уборщица, с фигурой, изуродованной вечными наклонами, и руками, растопыренными, словно

разбухшие от воды, ветки, с отвращением цокает языком. Никто не откладывает на черный день, говорит она, немножко деньжат, и эти молоденькие глупышки уже покупают шляпку, завтрак за доллар, яркий шарфик. Вот что они делают. Если вы когда-нибудь были без денег или еды, что-то очень странное происходит с вами, как только у вас появляется хоть маленькая сумма—нечто наподобие сумасшествия. Вам становится наплевать. Вы уже не помните, что недавно денег не было и что они исчезнут снова. Вы уже не помните ничего, кроме того, что деньги, из-за которых вы так пострадали, наконец имеются. Вот они здесь. Желания овладевают вами. Вы видите на витринах еду. В мыслях вы объедаетесь, вы вкушаете тысячи блюд. Вы рассматриваете витрины. Цвета стали веселее, и вы покупаете что-нибудь приодеться. Вас охватывает возбуждение. Вы понимаете, что это самоубийство, но ничего не можете поделать. Вам просто необходимо заполучить еду—изысканную роскошную еду и яркую шляпку, чтобы вновь почувствовать себя счастливой, освободившейся от этого постылого чувства стыда.

«Я думаю, теперь она выйдет на панель»,—тихо произносит худенькая женщина, и никто не утруждает себя дальнейшими комментариями. Сейчас тело, как и любой товар, продать трудно. Девушки говорят, что если получишь пять—десять центов, то, считай, тебе еще повезло.

Очень тяжело и унизительно продавать собственное тело.

Может, будет легче понять это, если вы попробуете представить себе, что должны выйти на улицу, чтобы продать, скажем, свое пальто. Предположим, вам надо продать пальто, чтобы позавтракать и получить место для ночлега—ну скажем, за пятьдесят центов. Вы принимаете решение продать свое единственное пальто. Вы его снимаете и перебрасываете через руку. Улица, которая до того была всего только лишь улицей, становится как бы рынком, чем-то совсем иным. Вам теперь надо к кому-нибудь подойти и признаться, что вы сильно нуждаетесь, вот и продаете свою одежду, личные принадлежности. Все будут смотреть, как вы разговариваете с прохожим, демонстрируя, какое на вас хорошее пальто. А люди будут останавливаться и с любопытством смотреть. А вы на улице окажетесь совершенно раздетой. Предлагать на продажу себя—еще тяжелее, еще унизительнее. Унизительно выстав-
лять на продажу даже свой труд. Когда покупателя нет.

Худая женщина открывает клетку из проволоки. Есть место няньки, говорит она. Старые огрубевшие женщины, подобные старым лошадям, знают, что никто не захочет, чтобы с малышом по улице гуляли они, так что они и не двигаются с места. Подружка Эллен поднимается и подходит к окошку. Это невероятно живая девушка. Я знаю, что она без работы с прошлого января. Но есть в ней жизненная сила, которая светится в ней крошечным алым огоньком, и что-то очень живучее, упрямое — быть может, просто молодость, поддерживает это пламя. Ноги ее худы, но спущенные петли на старых чулках аккуратно зашиты до самого низа. Два ярких пятна румян скрывают бледность. Тонкая талия туго перетянута узким пояском, острые плечики сутуляются, так что проступают лопатки. Она безудержна, как жеребенок, в погоне за удовольствием, в погоне за питанием.

Одна из великих тайн города — куда деваются безработные и голодные женщины. В очередях безработных за бесплатным питанием их не так уж много. Таких ночлежек, какие существуют для мужчин, где можно получить постель за четверть доллара, а то и меньше, для женщин нет. Женщин не увидишь и лежащими на полу в бесплатных ночлежках, организуемых благотворительным обществом. И уж точно они не спят в притонах или в парках, прикрывшись газетой. Мне думается, нет такого закона, который бы запрещал им находиться во всех этих местах, они просто там редко бывают.

И тем не менее в городах должно быть столько же безработных, крайне бедствующих женщин, сколько и мужчин. Что происходит с ними? Куда они деваются? Попробуйте получить что-либо от секции молодых женщин, если у вас денег нет и вид босячки. Благотворительные учреждения заботятся об очень немногих и только тех, кого сочтут «достойными». Одинокая девушка вызывает подозрение у добродетельных дам, распределяющих подачки. В течение многих месяцев я жила в городе, без средств, без помощи, стесняясь встать в очередь за бесплатной похлебкой. Я знала и многих других, кто жил точно так же, не говоря никому ни слова, пока они просто от недоедания не теряли на улице сознание. Женщина, как правило, не покидает своей комнаты, пока у нее ее не отберут, съедает в день по крекеру и ведет себя тихо, как мышка, поэтому что может знать о ней социальная статистика?

Не знаю, в чем причина, но женщина, если ей не о ком заботиться, ведет себя именно так — она неделями живет, забившись в какую-нибудь дыру, на грани голодной смерти, выползая на улицу, мучаясь от стыда, словно загнанный зверек, просиживая днями в библиотеках, парках, не разговаривая ни с одной живой душой, штопая чулки и замкнувшись в пучине своих бед до тех пор, пока не становится слишком чувствительной и стеснительной, чтобы просить работу.

По словам Бернис, даже совсем не знакомые мужчины, которые встречались ей в парке, иногда, так сказать, в лучшие дни, одалживали ей на квартплату. Долг она всегда возвращала.

По вечерам, чтобы отвлечься от смертельной пытки ужаса перед безработицей, молодые девушки стремятся подцепить кавалера, который бы пригласил их в кино на десятицентовый сеанс. На более дорогие они никогда не ходят, но мужчину, который не прочь заплатить 10 центов, чтобы провести вечер в компании девушки, найти удается всегда.

Подчас девушка, которой предстоит ночь без крова, ищет ночлег у мужчины. Женщина всегда просит помощи у мужчины. У других женщин — реже. Девушки сами рассказывали мне, как они спали на соломенном тюфяке в комнате мужчины и к ним не приставали, а подавали утром завтрак.

Чего же тут удивляться, что эти молодые не желают замуж, не желают растить детей. В этом они похожи на некоторых диких животных, отказывающихся размножаться в неволе. Каждую из них поджидает лишь голод в грядущую зиму. Мы в джунглях и осознаем это. Мы побеждены, загнаны в ловушку. Выхода нет. Даже если бы работа была, даже если бы появилась эта худая язвительная женщина и предложила всем сидящим в комнате работу на несколько дней, по тридцать центов в час, завтра, послезавтра, день спустя все повторится снова.

Известно и то, что будущее несет, несмотря на годы труда, лишь голод и унижение.

М-с Грей, сидящая напротив меня, живой пример всей тщетности труда. Она являет собой предупреждение. Руки ее от работы покрылись шрамами, да и тело ее — огромный и страшный шрам. Она родила шестерых детей, троих похоронила; поддерживала их всех — живых и мертвых, рожая, хороня, вскармливая. Возвращенные в голоде, они оказались чересчур подвержены болезням. В течение семи лет она пыталась спасти от

ампутации руку своего мальчика, страдавшего костным туберкулезом. Просто невыносимо думать о том многолетнем кошмаре, когда она рожала детей, вскармливала их и воспитывала, выстрадав все, чтобы обеспечить им пропитание и кров.

Теперь ей пятьдесят. Дети ее, материально не обеспеченные, превратились в бродяг. Ей совершенно ничего не известно о них. Она не знает даже, живы ли они. Как не знает и того, жива ли она сама. Такие тонкости не для нее. Для нее существует одна лишь грубая действительность из голода и холода. Только преодолев ее, можно позволить себе испытать утонченные чувства, делающие человека человеком.

Хорошо еще, что у нее отложены пять долларов. Это ее успокаивает. У нее опухоль, от которой она погибает. Она худа, как истершаяся монетка, вот-вот надломится, с одного боку выпирает опухоль. Она ожесточилась. Ее лицо утратило человеческие черты. Она перенесла куда больше горя, чем под силу вынести человеку, и доведена до состояния, полнейшего безразличия ко всему.

Страшно видеть ее воспаленные, переполненные ужасом глаза побитой собаки.

Мы не в состоянии вынести ее взгляд. Когда она смотрит на кого-нибудь из нас, мы отводим глаза в сторону. Эта женщина тонет, а мы все как одна отворачиваемся. Мы вынуждены не замечать этих глаз гибнущего, обреченного существа. Она не кричит, а идет ко дну с достоинством. А мы все отводим взгляд.

Зато молодым все ясно. Замуж — не хочу. Детей — не хочу. Так они все говорят. Без детей. Без мужей. Они сражаются в одиночку, в одиночку держатся. Сейчас мужчина беспомощен. Он не может обеспечить. Если у него появляется потомство, он не в состоянии позаботиться о малышах. Он не располагает средствами. Так что молодые живут одни. Развлекаются, как умеют. Очень уж опасно сегодня рисковать жизнью. Слишком очевидно, что проиграешь.

Вот мы и сидим, как бессловесные твари, в этой комнате, ожидая несуществующую работу, желая вкалывать не покладая рук и не имея возможности работать, получить еду и кров, не имея возможности родить детей — нам приходится просиживать здесь, со стыдом глядя в пол, чувствуя себя хуже животных на бойне.

Ужасна мысль, что эти женщины, сидящие в комна-

те со столь равнодушным видом, могут работать так усердно, как под силу только человеку, могут трудиться день и ночь, как м-с Грей. Мыть с полуночи до рассвета трамваи, а вечером—конторы, скрести по четырнадцать—пятнадцать часов в сутки, а спать только пять или что-то около этого, заниматься всем этим всю свою жизнь, но так и не заработать и дня покоя, всегда страхась будущего с его ловушками.

Бесконечная работа, согнутая спина, руки, распухшие от воды, заработок, никогда не превышающий недельного, и впереди—жизнь, которая никогда не будет лучше теперешней.

И дело не в тяготах нескончаемого, беспросветного труда, не в скудном хлебе, что с горечью ешь, а в том, что ты—раб, у которого нет гарантий раба.

БИОГРАФИЯ РОДЫ



ЛУШАЙТЕ. Биография Роды не очень длинная. Рода умерла, не узнав даже любви; она прожила двадцать три года, вернее лишь семь весен, если считать с того дня, когда шестнадцатилетней девочкой в вуалевом платье она праздновала окончание средней школы.

Весной Рода с Марией пришла ко мне на завтрак. Был один из первых теплых дней; мы ели тушеный рис и салат из свежей зелени. Рода все повторяла с удивлением:

— Какие ваши дочери толстенские! Какие у них крепкие, крепкие ножки!— И гладила их полные, налитые ножки.

— Я родилась во время кризиса,— сказала Мария,— я никогда не ела досыта.

Мы рассказывали друг другу, как нам приходилось искать работу. Мария, которая с двенадцати лет работает на текстильных фабриках, то и дело загоралась гневом, но Рода была—сама кротость. Таких, как Рода и ее мать,—с матерью я познакомилась позднее,—встречаешь на каждом шагу. Эти женщины никогда не говорят о себе. Они безропотно принимают все лишения. Они трудятся изо всех сил. На что-то надеются. Так они живут, молчат, потом умирают. О них не рассказывают, не создают книг, и сами они не пишут пространных автобиографий—дескать, я сделала в жизни то-то и то-то. Мы с Марией совсем другого склада: неукротимая ярость душит нас, то есть миллионы таких, как Рода,—слишком покорно принимающих жизнь. Посмотришь иной раз—сидит такая женщина и пришивает кусочек кружева к платью, потом на миг

выглянет из окошка, и кажется, что она благодарна судьбе за самую ничтожную малость.

Мать Роды была очень похожа на свою дочь: такая же кроткая, хрупкая; она выглядела изнуренной, вся — точно сработавшаяся машина. И этот изнуренный вид начинала уже приобретать Рода. А ведь человеческое тело не машина, правда? Жили они всей семьей в городке Старбеке. Отец, бухгалтер по профессии, последние четыре года был без работы. После тридцати лет тяжелого труда только и было у него богатства, что «его девочки», как говорила Рода. Их было, кроме нее, старшей, еще три: Мэрилин, Люсиль и Блисс. Уже по этим изысканным именам вы поймете, какие надежды возлагала мать на своих дочек. У меня тоже большие надежды на моих дочерей: я хочу, чтобы они были люди, а не машины. Сидя у нас в тот день, Рода рассказывала, что у ее матери золотые руки — даже когда она шьет по ночам, у нее получаются прелестные платья. Встретив мать Роды несколько месяцев спустя в санатории, я обратила внимание на ее ногти — тонкие, стершиеся, как стираются от многолетней работы части сложного механизма. У матери было милое, нежное лицо, и все четыре дочери в точности походили на нее, только пока еще не выглядели такими изнуренными.

В тот день Рода сидела в моем кресле, тихая, понурая, и читала детям книжку про Мики-Мауса, все время прислушиваясь к нашему разговору. Помню, я и Мария говорили с горячим возмущением, а Рода слушала очень напряженно, но как бы издалека, словно ей уже было поздно что-нибудь делать, словно она знала какую-то страшную правду. Раз только Рода прервала чтение, — мои девочки Рэйчел и Дебора с удивлением посмотрели на нее, — и сказала негромко:

— Когда я служила у миссис Кэц, я работала по шестнадцать часов в день... Это очень много. Чересчур много.

Не пишется мне. Я встала, посмотрела в окно и нечаянно опрокинула кувшин с водой, потому что не могла я писать этот рассказ. Вот уже две недели, как похоронили Роду, а я все написала кровью сердца еще в то утро, когда мы ехали домой из санатория, вдоль полей, где зрела и наливалась пшеница. Нельзя так нарушать ход рассказа, но во мне все горит, а в то утро казалось — у меня хватит сил смять эти поля одним движением, а город стереть в порошок.

Но постараюсь вспомнить все по порядку. Вероятно, это не единственная биография Роды. Другой вариант ее вы найдете во всех картотеках городского и

федерального бюро помощи безработным, а также частных благотворительных обществ Миннеаполиса. Мне часто приходилось видеть Роду в этих местах: она сидела, усталая и больная, чуть сутулясь, понуриив изящную белокурую головку, и вежливо отвечала на бесконечные вопросы.

Шестнадцать лет она приехала из Старбека в Миннеаполис, чтобы поступить в университет на библиотечное отделение. Ей пришлось совмещать занятия с работой. Первый год отец еще платил за ее учение, а она работала прислугой за стол и жилье. Но на следующий год отец уже не мог платить, и Рода поступила в закусочную Дэна официанткой во вторую смену — с шести часов вечера до двух ночи; из закусочной она шла к Зейнерам, у которых работала бесплатно, за питание и угол. Она вставала в шесть часов утра, готовила завтрак и убирала дом, потом спешила на занятия в университет. Иногда днем ей удавалось вздремнуть в женской комнате. Так она жила четыре года. Наконец диплом был получен. Но библиотеки в работниках не нуждались. И Рода снова пошла в прислуги, была и кухаркой, и официанткой; а потом и такой работы не стало. Она зарегистрировалась в бюро помощи безработным. Чтобы получить хоть какое-нибудь пособие, нужно еще пройти медицинский осмотр. Врачи нашли у Роды туберкулез, сказали, что ей необходим отдых. Назавтра после того, как обе девушки были у меня, Мария отвезла Роду в туберкулезный санаторий.

Роде стало хуже. Две недели она ничего не ела. И вот мы с Марией поехали навестить ее. Всю неделю стояла невыносимая жара, и кукуруза уже начинала сохнуть, но, подъезжая к санаторию, мы увидели волнистую линию зеленых холмов, уходящих до самого горизонта, а над ними — недвижные в знойном небе — большие белые облака. Было около десяти часов утра.

— Черт возьми, да тут великолепно! — сказала Мария. Несколько туберкулезных юношей в одних трусах играли на зеленой лужайке в мяч. Один за другим вырастали перед нами прекрасные каменные корпуса.

— В приличном государстве это было бы великолепно, — сказала я, — а здесь — одна насмешка.

Лицо Марии стало мрачным.

— Это же одна комедия! — сказала она с горечью. — Сперва выжимают из рабочего человека все силы, присылают его сюда подлечиться, чтобы потом снова выжать все без остатка. Уж делали бы, как с лошадью: загонят на работе, пускали бы на клей... И кровь,

жилы и кости тоже можно использовать, раз уж человек не в силах больше работать. А сюда зачем таких привозить?

Мы пошли по дорожке, а Рэйчел и Дебора побежали вперед,—никогда еще они не видели такого большого дома—точно дворец, с такими красивыми каменными ступенями! У Марии на глазах выступили слезы, и она вдруг прошептала:

— Мне кажется, Рода совсем не хочет жить.

Стиснув друг другу руки, мы глядели на каменную громаду.

— Господи боже,—сказала Мария,—сколько живых, здоровых людей здесь бы разместилось! Вы только посмотрите!

К нам подбежали Рэйчел и Дебора. Я сказала:

— Почему вы не играете на травке?

Они посмотрели на дом,—для этого им пришлось запрокинуть головы.

— Глядите, девочки, какая кругом зелень!—Свинцовая тяжесть легла мне на сердце.—Можете поиграть в салки.

Они посмотрели на траву. Потом на меня. Потом на потемневшее, хмурое лицо Марии.

— Мы с вами пойдем,—сказала Рэйчел и начала тереться об меня, как жеребенок. Дебора, задрав голову, глядела на бесчисленные окна дома. Яркое солнце освещало лица девочек, их красивые платица, полные, крепкие ножки.

— Нет, нет, оставайтесь на воздухе!—И я пошла было дальше, но Рэйчел взвизгнула и уцепилась за меня.—Это еще что?!—прикрикнула я, отстраняя ее.—Вам нечего там делать!

— Мы не останемся! Мы с тобой!

— Ну, ладно!—сказала я сердито, оттолкнув Рэйчел. Обе девочки взлетели на каменное крыльцо, но остановились у двери, точно испугавшись запаха смерти.

Мы вошли в вестибюль. Мужчина, одетый в белое, подметал пол. Сейчас мы увидим Роду, подумала я, робкую и застенчивую, как тогда весной; она встретит нас улыбкой, чуть склонив голову, отбрасывая назад золотые пряди волос, то и дело падающие на лоб. У стены стояла каменная скамья; я усадила на нее девочек.

— Сидите здесь,—сказала я,—а мы пойдем узнаем, можно ли вам к Роде.

Я отошла и оглянулась. Прижавшись друг к другу и широко раскрыв глаза, дети сидели, свесив ноги с

каменной скамьи. Мария зашагала по коридору, я за ней. Мы вошли в какую-то комнату. Навстречу нам поднялась сестра милосердия. Я не слыхала, что спросила Мария. Услышала только ответ сестры:

— Рода скончалась сегодня утром.

О дочь моя! Сперва малютка, потом подросток, потом девушка в вуалевом платье, с волосами как шелк!

Мария остановившимся взглядом смотрела в окно; казалось, она ничего не слышала. Я молча стояла позади. Кто-то вошел в комнату; я обернулась и увидела девушку с золотистыми волосами Роды и с таким же рисунком рта,—но с более пухлыми губами. У нее были большие глаза, темные от расширенных зрачков. Мария подбежала к девушке и обняла ее.

— Мэрилин!—сказала она и заплакала.

Большие немигающие глаза девушки смотрели куда-то вдаль, поверх плеча Марии.

— Не могу плакать,—сказала она.— Меня разбудили и все сказали. Я приехала на автобусе. Скоро надо ехать обратно. Не могу плакать. Сама не знаю, что со мной,—не могу плакать.

Мэрилин работала у миссис Кэц за стол и угол.

— Ваша мама здесь,—сказала сестра милосердия.

В дверях появилась мать, откидывая со лба волосы, совсем как Рода. Мария плакала. Мать Роды погладила ее по плечу, потом обратилась к сестре милосердия:

— Я собрала тут все ее вещи,—сказала она, указывая на маленький узелок.—Я знаю. Рода снесла в ломбард все, что у нее было. Только я никак не найду французскую книжку. Это была ее самая любимая книжка.

— Книжка здесь, у меня на столе,—поспешно ответила сестра, обрадовавшись возможности что-то сделать.

Мать облегченно вздохнула, словно это разрешало вопрос большой важности. Она накрыла французскую книжку ладонью, и я увидела ее изуродованные ногти. Потом она достала из узелка легкие трусы.

Мария воскликнула:

— Эти трусики я ей сшила! Хотела, чтоб ей не так жарко было лежать.—Она держала их, словно удивляясь, как эта вещь еще существует.

— Какие хорошенькие!—сказала Мэрилин. У нее был красивый низкий голос. Глаза ее, все время широко раскрытые, напоминали глаза сомнамбулы.

— Возьми их себе, Мэрилин,—предложила Мария.

Мы стояли не двигаясь. Потом мать сказала:

— Что ж... что ж, пожалуй...

Сестра милосердия подхватила:

— Лучше вам поехать в Миннеаполис. Поезда на Старбек не будет до завтра, до девяти утра. Вы можете поехать в Миннеаполис и там отдохнуть, а я здесь обо всем позабочусь.— Она убеждала так настойчиво, словно ей было приятно говорить, что вот, мол, и поезда ходят по расписанию и все можно делать четко, точно, без суеты.— Тут все будет хорошо,— прибавила она,— все будет очень хорошо.

Мы по-прежнему стояли не двигаясь.

— Что вызвало у нее ухудшение?— очень тихо спросила Мария.

— Я полагаю, матери все понятно,— сказала сестра милосердия,— а больше ничего не требуется.

Глухая враждебность возникла между нами.

— Оставьте,— сказала Мария,— я знаю от чего она умерла!

— Ах, вот как, знаете?— резко бросила сестра.— Для больной было сделано все возможное. Мать ее, конечно, это подтвердит. Приезжал даже врач-консультант из университета. Матери это известно. Она уже подписала бумагу, что для ее дочери было сделано все возможное.

Мы стояли как глухие. У Марии было какое-то странное выражение лица. Сестра милосердия глотнула воздух, словно зная, что сейчас будет сказано, словно чувствуя надвигающуюся лавину, которая раздавит всех в этой комнате.

— Она умерла от голода,— сказала Мария.

В сердце что-то оборвалось навсегда.

Мы продолжали стоять. Ярко светило солнце. В полях со стеблей свисали початки кукурузы, зрели в изобилии кабачки и тыква.

— Так вот,— сказала сестра милосердия, слегка передернувшись,— собирайте ваши вещи. Здесь проходит прямой поезд, и он останавливается на нашей станции. Мы все устроим. Я уже звонила Суинсону. Она... она на льду. Все, что надо, уже делается. Тело... Ваша дочь будет доставлена в Старбек на одном поезде с вами. Все будет очень хорошо.

— Спасибо... спасибо вам,— сказала мать.

Дитя, потом—девушка с золотистыми волосами, как шелк... Мать стояла растерянная, держа в руке маленький узелок с пожитками дочери,—в нем, наверно, только и было, что пара белья, одно платье да гребешок с зубной щеткой.

— Я ведь могу поехать в город автобусом,— сказала мать, поглядев вокруг.

Да, не для этого она дала жизнь своему ребенку. Она вынашивала какую-то надежду, во что-то верила...

— Пойдемте с нами,— сказала я ей. У меня было такое чувство, словно я давно знала эту женщину. Знала, как она переносила все невзгоды, не жалуясь, всегда думая только о своих четырех девочках... как любовалась их красотой, как сохла от недоедания, отдавая все им, как жила, довольствуясь самым малым, веря в добро,— и вот увидела смерть, злую, беспощадную... Я выбежала в вестибюль и сразу увидела Рэйчел и Дебору. Они сидели на скамье, где я их оставила, и болтали ножками, пока еще не утратившими детскую полноту и округлость. Я схватила девочек за теплые руки и вывела их в сад. Нас встретило солнце, зеленый мир раскрыл нам свои объятия.

Вскоре вышли остальные; первой показалась хрупкая пожилая женщина с узелком в руке; она медленно шла по дорожке, и во всем ее облике были недоумение и вопрос. Вкладываешь всю себя в ребенка, держишь его еще беспомощного, слепого у своей груди... Но понемногу он начинает видеть луну, звезды, стадо на лугу и растет в ожидании того хорошего, что было обещано, когда ты родила его на свет,— и потом вот во что его превращают! Рода умерла не от оспы, не от дифтерита, не от кори и не от коклюша. Она умерла от голода.

Мать села в машину и положила узелок с вещами умершей себе на колени. Тяжкая ноша—выносить ребенка, дать ему жизнь: и вот легкий узелок—все, что оставляет тебе смерть. Рядом с матерью Роды, крепко прижавшись к ней, на заднем сиденье поместились Рейчел и Дебора. Глаза у них сейчас были совсем круглые. Никто из нас не говорил ни слова.

Мария плакала о том, что и ее ждет такая смерть, о том, что мир жесток и несправедлив, о том, что есть, но чего не должно быть.

Мы снова ехали мимо зеленых холмов, и они казались декорацией, поставленной для того, чтобы что-то скрывать.

— Знаете,— заговорила Мария,— когда Рода окончила университет, я пошла с ней на выпускной вечер. Мы сидели в зале и слушали речь ректора Кофмана. Он говорил, что мы не должны обращать внимание на зыбкую, изменчивую действительность. Да, да, он так и сказал: «Действительность—это абстракция! Обратитесь лучше к классикам, к славным, мудрым творениям

предков!» Мы с Родой сидели в зале и все это слышали собственными ушами. И вот она умерла от голода. Мы ведь никогда не ели досыта!

— Спокойнее,— сказала я,— спокойнее!

Но Мария продолжала:

— Слушайте, скажите вы что-нибудь в нашу защиту! Скажите что-нибудь! Это просто необходимо!

Мы проехали через городок, миновали морг, на вывеске которого было написано: «Похоронная контора Суинсона».

Потом мы остановились, чтобы купить папиросы. Я опять увидела лицо матери—оно еще больше осунулось, это кроткое-кроткое лицо. Рядом с ней были мои дети, полные жизни, но непривычно серьезные, словно чего-то ждущие.

— Как там у них мило,— сказала мать, оборачиваясь назад.— И они так хорошо к ней относились.

— О господи,— сказала Мария,— в такое прекрасное утро... в такое утро...

Желтеют толстобокие тыквы, тучнеет кукуруза, дыни сотнями маленьких лун покрывают поля, свиньи заплывают садом—вот она, житница Америки, богатейший край!

— Она кончила университет, это было ее заветной мечтой,— сказала дрожащим голосом мать.— Кончила так хорошо. Столько трудов положила.

— Зачем она так хотела кончить университет?— спросила я.

— Да ведь ей хотелось чего-то достигнуть. Наша Рода была очень способная к наукам. У нее и в школе всегда были самые лучшие отметки. Вся наша семья так ею гордилась!

Мы подъезжали к Миннеаполису, впереди уже виднелись университет, небоскребы, банки. Я готова была раздавить их, стереть в порошок.

— Все-таки не понимаю,— сказала я,— зачем ей это было нужно?

— Сколько трудов она положила! Сколько трудов!— вместо ответа повторила мать.

— Но для чего?— крикнула я.

Мать Роды посмотрела на меня, и Рэйчел с Деборой тоже.

— Чтобы добиться успеха в жизни,— наконец произнесла мать.— Больше всего она хотела добиться успеха.

— Будь он проклят, этот успех!— злобно сказала Мэрилин.

— Да, да, да, она добилась успеха,— сказала Ма-

рия.— Слушайте, это даже смешно! Это просто замечательно!— В голосе Марии звучали та нежность и та неистовая сила, которые нужны, чтобы создать новый мир.— Хотите знать, чего она добилась? Четыре года голодала, чтобы окончить этот паршивый университет, а чего добилась? Нет, это умора! На две недели работы в библиотеке! На две недели работы через Администрацию общественных работ. Ура! Шутка ли! После всех трудов— целых две недели быть библиотекарем! Это ли не успех?! Две недели поработать, а потом с таким шиком помереть! Слушай, Мэрилин,— голос Марии срывался,— слушай меня, дорогая, хорошая, не убивай себя работой. Когда почувствуешь, что устала, будь разумна. Вспомни, как Рода надрывалась ради этого сволочного успеха— стирала, гладила, убирала, готовила на восемь человек... Слушай меня, детка: если ты почувствуешь, что устала, ради бога, будь разумна! Все равно никакого успеха не добьешься! Если устала, бросай работу. Бросай все. Не надрывайся, детка, брось работу, брось...

СЛУШАЙТЕ! При жизни Роды я не думала, что она моя дочь. Она не была мне дочерью. Но после своей смерти она стала дочерью всем нам. Она не была моя дочь, но могла бы быть моей, и, как она, могли бы лежать теперь в могиле мои девочки.

Тому, что случилось с Родой, надо положить конец.

Я написала это в память о Роде, о моей дочери. Она умерла, но пусть эти строки будут для всех нас напоминанием.

УБИТЫЕ ВСТАЮТ



Мамаша Андерсон стояла у окна и смотрела на улицу, дожидаясь вечерней газеты. Вот сейчас к ней ворвутся ее внуки и в крохотной кухне и спальне станет тесно и шумно. Картошка варилась на большой кухонной плите, от которой так и несло жаром. Мамаша Андерсон протерла ладонью грязное окно, чтобы лучше видеть знакомую улицу.

Был мартовский день. Озябшие дома стояли в воде, из труб падала сажа, накопившаяся за зиму. Старухи шли на рынок, осторожно обходя лужи. В этой части города еще недавно находился завод, но он переехал. Вместе с ним переехали многие рабочие, и старые мрачные дома опустели. Сейчас светит весеннее солнце, и на каждом углу стоят люди с поднятыми воротниками.

Такие улицы все похожи друг на друга — неприветливые, угрюмые. Кажется, что на домах лежит печаль скорби, как на лицах женщин. Они печальны, загадочны и безмолвны. Как много могут поведать такие дома тому, кто умеет читать в их облике. Они оседают к земле, кренятся набок и ропщут, словно деревья на ветру, рассказывают, как вся жизнь целой семьи ушла на то, чтобы купить домик; внутри — нужда, нищета, тянутся долгие годы забот и тревог; и вот даже доски почернели и смотрят печально.

Мамаша Андерсон смотрела на улицу, где падали сумерки, точно сажа из труб, и думала о тех, кого уже не было в живых: о родных и о всех тех, кого она знала. Когда она оставалась одна, вот как сейчас, вся ее долгая жизнь всплывала перед нею в отрывочных воспоминаниях, и ей казалось, что умершие живы; она

слышала давно умолкшие голоса, слышала голос своего мужа, умершего тридцать лет назад,—он погиб в шахте, оставив ее с восемью детьми, и еще один должен был родиться. По вечерам, особенно весною, все вспоминалось ей: непрерывная, изнуряющая работа, десяток голодных ртов, лачуга, в которой они жили; пронизывающий ветер дул с озера, проникая во все щели, и зимняя вьюга волком завывала под дверь; а летом солнце палило так, что в раскаленном песке можно было печь яйца. Вспоминалась волнующая, обжигающая душу повесть: вся их жизнь, годы тяжкого труда, судьба детей, теперь уже взрослых или умерших: одного сына забили насмерть стражники, захватив его в товарном вагоне без денег и без билета; другой сын погиб на войне; одну дочь похоронили на выжженных солнцем равнинах Дакоты; другая дочь замужем за безработным парикмахером; третья, Лиза, живет теперь с ней; у Лизы двое ребят, и их надо растить,—как хочешь, так и вертись... Теперь они шли бы домой, два ее сына и три дочери. Они принесли бы газету, в которой пишут о забастовке металлистов... Картошка кипела, и мамаша Андерсон обернулась и помешала ее, по-прежнему думая о своих детях, какие они были маленькими,—такие славные, всегда умытые и чисто одетые... А Джон, цветик, был лучше всех.

Прихрамывая, она подошла к буфету и вынула чашку, наполненную деньгами. Это были «налоговые деньги», отложенные для уплаты за дом в Милуоки. Если уплатить эти девяносто долларов годового налога, значит, опять придется во всем себе отказывать. Лиза по-прежнему будет ходить на работу пешком—две мили, и детям нельзя будет купить самого необходимого. Но... продать дом?.. Она не могла подумать об этом без слез. Джон вложил в него деньги; все они вложили в него деньги—доллар за долларом. Сначала поставили сруб и в течение пяти лет не могли отделать верх. Спустя восемь лет, когда Эдит начала работать учительницей, сложили печь, настлали пол из прочных досок—и дом преобразился. Это был плод всей их жизни, и всем им хотелось, чтоб у них был собственный дом. Но девяносто долларов... Она положила деньги обратно и снова подошла к окну.

Улица темнела; казалось, эта гнилая земля засасывает дома. Может быть, надо подвести новый фундамент под их дом на Честнат-стрит? Нет, едва ли: ведь закладывал фундамент сам Джон, незадолго до своей смерти, а когда что-нибудь делал Джон, он делал на совесть! Джон знал, что и как надо делать. Он был

строитель. И зачем он вмешался в стачку металлистов! А теперь они опять бастуют, даже страшно смотреть на газетные заголовки. Она-то думала, что в 1919 году все это кончилось, что она уже никогда больше не услышит об этом, а они опять бастуют—в долине Мэхонинг, в Мононгахела... Она помнит эти названия, Джон писал оттуда открытки: «Мама, вчера вечером у нас был хороший митинг, все идет хорошо».

Но когда же все-таки будет газета? Что случилось? В 1919 году, в те долгие темные ночи она была просто не в себе, прямо с ума сходила, дожидаясь от него весточки. Это было еще хуже, чем в годы войны. Он звал ее по ночам, она слышала его голос бог весть откуда, охрипший от выступлений: «Все в порядке, мама, у нас все в порядке. Завтра я буду в Саскэхенне. Надо втягивать в борьбу новые силы...» Зачем ему это надо было? Ведь она посылала его учиться, он окончил среднюю школу и мог бы стать управляющим щеточной фабрики.

Он приезжал домой, и другие дети называли его сумасшедшим. «Есть такие люди, они как дрожжи,— говорил он.—Ты понимаешь, мама?» И всюду-то ему надо было поспеть—и туда, и сюда, и всюду он умел объединить людей. Явится, бывало, в самую полночь, постучит в окошко: «Мама, мама!» Она уложит его, укроет потеплей и заплачет. «И зачем ты это делаешь? Ну зачем?» А он, бывало, скажет: «Мама, не тревожь ты себя; придет время, узнаешь». И тут же уснет; а спит чутко, лежит, как натянутая струна. И чего он добивался? Прошло восемнадцать лет, он давно умер, но вот другие люди делают то же самое.

Она посмотрела вдоль улицы, не мелькнут ли белобрысые головы внучат. Вон возле портновской мастерской стоит младший, Джонни,—маленький, щуплый, волосы коротко острижены. «Какой он худенький»,—подумала она, и сердце ее сжалось. Он похож на ее Джона—вылитый Джон, точная его копия, когда тот был мальчишкой. Бывало, Джон, как взрослый, работает до ночи, таскает в дом дрова для своей мамочки, помогает, как настоящий мужчина; а потом вырос из штанишек, и ноги у него стали, как у аиста,—в этом возрасте ничего на них не напасешься! Костюм покойного отца стал ему как раз впору, только брюки коротковаты. Он был немного выше отца и пошел немного дальше его: каждое новое поколение должно идти дальше старого, а то что в нем проку? Сын пекаря должен лучше печь хлеб, сын шахтера... Каждое новое поколение должно делать шаг вперед.

— Джонни, Джонни,—позвала она, ковыляя к двери. Он, конечно, слышал, но не ответил. Ей хотелось скорее обнять его; она тихонько засмеялась, и большое дряхлое тело ее затряслось, так что она должна была присесть. Вот он, внук,—с пронзительным криком скачет по узкому дворику на одной ножке, прихватив другую рукой; и выдумает же, озорник!

Он доскакал до порога и кинулся к ней, стал целовать ее старческие щеки, щекотать, прижался к ее жесткой груди и обвисшему животу. Он визжал во все горло, а она и смеялась, и ворчала на него, и, обхватив его корявыми, точно корни дерева, руками, укачивала его, и баюкала, негромко напевая, потом крепко шлепнула его, и он с криком вывернулся и отскочил.

— Бабушка! Ты уж очень больно дерешься!

— Убирайся!—сказала мамаша Андерсон, расправила юбки, цыкнула на внука и вытерла пот и слезы со старческого лица, иссеченного морщинами, изборожденного, точно поле битвы.—Есть хочешь?—спросила она, готовая кормить всех и каждого.

— Ммммммммммм...—ответил мальчик, смочил под крапом палец и поднес его к уху.

— Ну нет!—сердито прикрикнула бабушка.—Разве так умываются? Может, мне тебя умыть?

— Не-е-ет!—завопил мальчик.—Я, бабушка, хорошо-о-о умываюсь!

— Да, хорошо,—усмехнулась бабушка, разминая картошку.—Только мальчикам, у которых в ушах столько земли, что можно пшеницу сеять, не дают картофельных оладьев.

— Картофельные оладьи!—вскрикнул мальчик, снова кинулся к ней и обхватил ее худыми ручонками.

Бабушка замахала на него фартуком:

— Ступай! Ступай!

Взвизгнув, мальчик бросился к столу, нырнул под него и уткнулся носом в юмористический листок, который он там прятал.

— Вот наказание,—смеясь, пробормотала бабушка и повернулась к плите.

Старший внук, Гарольд, ворвался, как буйный ветер. Он тоже обнял бабушку и с размаху ткнулся ей в шею покрасневшимся, возбужденным лицом, так что она охнула и оттолкнула его.

— И откуда ты взялся, бешеный! Пошел прочь. Принес газету?

— Нет,—сказал Гарольд.—Я продал все до последней. Про забастовку там ничего не было.

— Вот как!—сказала она.—Даже газету бабушке

не мог принести. А деньги где?—Она ухватила его за большие оттопыренные уши.

— Ой!—завопил Гарольд.—Больно, бабушка!

— Ничего не больно. Деньги принес?

— Конечно, принес. А тебе они зачем?

— Сам знаешь,—сказала бабушка, трепля его за уши.—Отлично знаешь! Сегодня надо платить налоги.

— Ничего не знаю,—сказал Гарольд.—Что толку их платить, бабушка? Все равно нам не видеть этого паршивого дома. Я все высчитал. У нас доходов мало. Никогда мы его не отстроим. Ма-а-ма!—взвыл он, увидев в дверях мать.

Лиза вошла, положила на стол какие-то свертки и нагнулась на Гарольда, как кошка.—Ты что это натворил?

— Натворил...—начала было бабушка.

— Ничего я не натворил,—сказал Гарольд.—Ма-а-ма, скажи ей, чего она дерет меня за уши?

— Вот тебе, верзила ты этакий,—сказала мать и крепко шлепнула его.—Держу пари на последний доллар, что все дело в налоговых деньгах. Ты не хочешь отдать свою выручку.

— Не хочу,—сказал он.—Ох, мама...—он казался особенно долговязым и смешным в этой комнатушке, лицо у него было отчаянное и жалкое. Он едва не упирался головой в потолок, и бабушка, накрывая на стол, нагнулась и, точно карлик, прошла под его рукой.

— Не говори ничего плохого о нашем доме,—пробормотала она.—Не говори о нем ничего плохого, сынок. Все мы работали на него. Помню, твои дяди каждую получку отдавали мне свои деньги. Дядя Дэн служил в Чикаго в гостинице, он всего-то зарабатывал десять долларов в неделю, но каждую неделю семь долларов отдавал мне. Семь долларов!—Бабушка сердито махнула на внука ложкой.—Семь! Он говорил: «На, возьми, мама. За стол и квартиру я уплатил, оставил только немного на табак да на стирку». А я говорю ему: «Дэн, говорю, присылай рубашки домой, я сама с ними управлюсь,—глядишь, еще пятьдесят центов останется в кармане». Он так и делал, да, сэр,—присылал мне свои рубашки каждую неделю, а я их стирала, гладила и отсылала ему обратно, чтобы он носил их в этом мерзком городе Чикаго.

— Мама, детям-то ведь тяжело.

— Тяжело! Вы не знаете, что такое тяжело. Вот мне и впрямь было тяжело.

— Да, мама,—сказала Лиза.—Никому не было так тяжело, как тебе.

— Мама, а мама,—спросил из-под стола Джонни.— А что это такое—налоги?

— Он не знает, что такое налоги!

— Пропади они пропадом, эти налоги!

— Бабуся, а что это такое?

— Лиза, ты же училась. Зря, что ли, я столько лет скребла полы во всяких конторах, чтобы дать тебе образование? Объясни ты ему, что такое налоги.

— Ну,—сказала Лиза,—налоги надо платить за дом, за имущество.

— А кому платить? Кто их получает?—Джонни говорил нараспев, визгливым голосом: как говорят мальчишки, растущие в доме, где нет мужчин.

Бабушка посмотрела на Лизу.

— А в самом деле, кому?

— Государству. Ну да, государству,—неуверенно ответила та.—Ты платишь государству.

— Ма-а-ма, а что это такое государство?

— Ты же знаешь, что такое государство.

— Вставай, вставай,—сердито сказала бабушка, хлопнув мальчика полотенцем.—Вечно ты путаешься под ногами, как котенок, прости господи!

— Оставь, мама, пусть сидит. Читать-то ему надо где-нибудь.

— Вечно он вертится под ногами, как котенок. Того гляди, ногу сломишь.

— Посмотри, мама, я принесла немного сельдерею.

— Сельдерей!—закричали мальчишки.—Ой, ма-а-ма, дай, дай мне! Я люблю сельдерей!

Бабушка дала каждому по шлепку.

— Пошли отсюда. Вы что, поросята? Своих детей я хорошо воспитывала: никто ничего в рот не брал, пока не сядет за стол и пока не прочтут молитву.

Джонни начал тормозить бабушку; ей всегда это нравилось, но когда он, прошмыгнув мимо нее, ухватился за листья сельдерея, она сильно стукнула его.

— А знаешь, милый мой, раньше нам сельдерей был не по карману.

Гарольд включил радио, и женщинам приходилось кричать, но, по-видимому, их это мало беспокоило. В комнате стало суматошно и празднично: две женщины, сидя рядышком, чистили сельдерей, белоголовые мальчишки старались стащить очищенные корни и получали звонкие шлепки. Лиза начала рассказывать о том, что случилось за день у нее на работе.

Наконец сели за стол. Прочитали молитву. Стемнело. Во время молитвы мамаша Андерсон думала о том, что ее Джон убил себя как раз в ту пору, были такие

же ранние сумерки, и она ждала его. Она говорила ему: «Возвращайся домой, я все приберу и печку истоплю. Смотри не задерживайся». Она встала и машинально подложила в печь полено.

— Мама, мама, да ты в уме? Ведь весна. У нас нет керосиновой плиты, так ты решила топить без конца! Жарища будет такая, что не уснешь.

— Виновата,—пробормотала старуха, наматывая на руки фартук.

— Что с тобой, мама?—Дочь обняла ее широкие покатые плечи.

— Так, ничего,—сказала мамаша Андерсон.

Мальчики молча ели, уставившись в свои тарелки. С улицы донесся пронзительный крик, там играли дети.

— Вспомнила Джона...

— Ах, мама, весной ты всегда...

Мальчики перестали жевать и смотрели в тарелки.

— Вот так оно и было. Я говорила ему: «Возвращайся домой, я все приберу и печку истоплю...»

— Я знаю, мама. Не надо, мама. Смотри, оладыи стынут.

— И зачем это ему надо было, чтоб металлисты объединялись? «Мама,—говорил он,—мы живем не только для себя». А вот мы с отцом жили для себя. Работали не покладая рук, с зари до зари, чтобы прожить. Заботились только о себе и больше ни о чем не думали. А Джон нет! Даже меня... даже меня он любил не так, как свое дело!

— Не надо, мама.

— Помнишь, в то время он не мог спать и все ходил и ходил из комнаты в комнату. Вот еще и поэтому я не хочу продавать дом; понимаешь, Джонни?

— Да, бабушка,—ответил Джонни, не поднимая глаз от тарелки.

Мальчики так притихли, словно прошлое, события тех дней, когда они еще не родились, было для них полно значения.

— Я как сейчас его вижу. Стачка металлистов кончилась, и он ходит и ходит из комнаты в комнату. В тысяча девятьсот девятнадцатом это было, после войны. «Пока нас мало, мы ничего не добьемся, но, слушай меня, мама,—он крепко взял меня за плечи, наклонился надо мной, глаза горят,—слушай,—говорит,—меня: придет время—и нас будет больше, все больше и больше». На фабрике, где он работал до войны, его хотели сделать помощником управляющего. На щеточной фабрике. А Джон и говорит: «Мама, я на это не пойду». Сказал и сел в передней комнате,—

помнишь, в той комнате, которую он сделал с большим окном. Джон сам начертил на бумаге все планы. «Я знаю, говорит, ты была бы счастлива,— и взял меня за руки,— но я не могу». А я сказала: «Джон, ради меня... ну хоть начальником участка. Разве тебе от этого хуже будет? Неужели твоя мать не знает, что для тебя лучше? Подумай только, позвонишь мне по телефону из Детройта и скажешь: «Мама, слышно отлично, работаю изо всех сил, чтобы получить премиальные; скоро буду начальником участка, приеду домой — отпразднуем! Привезу тебе шелковое платье из Буффало, шляпу из Милуоки и ботинки из Индианополиса, а может, еще и синий шелковый зонтик; в воскресенье нарядишься, и все будут тебе завидовать. Я даже в церковь с тобой пойду и в грехах покаюсь, раз тебе этого хочется...»

Старуха уронила руки на колени и продолжала:

— А он только засмеялся в ответ. «Хотелось бы мне тебя порадовать, мама»,— говорит печально так. А потом сказал, что едет в союз. Он был болен тогда. Ты знаешь, что он сделал в тот вечер...

Ее уже нельзя было остановить. Они слышали все это раньше, тысячи раз, как молебствие, как мессу, но они сидели словно в каком-то оцепенении, не в силах пошевелиться. Ее уже нельзя было остановить, и, как замороженные, они покачали головами и посмотрели на нее.

— Накануне вечером, перед тем, как это сделать, он пришел ко мне, стал на пороге. Он был похож на привидение. Я так и вздрогнула. Сердце у меня сжалось. «Мама, говорит, пойдй ляг со мной». Я встала и поднялась в его комнату, где лежали его инструменты и стоял его рабочий стол с чертежами и брошюрами. Он сказал: «Мама, полежи возле меня, не могу уснуть». Я прилегла на кровать и говорю: «Завтра надо налоги платить». Он промолчал, а я опять: «Завтра надо налоги платить». Тогда он сказал: «Мама, не думай об этом, не все ли равно?» Меня так всю и передернуло. «Что?» Я как закричу,— помнишь, Лиза, я после тебе рассказывала.

— Помню, мама,— сказала Лиза.— Послушай, мама, съешь свои оладьи.

— Я думала успокоить его и начала строить планы, как мы будем отделявать наш дом — подведем фундамент, настелим в столовой пол из толстых досок. Он поднялся, стоит на полу, а сам весь дрожит; тут я и поняла, что его лихорадит. «Мама, говорит, неужели ты ни о чем больше не можешь думать? Ради бога,

замолчи. Ну что тебе дался этот дом? Все равно его у тебя отберут. Выпьют из тебя всю кровь. Выжмут тебя, как губку!» Я заплакала, и он стал гладить меня по лицу, по плечам. «Бедная мама, говорит, бедная мама! Как бы мне хотелось дать тебе все, чего ты хочешь». А на другой день он сделал это. В тот самый день, когда надо было платить налоги.

Лиза пришла в смятение, как будто пламя, сжигавшее грудь ее матери, вновь осветило в ее памяти таинственное предание о случившемся. Все, что забывалось в повседневной борьбе, жестокой и трудной, пробудилось и встало во весь рост, как отражение в старом зеркале, и она снова увидела смутный облик прошедшего, словно окутанный тайной. Мальчики в ужасе подняли голубые глаза на мать; черты ее вдруг заострились, волосы выбились из тугого узла, поблекшее лицо вспыхнуло—казалось, она помолодела на много лет, только в ней теперь сильнее, чем когда-либо, горели гнев и жажда мщения. Она торопливо заговорила, речь ее была ровной и правильной, но монотонной, и это пугало еще больше, чем рвавшийся из души дрожащий голос бабушки.

— Я помню тот день,—сказала она.—И следующее утро помню. Я всегда спала на краю постели, чтобы можно было качать колыбель.

— Это ты меня качала?—спросил Джонни.

— Да,—сказала она, пронизывая его взглядом блестящих и страшных глаз, и от этого все в комнате вдруг показалось ему чужим.—Да, ты был совсем маленький, только недавно родился, а я чуть не умерла тогда.

Джон вздрогнул. Он никогда раньше не слышал об этом. Все поплыло перед ним. Мать продолжала:

— Но в ту ночь мой муж...

— Мой папа?—невольно вскрикнул Джонни.

— Тише,—сказала она.—Да, твой папа. Он сказал: «Я лягу с краю, ты ложись к стенке!» «Что это тебе вздумалось?»—спросила я. Он никогда обо мне не заботился. (Оба мальчика смущенно повесили головы.) Я отодвинулась к стенке и постаралась уснуть. Но спала я плохо. Мне все казалось, что ребенок вот-вот заплачет. Рассвело рано, муж принес мне чашку кофе.

— Вот уж не похоже на него!—фыркнула бабушка.

— Да,—сказала Лиза, взгляд ее был острый, как игла.—«Что случилось?»—спросила я. Он ответил: «Одевайся скорей, пора ехать». Я не поняла, мне показалось, что он говорит о людях, которые возили

мимо нас бревна. «Что, они сегодня раньше придут?» — спросила я. «Нет», — ответил он.

— Похоже на него, — пробормотала бабушка.

«Нет», — сказал он. — Мы едем в Милуоки». И тут я поняла. Я вся похолодела. Он сказал: «С Джоном несчастье». Я закричала и повалилась на пол.

Она умолкла и посмотрела на сыновей, и они смотрели на нее непонимающими глазами.

— Но... бабушка... — запинаясь, пробормотал Гарольд. Старшие всегда обрывали рассказ именно на этом месте. — Но как это случилось? Ты... ты никогда не рассказывала.

Бабушка отложила вилку, облизала пальцы и взглянула на внучат. Они смело смотрели ей в лицо.

— Он пошел и купил револьвер, маленький револьвер, из которого стреляют на близкое расстояние, и поехал в союз, чтобы почитать людям, он часто это делал. Там встретил его один человек, по фамилии Ларс, и говорит ему: «Читку хочешь устраивать?» — «Да», — сказал Джон, и он угрожающе усмехнулся, и тогда раздался выстрел.

В рот, в живот, в висок?.. Но мальчики знали: лучше уж ни о чем больше не спрашивать, не то разразится гроза.

— Джонни, я тебя выдеру, если ты будешь так громко чавкать, — сказала Лиза.

— Мама, это не я, это сельдерей. Смотри, я рот закрываю, а этот сельдерей во рту гремит, как гремучая змея.

Обе женщины поневоле засмеялись, и мальчики, поняв, что теперь уже можно, заговорили в полный голос.

— А ведь весна пришла, — сказал Гарольд.

— Знаю, что весна, — сказала бабушка. — Сегодня надо налоги платить.

— Мама, знаешь что, мне нужны ролики.

— «Ро-лики», — передразнила бабушка. — Ему надо купить ролики! Что нам стоит, мы же миллионеры. Может, ты мне купишь меховое пальто и автомобиль? — Она хлопнула себя по животу и язвительно опустила углы широкого рта.

— Послушай, мама, у всех ребят есть ролики.

— Ну конечно, мы же родственники банкира. А ты забыл, что у твоей матери до сих пор нет нового платья?

Гарольд подошел к матери и наклонился над нею, длинный, нескладный, как огородное чучело. Она погладила его по руке и улыбнулась ему.

Ко всеобщему удовольствию, бабушка пришла в ярость.

— Вот, полюбуйтесь!— сказала она, вставая; слабые ноги едва держали ее одряхлевшее и обрюзгшее тело.— Десять лет ношу эту рвань. Полюбуйтесь!— Она приподняла свои заплатанные юбки.— А о новом и мечтать нечего. Куда там! Так и в гроб лягу. А тут еще налоги!— проговорила она, опять грузно опускаясь на стул.— Когда Джон отдавал мне деньги, он, бывало, говорил: «Отберут их у тебя, мама. Все равно отберут»,— вот он что говорил.

— П-пра-авильно говорил,— заикаясь, сказал Гарольд.— Мозги у него работали, честное слово! На эти деньги мы могли бы купить что-нибудь толковое, это же ясно.

— Гарольд!— сказали в один голос обе женщины, и он начал гладить руки матери.

— Так,— проворчала бабушка, жуя кусок оладьи, которую она держала в крепких, жилистых руках.— Что же мне купить первым делом? Кушетку, мягкую, как гусиный пух, вон для того угла?

Она гримасничала и жеманно растягивала слова, изображая светскую даму. Мальчики взвыли от удовольствия и кинулись к ней.

— Новый сервиз надо купить? А новое шелковое платье и туфли?

Она вскрикнула: мальчики, хохоча, дули ей в уши и щекотали ее.

С улицы донесся крик: «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск!»

Мамаша Андерсон схватила детей в охапку, будто в комнату ворвался лев.

— Господи,— вскрикнула она,— что такое?! Война? Хотят и вас отнять. Опять война! Никогда не знаешь, что затевают эти безумцы. Разве они могут понять чувства матери. Сколько же народу они теперь хотят перебить? Неужели все женщины на свете должны схоронить своих сыновей?!

— Да что ты, мама, скорей всего это просто убийство.

— Просто убийство! Господи помилуй!— возмутилась старуха.

В весенних сумерках раздавался крик газетчика: «Экстренный выпуск! Экстренный выпуск! Читайте подробное сообщение! Есть убитые среди бастующих металлистов! Есть убитые!»

Окна, выходящие на улицу, распахнулись. Женщины высунулись наружу. Мужчины стояли в дверях, как

будто робея, не решаясь выйти на улицу и встретить лицом к лицу новость, о которой возвещал этот истошный крик.

— Иди! Иди!—сказала мамаша Андерсон.—Иди узнай. Что стоишь, как осел? Окаменел, что ли?—Она сунула Джону в руку два пенни, и мальчик пулей вылетел из комнаты и тотчас вернулся, размахивая белеющим в темноте газетным листом.

— Что случилось, миссис Андерсон?—спросил слабый женский голос из темноты, в которой стоял запах стряпни и двигались смутные силуэты мужчин и женщин. Люди столпились в дверях. Бабушка читала по складам, медленно шевеля губами, с трудом соединяя буквы в слова:

— «Убиты десять рабочих».

Лиза высунулась из окна и крикнула:

— Это о металлистах. Среди бастующих есть убитые.

— Уйдите,—сказала старуха внукам.—Уйдите!

При свете лампы она разбирала слово за словом, и ей представлялись мрачные долины в Мэнонинге и в Мононгахела, глубокие мрачные долины, где трудились люди, делая сталь.

— Что там случилось?

Мальчики теребили ее, дергали за платье, а она разбирала по складам строку за строкой, то и дело ворча:

— Очень уж мудрено пишут, а то я бы мигом все прочитала. Да перестаньте вы! Уйдите от меня!

Лиза, стоя в дверях, разговаривала с миссис Фрид. Мужчины столпились посреди улицы. Женщины, высунувшись из окон, крепко сжимали руки.

Бабушка, наконец, уронила газету на пол, и мальчики вдвоем уткнулись в нее; старший начал читать вполголоса, гудя, как шмель.

— Мама! Мама!—окликнула Лиза: внезапно наступившая в комнате тишина испугала ее; она оглянулась и увидела, что сыновья скорчились на полу, а мать сидит неподвижно, уронив руки на колени.—Мама!—крикнула она громче, холодея от страха: а что, если мать сошла с ума?—Мама!..

— Лиза,—отозвалась старуха, обхватила дочь своими сильными, изуродованными трудом руками.—Лиза, опять началось. Опять... Видишь, он был прав. Джон был прав!

В комнату вошла миссис Фрид.

— Ваш сын ведь участвовал в стачке девятнадцатого года?—спросила она.

— Да, наш Джон участвовал в той стачке,— сказала Лиза.

— Я слышала, что его внесли в черный список...

— Да,— твердо сказала мамаша Андерсон.— Да, его внесли в черный список. И он говорил мне: «Придет время, ты поймешь, мама... Да... ты поймешь...» Мне понадобилось восемнадцать лет, чтобы понять... Теперь я поняла...

— Мама, что ты хочешь делать?

— Гарольд,— сказала старуха.— Гарольд, встань с пола. Слушай, что я тебе скажу. И делай, как я говорю! Сядь сюда.— Она отодвинула посуду.— Пиши: «Бастующим металлистам». Завтра отдашь им все деньги... все, что отложено на уплату налога.

— Мама!— вскрикнула Лиза.— Неужели отказаться от дома!— Борьба, отчаянные усилия десяти человек, все бури и потрясения, которые выпали на долю семьи,— все ожило в этой комнате, поднялось во весь рост, точно зверь из страшной сказки. Слезы, муки, горький смех, нежная любовь всколыхнулись в памяти Лизы, и она схватила мать за руки.— Мама, что ты делаешь, ты в своем уме?

— Уйди от меня... Уйди!..

— Мама, наш дом!.. Дом Джона, мама!

— Нет, никогда этот дом не был его домом. Джон говорил: «Нужен дом для всех». А мы, как куры... да, да, как куры: из-за одного бьемся, об одном стараемся и кудахчем—только о себе. Сейчас мне и подумать стыдно. Всю жизнь об одном думала, как бы моим детям стать выше всех. Не вышло—и поделом! Зато от людей не отбились!

— Мама, ради бога...

— Бабушка... бабушка!—Джонни прыгал вокруг нее.— Куда теперь пойдут эти деньги?

— Есть на что потратить их с толком. Гарольд, пиши, как я тебе говорю. Пиши разборчиво. Покажи, чему ты научился в школе. Вот тебе дело, покажи себя, пиши разборчиво. «Бастующим металлистам». И проставь сумму. В память о Джоне Андерсоне,—кто вспомнит его...

— Ох, мама, ты с ума сошла...

Мамаша Андерсон взглянула в окно. Джон был прав. Жизнь ее прошла не даром. Он не умер. Умирают лишь те, кто не носит в себе ростков будущего.

Ей казалось теперь, что ничего не потеряно, казалось—весна, и теплый воздух, и сама ночь поднялись перед ней, как ростки на корявом дереве. Даже угрюмая и печальная улица словно вдруг преобразилась

в ее глазах, потому что она поняла тех, кто умер сегодня, и тех, кто умер, как ее муж (ей вспомнилось его худое, голодное лицо),— его раздавило в шахте. Из их сердец, огрубевших и непокорных, из их костей, лежащих в этой земле, всходили, казалось, ростки жизни.

Так, значит, и глухой и медленный стук ее старого сердца, надорванного, истерзанного за долгие годы труда, и все муки, которые испытала она, давая жизнь детям,— все это было не напрасно! Она поднялась, подошла к окну и в просвет между листьев герани стала смотреть на улицу. Она ощутила необычайный прилив сил, словно новая, молодая кровь стремительно потекла по ее старческим, изуродованным и узловатым венам. Она увидела на улице рабочих, ставших в ряды. Она увидела своего сына: худой, как волк, и стройный, как олень, он мчится с громким кличем по долинам стали, сквозь мрак и пламя, рот у него раскрыт, и руки у рта,— так в ее родном краю пастухи скликали стадо, и клич их раздавался далеко в холмах...

Мертвые снова встали в ряды, ибо умирают лишь те, кто не несет в себе ростков будущего.

— Мама! Мама!..— услышала она крик и обернулась к детям.

Я ШАГАЛА В НОГУ



Миннеаполис, 1934

Я никогда раньше не участвовала в забастовке. Это все равно, что наблюдать за тем, что происходит впервые, когда впечатления еще не воплотились в мысли и слова. Если происходишь из средних слоев, слова чаще всего значат для тебя больше, чем само событие. Ты скорее будешь размышлять, и происходящее станет величиной с булавочную головку, но обрстет множеством слов, искажающих его странным образом. Это известно как «воспоминание о прошлом». Когда же участвуешь в событии, то занимаешь скорее всего четко индивидуалистическую позицию, ты в нем лишь отчасти, да и происходящее волнует тебя больше потом, чем тогда, когда оно происходит. Вот почему таким, как я, трудно участвовать в забастовке.

К тому же, если живешь в Америке, происходящее доносится до тебя как бы издалека и в приглушенном виде. Говорится одно, а происходит другое. Наше общество лавочников зиждется на невероятном лицемерии, на конкуренции с ножом у горла, которая направляет людей друг на друга, и в то же время на идеологии, смакующей такие слова, как «гуманность», «правда», «золотое правило»¹ и им подобные. Сейчас, во время кризиса, слова отходят на задний план, обнажая зловещую суть этого явления.

Два дня я слышала о забастовке. Я проходила мимо их штаба, прохаживалась по противоположной стороне улицы и видела темное старое здание, где раньше был

¹ «Золотое правило»: поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.

гараж, и худые темные молодые лица, в окнах верхних этажей. Мне пришлось туда часто наведываться. Я заглянула внутрь. В громадном мрачном помещении, подобно горящим уголькам, мелькали живые существа, с блестящими на потных лицах глазами.

Я видела, как выезжают машины с суровыми людьми, как отправляются пикеты на позицию и ревут моторы. Я остановилась около двери, наблюдая. Я не вошла. Боялась, что меня прогонят. В конце концов, я ведь могла остаться сторонним наблюдателем. Мужчина в шляпе для игры в поло ходил вокруг с большим фотоаппаратом и снимал.

Я с такой точностью описываю те свои ощущения, потому что думаю, и другие представители моего класса испытывают то же, что и я тогда. Я думаю, это говорит о том, что и в нас должны произойти важные изменения. Я видела много художников, писателей, разного рода специалистов, даже бизнесменов и женщин, которые тоже стояли на противоположной стороне улицы, и на их лицах я видела такое же горячее сочувствие, те же опасения.

По правде говоря, я боялась. Но вовсе не за свою жизнь—это была жуткая боязнь смешаться с другими, раствориться, стать безымянной, потеряться. Я чувствовала себя неполноценной. Я чувствовала, что никто там меня не признает, и все то, в чем меня научили превосходить остальных, останется незамеченным. Я не могу описать свои ощущения, но может быть, ближе к истине будет сказать: я чувствовала, что превосхожу во многом других, а тут мгновенно поняла, что между этими людьми НЕТ конкуренции вообще, что они выступают в необычном мощном движении, в едином порыве, СООБЩА. И у меня возникло страстное желание действовать с ними заодно и страх, что у меня ничего не выйдет. У меня было такое чувство, будто я рождена в стороне от всех проявлений жизни, чтобы наблюдать за другими одинокими людьми—то состояние, которое я привыкла защищать с разных позиций: цинизма, утонченности, вызова и ненависти.

Это темное и живое здание, набитое людьми, рождало во мне ощущение раскола, хаоса и разрушения, и я понимала, что это неотвратимое и страшное движение, безмолвное и могучее, стягивает людей в плотное, раскаленное целое, словно мощный пожар посреди города. И это вызывало у меня страх и трепет и в то же время вселяло надежду. Я сознавала, что это выступление—провозвестник и признак выступлений будущих, и мне хотелось стать частью его.

На нашей жизни, казалось бы, и так лежит отпечаток странного и приглушенного насилия над всей Америкой, а что мужчины и женщины незаметно умирают, что жизнь их проходит среди бедности и бедняков—об этом вообще не было известно; ко сейчас от города к городу мчится этот кошмар, вырываясь на открытое пространство, и грандиозные события во всей наготе открываются нашему взору: улица, внезапно вспенившаяся потоком безумного насилия, целые и невредимые люди, внезапно изрыгающие кровь, изрешеченные, словно сито, кто-то придерживает болтающуюся руку, простреленную насквозь, высокий паренек бежит, спотыкаясь о собственные кишки, а за квартал от этого, под палящим солнцем радостные женщины делают покупки и оформитель витрин пытается решить, каким шелком, зеленым или красным, задрапировать манекен.

Сейчас, во время этих ужасных событий невозможно оставаться безучастным. Никто не может оставаться безучастным перед угрозой пуль.

На следующий день, чувствуя, что обливаюсь потом, я прошла мимо трех часовых у двери. Они сказали: «Впустите женщин. Нам женщины нужны». И я знала, что они не шутят.

Поначалу я ничего не могла разглядеть в этом темном здании. Я чувствовала, что множество людей приходит и уходит, что проезжают машины. Меня нестерпимо потянуло в контору, которую я миновала по пути, чтобы попросить какой-то особой работы. Я увидела объявление, гласившее: «Возьмите жетон». Я увидела, что у всех жетоны с датой и номером местного союза. Я не взяла жетон. Мне хотелось остаться неизвестной.

Казалось, будто поток хлынул вниз по деревянной лестнице, к выходу из здания, на улицу, переполненную народом, а затем устремился обратно. Вместе со всеми я двинулась вверх по старой лестнице, забитой разгоряченными мужчинами и женщинами. Поднимаясь, я глядела вниз и видела, как останавливаются машины в ожидании пикетчиков, госпиталь, отгороженный с одной стороны веревкой.

Наверху, выпрямившись на стульях, спали мужчины, их позы говорили об особой, невероятной усталости. Женщина кормила ребенка. Две молоденькие девушки спали вместе на койке, прямо в комбинезонах. Голос, звучавший из репродуктора, заполнял комнату. Страшная жара, казалось, струилась с низкого потолка. Я простояла, прислонившись к стене, целый час. Никто

на меня не обращал внимания. Кухня была у черного хода, и оттуда иногда выходили женщины и садились, обмахиваясь фартуками, слушаая новости из репродуктора. Грузный мужчина, казалось, вот-вот продавит складной стульчик. Время от времени кто-нибудь на цыпочках подходил к нему и смахивал мух с лица. Большая голова его упала на грудь, и со лба не переставая градом лился пот. Мне стало интересно, почему о нем так заботятся. Все смотрели на спящего с нежностью. Позже я узнала, что он — главный в пикете и на его счету больше полицейских шкур, чем у любого другого.

Три окна выходили на улицу. Я подошла к окнам. Рыжеволосая женщина с жетоном «Совет по безработице» смотрела вниз. Я стала смотреть вместе с ней. Внизу, в этом пекле, толпился народ и слушал сводку о ходе забастовки. Прямо напротив нас были окна фешенебельного клуба, на противоположной стороне улицы, и нам все было видно. Было видно, как из них осторожно выглядывают люди.

Я все ждала, что меня прогонят. Никому до меня не было дела. Не глядя на меня, женщина сказала, кивнув в сторону роскошного здания: «А здорово, когда враг вот так, прямо перед тобой». «Да», — сказала я. Я увидела, что клуб огорожен забором из стальных прутьев выше человеческого роста. «Они знают, зачем вон тот забор там ставили», — сказала она. «Да», — сказала я. «Ну, — сказала она, — мне пора обратно на кухню. И когда эта жара кончится? — На градуснике было девяносто девять градусов. С нас лил пот, обжигая кожу. — В полдень ребята придут, — сказала она, — обедать. — У нее все лицо было в шрамах. — Сумасшедший дом, да и только!» — «А помощь вам не нужна?» — с надеждой спросила я. «Подумать только! — сказала она. — У нас некоторые разливают кофе с двух часов, и так все время, и никакой тебе передышки». — Она собралась уходить. На меня особого внимания она не обращала. Она явно не думала обо мне и явно меня не видела. Я смотрела, как она уходит. Я почувствовала себя отверженной, обиженной. Потом вдруг поняла, что она не видела меня потому, что видела лишь то, чем занималась. Я побежала за ней.

Я разыскала кухню, где работа была организована, как на фабрике. Никто не спрашивает, как меня зовут. Мне выдают огромный фартук мясника. До меня доходит, что раньше я никогда не работала, не назвав своего имени. Сначала мне как-то не по себе, потом я привыкаю. Десятиница ставит меня мыть оловянные

кружки. Кружек не хватает. Нам приходится их быстро мыть, споласкивать и тут же ставить на раздачу под пахту и кофе, так как очередь растет и люди ждут. Невысокий, крепко сбитый мужчина — профессиональный мойщик посуды — присматривает за нами. Я чувствую, что не смогу отмыть оловянные кружки, но когда вижу, что никто на это не обращает внимания — лишь бы кружек хватало — мне становится легче.

Очередь разрастается. Идут с пикета мужчины. Каждая женщина делает что-то одно. Никакой пуганицы. Вскоре я узнаю, что не мое дело помогать разливать пахту. Не мое дело выдавать бутерброды. Мое дело — мыть оловянные кружки. Вдруг я оглядываюсь по сторонам, и до меня доходит, что все эти женщины — с фабрик. Я понимаю, что они научились действовать так слаженно и четко там. Я гляжу на круглые плечи женщины, которая режет хлеб рядом со мной, и чувствую, что знаю ее. Кружки возвращаются, моются и ставятся обратно на прилавок. По лицам у нас струится пот, но об этом забываешь.

Потом меня сменяют и ставят разливать кофе. Сначала я смотрю на лица мужчин, потом уже больше не смотрю. Мне кажется, я наливаю кофе для одного и того же напряженного грязного потного лица, того же тела, той же синей блузы и комбинезона. Проходит несколько часов, жара жуткая. Но я не устала, и мне не жарко. Я наливаю кофе. Меня захватила самая крепкая и естественная дисциплина, какой я когда-либо подчинялась. Я знаю все, что происходит. Для меня это становится очень важным.

Напряженные взгляды, руки, поднимающие тысячу кружек, горла, пересохшие от жажды, глаза, налитые кровью из-за недостатка сна, тело, напряженное настолько, что отзывается на любой звук, доносящийся с улицы. Пахта? Кофе?

— А муж твой здесь? — спрашивает меня женщина, которая режет бутерброды.

— Нет, — говорю, потом вру непонятно зачем: всматриваюсь, будто хочу кого-то разглядеть. — Что-то я его не вижу.

Но кофе я наливала живым людям.

Долгое время, где-то до часа дня, казалось, вот-вот что-то должно произойти. Казалось, женщины непрерывным потоком устремляются в штаб, поближе к своим мужьям. По радио была сплошная ложь. И в газетах ложь. Никто не знал точно, что происходит, но все считали: через несколько часов что-то произойдет.

Слышно было, как мужчины волнами выкатываются из здания и отправляются в пикет. Одни машины отъезжали, проходило несколько минут и прибывали новые и тоже заполнялись. Голос, звучавший из репродуктора, торопил, вызывал людей, вызывал машины пикета.

Я слышала, как говорили о совете по арбитражу, о перемирии, которое, полагали, было достигнуто во время заседания совета в присутствии губернатора. Люди ловили каждое слово из репродуктора. Страшное всеобщее волнение пронеслось по залу, словно огонь по лесу. Мне нечем было дышать. Тело мое теперь принадеждало не мне, а этому волнению. Я чувствовала, что все, что произошло до этого, было не настоящим движением, эти ложные слова и дела были вдалеке от самих событий. Настоящее дело только начинается с его настоящей целью.

Мы продолжали наливать тысячи кружек кофе, кормить тысячи людей.

Шеф-повар с татуировкой на руке как раз раскладывал остатки тушеного мяса. Было около двух часов. Столовая почти опустела. Мы пошли в зал. Люди оттуда будто испарились. Стулья опустели. Голос диктора звучал взволнованно. «Люди столпились на рыночной площади,—говорил он.—Сейчас что-то должно произойти». Я села рядом с женщиной, которая, крепко сжав руки, наклонилась вперед и слушала, широко раскрыв блестящие глаза. Я никогда ее раньше не видела. Она взяла меня за руки. Притянула к себе. Она плакала. «Это ужасно,—говорила она.—Сейчас случится что-то ужасное. У меня забрали обоих детей, и теперь со всеми этими людьми что-то случится». Я держала ее руки в своих. В волосах у нее была зеленая гребенка.

Казалось, действие повернулось вспять. Машины шли обратно. Диктор кричал: «Это убийство». Подъезжали машины. Не знаю, как мы добрались до лестницы. Казалось, опасность собралась всех вместе. Я видела, как толпа внизу зашевелилась, пришла в движение. Я видела, как выносят людей из машин и кладут на носилки, на пол. Сперва я испугалась: замкнутое темное пространство гаража, кровь—тяжкая для меня минута, такое чувство, что я пропала, погибла. Но обратного пути не было. Одна женщина вцепилась мне в руку. К другой меня притиснули вплотную. Если надо в чем-то разобраться, то разберешься в этом тогда, когда работают твои мускулы—в делах и поступках, к которым нас не готовили. Какие-то силы во мне заставили страх уйти в глубину, и я прикладывала

спирт к зияющим ранам, которые оставила картечь, разверстым, словно кричащие рты. Раны от картечи раскрываются на теле и потом вздуваются, как волдыри. У Нэсса, который умер, сидело тридцать восемь пуль в теле, в груди и в спине.

Машины с пикетами все прибывали. Некоторые сами дошли с рыночной площади, зажимая свои раны, чтобы не текла кровь. Их движение подобно мощной взрывной волне, и его необычность придает ему сходство с разбушевавшейся до предела стихией.

Со всего города стекаются рабочие. Они собираются на улице в два больших полукруга, расступившись посередине, чтобы пропустить кареты «скорой помощи». Полицейский-регулирующий все еще регулирует движение на углу, и толпе он порядком надоед. «Даю тебе две секунды, и чтоб духу твоего здесь не было»,— говорят ему. Он быстро уходит. На его место встает забастовщик.

Мужчины, женщины и дети толпятся на улице, образуя живой круг, плотно сомкнувшийся для защиты. Из окон высотного здания конторы бизнесмены взирают на черную массу, которая сгущается, растет, сплотившись для действия—какого, не понятно.

На юбках у нас кровь живых людей.

В тот вечер в восемь часов созвали на митинг всех рабочих. Его решили провести на стоянке в двух кварталах от штаба. Все женщины собираются у здания с коробками для пожертвований, готовые отправиться на митинг. Я не пошла домой. Мне и в голову не приходит уйти. Сумерки сгущаются, мужчины говорят, что шеф полиции собирается разогнать митинг и устроить налет на штаб. Раскаленный застывший воздух пропитан запахом крови. Слухи ударяют по туго натянутым нервам. Сумерки кажутся зловещими из-за того, что может произойти в ближайшие полчаса.

— Если у тебя есть дети,—сказала мне одна женщина,—лучше не ходи туда.—Я посмотрела на полные отчаяния лица женщин, на разбитые ноги, потерявшие форму бедра, изнуренные и прекрасные тела женщин, которые так отчаянно мучаются при родах. Меня охватил озноб, хотя было девяносто шесть градусов и уже час, как зашло солнце.

На стоянке, когда мы прибыли туда, было не протолкнуться, и мужчины заполонили соседние крыши. На той стороне улицы находилось роскошное кафе, с крыши его капала вода, и великолепно одетые мужчины и женщины стояли на ступеньках, словно зрители на представлении.

Трибуной служил изрешеченный пулями во время дневной стычки грузовик. Нам сказали встать рядом с этой трибуной, что мы и сделали, образовав центр широкого заполненного круга, который простирался насколько глазу было видно. Мы затерялись, словно камни в гряде, стоя вплотную друг к другу. Я снова ощутила то особое тяжелое молчание, в котором происходящее находит свое истинное выражение. Глаза мои воспалены. Я толком ничего не вижу. Стою, словно зверь в засаде, отзываясь всем своим существом на каждый вздох, все чувства как-то странно обострились. Это волнение, эти люди, которых я вижу и ощущаю — такое все новое, незнакомое. Я лишь отчасти понимаю, что я вижу, ощущаю сейчас, но я чувствую, что это истинная суть и движение будущей жизни. Я вижу яркое пятно — это женщины облепили изрешеченный пулями грузовик. Я одна из них, но у меня такое чувство, что это совсем не я. Странно, я полна энергии, но при этом впервые в жизни не чувствую себя обособленной. И тут я осознаю, что все мои прежние ощущения основывались на ощущении своей обособленности и отличия от других, а теперь я остро воспринимаю лица, тела, близость, и мой собственный страх — не только мой, и мои надежды — не только мои.

Забастовщики все подгоняют машины. Мы все пятимся назад, чтобы пропустить машины и дать им расположиться между нами и кирпичным зданием, сбоку от стоянки. Подсоединяют громкоговоритель, проверяют. Да, они подгоняют много машин, сквозь толпу, и выстраивают их плотно бок о бок. Теперь народу собралось, наверное, около десяти тысяч, от них исходит жар. Они стоят молча, наблюдая за трибуной, наблюдая за тем, как прибывают машины. Молчанье это поражает, как огромная оболочка, движущаяся сама по себе. Это первое действительно ритмичное движение, которое мне довелось увидеть. Сердце у меня жутко колотится. Руки мои распухли и горят. Это движение не вызвано никем. Это то движение, подчиняясь которому, все действуют спокойно, ритмично, страшно.

Сколько я не смотрела на то, что происходит, я не вполне понимала, что вижу. Я смотрела и видела вновь и вновь, что близко к нам, вокруг нас стоят мужчины, и потом вдруг поняла: да, в живой цепи плечом к плечу стоят мужчины, образуя кольцо вокруг группы женщин. Они стояли плечом к плечу, слегка покачиваясь, будто тяжелая лоза, от натиска сзади, но стояли

переплетясь, как живая изгородь, мерно покачиваясь.

Я увидела, что машины теперь выстроены в ряд, вплотную друг к другу, а забастовщики облепили крыши и подножки автомобилей. Им было далеко видно поверх толпы. «Зачем они это делают?» — спросила я. Никто не ответил. Женщины смотрели широко раскрытыми глазами, как и я. Теперь, похоже, на вопросы никто не отвечал. Теперь просто говорили, выкрикивали, одновременно двигались.

Медленно въехала последняя машина, и толпа пропустила их без всякой команды или указания. «Еще ближе,—кто-то сказал.—Смотрите, чтоб они были вплотную». Мужчины вскакивали с мест, чтобы принять какие-то необходимые меры, а затем опять опускались, и ты не успевал заметить, кто же это был. Они выходили из строя, чтобы принять нужные меры, а потом снова вставали в строй, никому не известные.

Мы все внимательно следили за тем, как устанавливают машины. Иногда мы глядели друг на друга. Я не понимала, что значит этот взгляд. Мне было как-то не по себе. Как будто что-то ускользало от меня. А потом вдруг всем телом я почувствовала, что они делают, словно это передалось мне через тысячу глаз, тысячу молчащих ртов, словно кто-то крикнул изо всех сил.

ОНИ СТРОИЛИ БАРИКАДУ.

В тот день от ран умерло двое мужчин. Люди выстроились в очередь, чтобы одному из них сделали переливание крови, но он умер. «Черной пятницей» называли они этот день убийства. Днем и ночью рабочие держали на плечах детей, чтобы те смогли увидеть тело умершего Нэсса. Во вторник, в день похорон, в центре города собралась тысяча новых добровольцев.

В тени по-прежнему было больше девяноста градусов. Я пошла к залу, где выставили тело покойного, тысячи мужчин и женщин толпились там в ожидании на страшном солнцепеке. Группа женщин и детей стояла и ждала уже два часа. Я подошла к ним и встала рядом. Я не знала, можно ли мне идти в колонне. Мне не нравилось участвовать в шествиях. Кроме того, я боялась, что они не захотят меня взять с собой. Я встала в стороне, не зная, пойду ли в процессии. Мне все равно было неясно, смогут ли они вообще ее организовать. Не похоже было, чтобы кто-то проявлял активность.

В три сорок по рядам пронеслась команда. В последнюю минуту я сказала, не подумав: «Я не из вспомогательного отряда—мне можно идти в колонне?—Три женщины втянули меня в строй.—Мы хотим,

чтобы все шли,— тихо ответили они.— Пошли с нами».

Гигантская толпа раскрутилась, как змея, и выпрямилась впереди, и к своему удивлению, там, где дорога шла вверх, я увидела, как шесть колонн сгруппировавшихся людей, по четыре в ряд, с непокрытыми головами двинулись вперед, и по мере того, как они продвигались, толпа позади раскручивалась и тянулась за ними. Я почувствовала, что шагаю, набираю скорость вместе с другими, а ряд вытягивается, выравнивается, потом выдерживает ритм.

Вокруг ни одного полицейского. Похоронная процессия шла, не обращая внимания на светофоры, казалось, она продвигается, повинаясь собственному печальному ритму, исходящему из решимости каждого. Мы добровольно шли в движении естественном, смелом и непостижимом.

Мы прошли сквозь шесть жилых кварталов, сквозь море мрачных лиц, не услышав ни единого звука. Раздавалось странное шарканье тысяч ног, без барабана и горна, в зловещей тишине— шаг не такой чеканный, как военный, а очень легкий, в точности повторяющий удары сердца.

Я шагала с миллионом рук, движений, лиц, и мое собственное движение вторило им снова и снова, создавая новое движение из множества других: шаги, отступление, раскрытый в крике рот, раздувшиеся ноздри, поднятая рука, наносимый удар и протянутая рука, втягивающая меня в строй.

Я почувствовала, как у меня выпрямились ноги. Я почувствовала, как они присоединились к той странной поступи тысяч людей, движущихся к цели, тысячам ног, и как мое дыхание слилось с их могучим дыханием. По мне будто пробежал электрический ток, волосы мои развевались, я шагала в ногу.

ОПУСТОШЕННАЯ ЖЕНЩИНА



Когда я нашла в районе свинцовых копей нужную мне хибарку, меня сразу, как в детстве, в Оклахоме, охватила грусть—словно я никогда и не забывала эти края: гряды голых холмов и выносливых, словно тонкие травы, мужчин и женщин—индейцев из Файв Трайбз и худых иммигрантов из Вэлли Фордж. Стоя перед старой, привалившейся к сосне лачугой, принимавшей на себя палящие удары солнца, я боялась увидеть женщину, которая—я знала—откроет мне дверь.

Заброшенные свинцовые и цинковые копи расположены среди пустыни: вокруг лишь загубленная земля и людской хлам. Все говорило мне, что жилище заброшено: покосившаяся крыша да жуткий глаз дупла, в который падал свет и наметал пустую породу хлопавший дверью ветер.

Во мне пробудились тревоги детства. В солнечном свете засверкали входы в шахты, знойный день задрожал и затуманился, старые страхи выползли из земли и вцепились в меня: страх перед пространством, перед переменой мест, перед городом и чем еще?

В Джоппине один из членов профсоюза сказал, чтобы я постучалась в эту дверь. «Старая женщина эта—борец, и сын ее давно в рядах борцов. Сначала там был профсоюз синибилетников. Чего только они ни делали—контролировали пособия по безработице, занимали головорезов, даже вооружали против стачечни-

ков индейцев, обзывали нас иностранцами и коммунистами, а мы позвали на помощь железнодорожников, которых внесли в черные списки еще во время стачки 1894 года, и старых шахтеров из Литтл Иджипта, которые выдали всякое. Мы выстояли. И теперь у нас свой профсоюз. Повидайте эту старую женщину».

Она открыла на мой стук. Очень скромная, одетая во что-то, вроде мешка для муки с прорезью посредине, так что сразу была видна ее крупная худая фигура, отмеченная необычайной застенчивостью, мягкостью и чувством достоинства женщина, которая рожала детей, частенько оставалась одна и все же была еще способна дать отпор.

Она стеснялась, я тоже. Когда я сказала, кто меня прислал, женщина впустила меня в свой ветхий дом, который словно дополнял ее угловатый облик. Она обтерла сиденье стула юбкой и пригласила: «Садитесь, это пустая порода, она всюду».

— Давно вы тут живете?

Женщина посмотрела на меня. Казалось, ее широко открытые глаза припорошила порода, приглушив их голубизну, и все-таки они были широко открыты и смотрели на меня словно магнит, влекущий одного человека к другому.

— Давно,—ответила она,—уже очень давно. Приехали и всё хотели вернуться в Озарк, на ферму.—Мы обе посмотрели в окно с перекосившейся рамой. Там высилась гора пустой породы—ни деревца, ни цветка, ни кустика.

— Ничего тут больше никогда расти не будет,—сказала она и опустила в подол своего платья из мешковины костлявую, натруженную руку.—Это как если в кровь тебе попала бурильная грязь.

Мы выглянули из перекошенного окна. Молчание говорит больше, чем слова. И в молчании она доверилась мне.

— Земля принадлежала Квоупсам. Когда тут нашли много нефти, они испугались и сдали землю в аренду на девяносто девять лет. Я так понимаю, навсегда. Уж я бы нипочем не отдала такую цветущую землю каким-то проходимцам, которых я и в глаза не видала. Скоро придет мой сын. Он всё и расскажет. У него это из головы не выходит. Иной раз, когда не работает, он прямо беспокоит меня—всё сидит и раздумывает. С тех пор, как тут появился Конгресс производственных

профсоюзов, он все раздумывает. Они ведь заварили эту схватку, и мы все долго, долго были без работы, а они разгоняли наши собрания и избили моего сына. Они жестоко избили его, но муж мой не был против: «Элли,—сказал он мне,—сын борется за свою жизнь. И сражается хорошо». И я две недели меняла на окровавленной спине сына бинты, выхаживая его. Кожа сходила. И не сантиметрами—большими кусками, но я ни слова сыну не сказала. Ведь его изуродовали так, как не могло бы изуродовать в шахте и как не уродует смерть. От такого еще долго бывает больно, даже если ты видела, что все обошлось. Будто испытываешь муки, в каких всегда рождаются дети, чтобы умереть так рано.

Вошел молодой парень.

— Это мой сын, который участвовал в забастовке,—сказала женщина,—я овдовела дважды. Обоих засыпало пустой породой. Захлебываешься собственной кровью. Здравствуй, сынок.

Всклокоченный парень не ответил, глаза у него были голубые, как у матери, и в нем жила саднящая обида. Он сел на край кровати, держа в руке шапку.

— Да, теперь у нас есть профсоюз, мы завоевали его кровью. А раньше они делали с нами что хотели.

— Они его били,—нежно глядя на сына, сказала женщина, и он быстро, с неудовольствием взглянул на нее.

— Да, куклуксклановцы, хозяева, их выкормыши, все они избивали каждого из нас дубинками Конгресса производственных профсоюзов. Тем, у кого был голубой билет, торговцы раздавали пластинки и призы.

— Они пытались его уволить, дважды избивали,—сказала мать.

— Не говори шепотом. Здесь, мать, больше не заправляет куклуксклан,—сказал сын.

— Не знаю. Снова к власти приходят республиканцы. Ведь это они прислали солдат. Солдат!—повторила женщина.

— Рассказывай всё,—сказал он.

— Мы будем продолжать бороться за людей и за землю. Я очень горжусь им—ведь он не стал унижаться перед компанией. А теперь я,—вы уж простите,—начну готовить ужин.

Когда парень заговорил о кровном, его словно охватил любовный пыл.

— Да я лучше убью собственного ребенка, чем позволю ему работать в шахте. Мы все зовем их детьми свинца. Отец скончался у меня на глазах вот на этом стуле: у него окаменели легкие и он задержал дыхание, чтобы захлебнуться собственной кровью, а потом вытянулся навсегда.

Теперь профсоюз собирался послать его на Север в школу, где он будет учиться. Он совсем необразованный. Мать поедет с ним, и они отправятся на Север.

— Снова переезжаете,— сказала я.

Он взглянул на меня.

— А по-вашему, нам надо остаться? Не уезжать, да?—Он принял кружку по комнате, сунув руки в карманы. Вошла хозяйка.

— Так вот,—продолжал он.—Во мне живут семена профсоюзного единства. Отец долго носил свою членскую книжку у сердца, он по-другому не мог. Он всегда повторял, что только профсоюзы принесут нам лучшую жизнь и не важно, сколько продлится наша борьба. Ради победы всегда можно делать то, что необходимо.

Мать подошла к двери и сказала:

— Если вы сможете есть то, что едим мы... У нас, бывало, говорили: уж если мы кормимся этим целый год, то и вы один-то раз проглотите...

Мы прошли в соседнюю кухню. В щелях виднелась пыль, но столы были выскоблены не хуже, чем у мясника.

— В Вирджинии я работала ткачихой,—сказала мать.—И мистер Ваксер, владелец фабрики, окажется он сейчас тут, подтвердил бы, что я была у него лучшей ткачихой.

Трапеза состояла из большого блюда бобов цвета высохшей саранчи и нескольких кусков хлеба.

— Немного кетчупа и совсем бы здорово,—сказал сын.—Присаживайтесь!

Мы склонили головы.

— Господь наш милостивый, пусть будем мы благодарны за хлеб наш насущный и за все, чем Ты нас еще благословишь. Просим тебя именем твоим, аминь.

Сыну хотелось рассказать, что он знал. Сначала ему казалось, что профсоюз с голубыми членскими билетами лучше других, потому что «в нем не иностранцы и не красные», и у тебя есть работа. А потом, после

дискуссии этот профсоюз слился с Американской федерацией профсоюзов.

— И люди не знали, что им делать. В Галенде начались волнения, и несколько человек убили. Из разных мест пришло много людей. А коммунисты—они помогают тебе, и их не запугаешь. Хозяева называют их иностранцами.

— Генри говорит,—засмеялась мать,—что весь проклятый район наводнили иностранцы и он хочет двинуться дальше на Запад. Дальше на Запад!—Оба засмеялись.

Она запела надтреснутым голосом: «Леди—в центр, теперь у нас звезда, бейте иностранцев везде и всегда!» Мы частенько это пели. Не будет так, чтобы каждый профсоюз, который выступает против хозяев, обзывали профсоюзом иностранцев. Муж мой всегда был за профсоюзы, я сама не очень-то в этом разбираюсь, но я всегда была с ним заодно, до самой смерти, и его мысли—мои мысли, и его путь—мой путь. «Хей-хо! Хей-хо! Я примкнул к Си-ай-о. Я отдаю свои взносы проклятым евреям. Хей-хо! Хей-хо!» Даже такие песни не могли заставить наших парней давать показания против Си-ай-о. Хозяевам пришлось привезти много бродяг и заплатить кое-кому из пьяных индейцев, чтобы казалось, будто против нашего профсоюза выступает целая армия. Вокруг шатались какие-то обормоты и приехали куклуксклановцы.

— Мне пора идти,—сказал парень.

— Он всегда ходит на собрания,—с гордостью пояснила мать.

У двери парень задержался.

— Было б здорово, если б вы что-нибудь написали. Надеюсь, вы это сделаете.

Он постоял с минуту. Я протянула ему руку, стоя в темном проеме двери, он пожал ее не сразу, но крепко. Когда он ушел, наступили сумерки и дерево потемнело. Я попросила:

— Не зажигайте огня. Так приятно посидеть в сумерках.

— Да, приятно,—согласилась женщина, придвигаясь ко мне.

— Я вам потом помогу убрать со стола. Давайте просто посидим.

Ей это понравилось.

Я чувствовала чистоту жизни этой женщины, ее несгибаемость, ее гордость борьбой, которая была ей опорой, бесхитростность и честь, составлявшие смысл

ее существования. Она была очень худа, с лицом честным, как и весь ее дом, в котором бросалась в глаза ужасающая обнаженность предмета, которым пользуются как орудием труда, ничем его не украшая, не создавая в нем ощущения присутствия человека. И подо всем этим пульсировала почти девически скромная жизнь этой женщины, ее застенчивое стремление держаться сдержанно и ничем не уронить своего достоинства; она излучала нежность к людям словно жизненную энергию. Мы сели рядышком.

— Наш путь был долгим, и казалось, мы все время переплываем реку или что ветер налетал на фургон, который двигался и трясся. Мы много раз переезжали. Когда открыли шахту в Питчере, мы снялись с места. Все говорили о больших залежах свинца и цинка в Оклахоме, а там, на дороге была просто-напросто дыра в земле. Говорю вам, тогда все поголовно пустились в путь. Сосед наш высовывал голову из своей лачуги, которая так чудно катила прямо вниз по дороге, а жизнь шла своим чередом: дети забегали в дом и опять убегали, и кричали пуще прежнего. Фермеры съезжались из Арканзаса, Алабамы и даже Теннесси,—сбегались, как муравьи на свежий труп. Из Озарка деревенские приезжали прямо вагонами, стучались ночью в дверь и просили поест; ехали даже женщины, завернув детей в занавески. Из Джоплина привозили на машинах целые дома, деревни скопом снимались с насиженных мест и пускались в путь; лес везли на мулах прямо к новым копиям в Оклахоме.

Сперва мы покинули новые хлопковые поля и хотели получить как издольщики кусок земли в Арканзасе. Мы приехали туда ночью, а тут как раз мимо проезжал с семьей в крытом фургоне наш знакомый, и он сказал нам, что едет в Галенду работать на цинковом руднике. Я не хотела, чтобы муж опять работал под землей, но он сказал мне: «Мы, Элли, можем здесь ненадолго задержаться—ведь мы не собираемся тут застревать. Заработаем немного денег и отправимся жить в новые места, в Оклахому».

Мы получили в Оклахоме немного земли, кусок хорошей целины, и вырастили на нем славный урожай, детей и всего, что в тех краях сажают; хорошая была там земля. Всё это было раньше, задолго до того, как умерли мои близнецы и их похоронили в неосвященной земле.

Порой мне кажется, что я слышу, как они играют в дровяном сарае. А теперь, когда я вернулась в Кентукки, мне вспоминается, что земля-то там была свежая, душистая от опавших листьев, и мне просто казалось, что я слышу своих близнецов. Я знаю, что слышать их не могла.

Зубы у меня все выпали, когда я вынашивала четвертого ребенка,—продолжала женщина,—а подбородок подался вперед, будто защищая провалившиеся щеки и рот. Муж мой всегда, как видите, попадал пальцем в небо. Я-то совсем неученая. У нас была одна только книга псалмов.

Я знала слова наизусть и показывала их в книге сыну, пока через много лет он не догадался, что я совсем неграмотная. Мне стало стыдно. Приехав с фабрики, я не очень-то рвалась учиться. А отец был за учение. Он, бывало, скажет: «А ты-то уж, неученая, помолчи». Мать моя читать не умела, но о ней говорили, что она знала все на свете. А когда отца на фабрике убило, мать стала работать за троих, чтобы кормить семью—очень уж была ловкая. Отец ее родился в графстве Катоба и до гражданской войны имел там ферму. Рабов у него никогда не было, и он всей душой был против рабства, но все его сыновья участвовали в гражданской войне и были кто как убиты, и это несправедливо.

Чудно, но мужчины всегда умирают рано. Жизнь у нас тяжелая, опасная, вот женщина и остается с кучей ребятишек, и пока вырастит их—постареет и выйти ей снова замуж трудно.

Помнится, кровати у нас были из белого клена—отец их сам делал. Он был мастер на все руки. Но трудные времена вытряхнули нас из этих кроватей, и я помню, как мы продали их за гроши. Отец работал в поле, только этим мы и кормились. На фабрике мы работали до седьмого пота за десять центов в день. Мать получала двадцать пять. Я начала работать зимой. Помнится, на работу мы шли затемно, при свете фонарей, и керосиновые лампы так раскачивались под потолком, что казались мне большими жуками. Потом и мой брат нанялся на фабрику, и нас уже стало потеть там четверо. Всем приходилось очень тяжело, и мне тоже. Я, помню, схватила лихорадку. Нужна выдержка, чтобы с ней совладать, когда я поправилась, я пошла к хозяину и сказала ему: «Я стою больше десяти центов в день». Я была застенчива, да просто подумала: больше-то уж мне терять нечего: работало нас четве-

ро, но мы по-прежнему голодали, и хозяин увеличил мне плату до двадцати центов, но велел никому не говорить.

— Думаете, я на небесах всех своих детей встречу? По-вашему, они там? Я помню их всех. Сэди, Голди, Элана,—всех помню, и некоторых мертвых помню лучше, чем живых. Ах, как все быстро проходит,—и в этом-то вся твоя жизнь! Клэри, Кейт, собаки, кошки, мулы, коровы, телята—я кормила всех и всегда, днем и ночью стараясь раздобыть пропитание.

Я грустила и всегда грущу. Было пастбище, и на нем паслись коровы, была зеленеющая земля, и сверчки, и быстрее, чем проносится ливень, зеленое пастбище стало гладким, как моя ладонь, и фабрики распустили свои дымные хвосты, и серая пыль стала забиваться во все щели. Зеленая земля исчезла навсегда, и мы ее больше не увидим.

Она легко встала. В сумерках фигура ее казалась белой, и спичка резко чиркнула в ее узловатых, как корни дерева, руках ткачихи. Она протянула дрожащий огонек к фитилю лампы. Свет вспыхнул, как глаз, и дом прыгнул в ночь, окутавшую загубленную землю. Я видела затаенную, отчаянную самоотверженность ее тела, от него исходил сильный запах ночной травы, и мне захотелось протянуть руку и коснуться этой женщины, но я знала, что она смутится. Перекосившаяся дверь была распахнута наружу, и хозяйка встала, чтобы ее затворить. Сквозь дырку от сучка в разошедшейся, выгоревшей на солнце сосновой доске я увидела—словно глаз—темноту: дом, как утлая лодка, плыл в ночи среди пустынного моря. Я видела тонконогую железную кровать. Треснувшее зеркало удерживало свет в прямоугольнике грубой рамы. Женщина не сводила с меня глаз, сковывая своим молчанием. Я увидела фотографию умершего ребенка. В круглой раме—портрет жениха и невесты, окруженный венком из поблекших бумажных роз.

Я чувствовала ее опустошенность и глубокую грусть, разбуженные и оживленные непривычным разговором, словно зашевелилась сама земля и ее печаль отозвалась в женщине—ведь они были неразлучны, как обреченные на гибель влюбленные.

Мне стало жутко—мы словно ехали на Моби Дике: громадное животное двигалось под нами не как земля, а как безжалостная сила, которую мы не могли ни увидеть, ни дать ей название.

Глаза женщины были выжидательно, серьезно устремлены на меня: ей всерьез хотелось знать, что я думаю.

— Если вы не прочь заночевать у меня, сын уйдет к товарищу.

Я не спала и думала о том, какие потери несет человек из-за равнодушия и бессердечия каждого из нас, о бесчисленных неродившихся детях, о многоликих темных страхах и печалях, которые мучат их, как меня, и заперты в бездонных глубинах американской жизни.

Повсюду в сердце Америки ночные фонари обнажают сейчас старую землю, раскрывают историю вод и в темноте шум водных струй повторяет мифы и легенды прошедших битв. Там, в темноте, лежали поля, еще влажны были ручки плугов, замерших без пользы в грязи, мириады посеянных семян, маленьких и больших домов, громадная паутина из всех нас, заполнивших чрево истории, испуганных, чувствующих себя в это мгновение бессильными, нередко запуганных безмерной угрозой, боящихся мощи неведь откуда взявшегося вепря и маленьких лисьих глаз.

А подо всем этим лежит материк, и он взывает к нам сквозь толщу черной, старой земли.

ВРЕМЯ ТЕМНОТЫ

Орел ли знает что там, в шахте?
Иль спросишь об этом крота?

Вильям Блейк



1

Америке народ наш безмерно страдает. Его окружает тьма капитализма. Ежедневно убийца проскальзывает у вас сквозь пальцы, подобно тому, как та продукция, которую вы делаете, исчезает в хаосе неведомого вам рынка. При капитализме люди страдают иначе, чем в колониях, потому что тут все хитро завуалировано, явно агрессивные войны маскируются разговорами о демократии, ты оказываешься втянутым в смертельную схватку с людьми, к которым совсем не испытываешь ненависти, и совершенно неожиданно для самого себя ты уже виновен в том, что стряслось в Нагасаки и Хиросиме.

Словно бездна разверзлась между интеллектуальным космополитизмом культуры и людьми, жаждущими слова и смысла. В городах замечаешь, как презрительно обращаются с нашими людьми. Слышишь даже, что у них слишком много всякого добра и удобств: телевизоры, ваннные комнаты и тому подобное. Вернувшись в глубинку, я сказал об этом человеку, который путешествовал по Дакоте, и он горько рассмеялся.

— При капитализме с этими удобствами и товарами вся штука состоит в том, что ты не становишься по-настоящему их владельцем. Одна видимость комфорта—ведь все это не ваше,—даже уборные. Так вот, в одном местечке, в Дакоте, уборная у всех теперь снова

во дворе, а у большинства фермеров до туалетов в домах так и не дошло. Убийственная сила REA¹ обернулась развитием целых районов вспять—там опять масляные лампы, ручное доение, уборные во дворе! Всякий знает, что при капитализме никто ничем не владеет—все уплывает между рук: единственный раз не внесешь очередной взнос и... фьюить! Все пропало... пропало вместе с закладной!

Огорченный тем, как понимают «суть» Америки в «больших городах», душой чувствуя в этом какую-то запрограммированность, я сел в автобус и влился в темный поток повального передвижения: молодые усталые солдаты маялись, сидели в вонючих комнатах для бедняков, за ними ехали молодые матери, белые и негритянки, с потерявшими форму бедрами, ноги у них были сбиты в кровь, и вены на ногах набухли, всю ночь по ним ползали детишки. Так все мы кишим на темной, изгаженной, опустошенной земле Америки, которая проносилась за окнами автобуса, а в лицо ударял аромат—сильный и прекрасный, как сама земля.

Изнаненные городом, вернитесь, вернитесь к пыли земли, к сердитым истощенным людям и к праху, поднятому сломленными мужчинами и женщинами, спуститесь к измотанным официанткам и бродягам; к отчаявшимся мальчишкам, зеленым соплякам, которые едут на дальние, ненавистные им военные базы; к молоденьким проституткам, которых на юге избивают дубинками полицейские; к рабочим, едущим на другие заводы; к поколению, жаждущему ехать, пока сердце не лопнет в груди; к ветеранам бригады Вильсона времен первой мировой войны, еле живым и уже почти спятившим, к скорбным и сморщенным, как увядшие листья, лицам людей, отчаявшихся и обреченных депрессией и войной, к этому безмолвному и страшному свидетелю блестящей «эффективности капитализма»; к торговцам дешевой похотью, которые паразитируют на хорошем теле, как вши и мухи; и всё катится по наклонной, все мыкаются и куда-то стремятся, и великая культура босяков, привычная для наших людей, возникает в ночи, как густой аромат трав.

¹ REA — Администрация электрификации сельского хозяйства.

Я подремал, глядя на холмы и бежавшую мимо луну, вдыхая теплый запах похожих на меня людей, а потом мы остановились в какой-то деревушке. В автобус вошла мать с малым ребенком на руках и двумя постарше; парнишке можно было дать лет ссмнадцать, а рябая девочка была сильно нарумянена.

Мать села передо мной, и маленькая девочка, пока мы выезжали из деревни, все смотрела в окно; я увидел, как заблестели у нее на глазах, делая их больше, слезы прощания с родной деревней, предвкушения путешествия и радости встречи с отцом, который работал на стройке в Чикаго и кого они, отважно презирая неблизкий путь, собирались навестить. У Нэнси Хэнкс, по-моему, было такое же тело; эта женщина никогда не ела досыта, была худа, но крепка; стройная, чуть выше среднего роста, черноволосая, с синими живыми глазами, а переносить тяготы жизни ей помогал меткий грубоватый юмор. Словами нежными и убедительными она легко уговорила ребенка, что надо поспать, делая это мягко, не сюсюкая и не сердясь. Я увидел, как она гладит девочку своей крупной мозолистой рукой.

Позже она рассказала мне, что у нее десять девочек и два мальчика, сейчас пятеро остались дома, но она довольна — жизнь у нее очень хорошая. Работать хорошо. Очень хорошо, когда работа трудная, в нужде жить хорошо. Приходится выкручиваться. Мы провели ночь вместе. Тело ее было как великая, еще не прочитанная тобой поэма. Женщина дарила его щедро, словно ароматная, дающая тебе силы расти земля; она излучала нежность, всепрощение и силу, а в глазах ее насмешливо мелькнуло притворное сопротивление.

Я вернулся в пристанище женщины, земли, великой, любимой женщины моей родины.

Долгой ночью я погружаюсь в жизнь Юга, страны мне не знакомой, и аромат ее щекочет мне ноздри, а люди всплывают из ночи в автобус, как легкие призраки, сходят средь безбрежных пустынных просторов или

под деревьями небольших темных аллей и, исчезая, уносят с собой частицу меня самого, и призрачный отзвук вторит им, когда они о чем-то спрашивают у автобусной станции... За спиной я слышу разговор двух парней, лица которых не видел, будничными и потому страшными голосами они произносят слова, смысл которых ужасен.

Один едет в Цинциннати, торговать книгами, сорок пять долларов в неделю и путевые расходы на две недели, но книги он продавать не собирается: через две недели он смоется, потом раздобудет работу, подлизавшись к жене хозяина. Он бы и до нее добрался, да только вот сейчас уже удирает от алиментов и рассерженной девицы, чью машину он угнал. Хочется ему только одного—все время бежать.

Другой парень моряк, и говорит, что хочет найти обычную, как до армии, работу. Незачем работать, отвечает ему первый, всю жизнь работать, а потом что? Я уж все перепробовал. Сначала перевозил в грузовиках скот, а кончил рэкето́м в Таммани. Надо схватить любую добычу, больше надеяться не на что. Вот я свое и схвачу. А моряк говорит, что мечта у него одна—шикарная надежная машина. Я за свою жизнь не дам и цента. Даже сам не знаю, куда еду. Просто выскочил без парашюта. А сейчас хочу одного—мчаться во весь дух и напрямиком влететь в ад. И не хочу никого брать с собой! Понятно? Жизнь других людей я уважаю. И никогда никого не пристрелю. Раньше я никогда об этом не говорил, да только с тобой мы больше никогда не встретимся, и скажу тебе честно—никого больше не пристрелю. А за свою жизнь не дам и десяти центов. Даже цента не дам. Просто хочется быстро влететь на одной из этих новых милашек прямехонько в ад!

В Вашингтоне я никогда раньше не бывал. И увидел его в самый выгодный момент—в полночь, с нижней дороги, когда меня самого видели лишь кроты, летучие мыши да ночные совы: во время свидания с теми, у кого есть, что сказать, кто не говорит на подмостках или с экранов телевизоров, либо даже пытается стать факиром на час. Кроме того, в полночь вас никто не потревожит—не наберет номер вашего телефона торговый агент и почтальон не принесет вам известие о том,

что нация избрала вас представлять... что? В полночь все это уже позади, и я сидел на пропахшей бензином автобусной станции в комнатухе ожидания «для цветных», провонявшей мерзким запахом антисептиков, которые пропитывают все общественные места.

Я спустился из комнаты отдыха вниз, где стояло восемь телефонных будок, по четыре с каждой стороны; из каждой торчали ноги рабочего в стоптанных, испачканных башмаках, а из будок до меня долетал странный разговор. Пришлось долго прислушиваться, пока я что-то разобрал. Все говорящие были неграми, они пришли повидаться, кончив работать поздно ночью или рано утром. Ноги то сплетались, то расплетались. Лиц я не видел, только залатанные башмаки, один белый от цемента, натруженные грязные ноги людей, работающих стоя. Кто-то из них о чем-то рассказывал, но его перебил дружный взрыв хохота и что-то вроде рефрена. Казалось, что, набрав в рот воздуха, собравшиеся создавали какой-то прекрасный ритм, и этот ритм мне удалось уловить, но слова приходилось выуживать из красиво журчавшего голоса, нежного рефрена и вторивших ему всплесков смеха. Мне были видны большие смуглые и черные руки, отдыхавшие на согнутых коленях. Я не мог больше там стоять и смотреть. В комнатухе для отдыха была скамейка, и, устроившись на ней, я мог слушать дальше этот странный разговор. Он продолжался и, вероятно, достиг апогея. Мне удалось различить отдельные слова: «фермер», ...«украл», ...«да, сэр, с ним обошлись жестоко». В конце концов все вдруг стало мне ясно, и я почувствовал громадное наслаждение; словно я теперь мог подбежать к этим людям и со всеми заговорить, потому что среди взрыва хохота рассказчик вполне отчетливо произнес: «И тогда Кролик сказал своему хозяину: «Делайте, хозяин, со мной что хотите, все, что хотите, но только не бросайте, не бросайте, не бросайте меня в заросли вереска...» И при громком, постепенном затихающем «Хи, хи, хи!» смех резко вспорхнул ввысь, как стайка птиц, затопали ноги, захлопали ладони...

Полицейский спустился к ним с грубой бранью и выгнал из будок. Я слышал, как они уходили, и мне почудилось, что я увижу в будках много мертвых, убитых дубинкой птиц.

Сквозь русла городов люди едут по земле во мраке американского затмения. Словно проникаешь на юг через горные ущелья штата Вирджиния, когда, не встретив за целый день пути ни единого города, выскальзываешь в глубокую долгую ночь, в смуглую мозолистую руку нашей матери, в ее травянистые, буйные, крепкие запахи. Как мать двенадцати детей склоняется она над нами, скрывая нас, и волосы ее ночи падают на наши сожженные асфальтом лица.

В Луисвилле мы спустились в ад. Пятница, час ночи, и сотни солдат стараются вернуться в Форт-Нокс. Комната отдыха для цветных в пять раз меньше комнаты для белых. Она набита солдатами, женщинами, детьми.

Обширное пространство буфета заполнено солдатами, они стараются прийти в себя, глотая черный кофе или пытаясь раздобыть еще бутылку у бесчисленных стариков и мошенников, втридорога продающих из-под полы спиртное. Вспыхивают мелкие ссоры. Старики подсаживаются к солдатам и обдeldывают свои делишки, предлагая героин, девочек, билеты на дерби в Кентукки. Более осторожные дельцы крутятся в зале, нашептывая в уши дремлющих солдат и предлагая им верные пари. Спать никому не разрешается. Приходят полицейские и грубо всех расталкивают — просыпайся, приятель... Это говорится тем, кому негде преклонить голову. Старые люди заходят на станцию погреться. Полицейские выворачивают у них карманы, велят предъявить билет, а безбилетных хватают за шиворот и пинками выставляют за дверь. Один рабочий в замешательстве кричит полицейскому:

— Я же работаю. Я всю жизнь работал. Не могу вспомнить где. У меня есть работа, просто я забыл, у кого работаю. Ведь теперь работаешь не у хозяина, а на компанию, так я и не могу вспомнить...— Его вышвыривают вон.

С высокого балкона блюстители порядка из военной полиции высматривают в людском водовороте каждого попрошайку или спящего и показывают на него дубинками. Полицейские — негры и белые. Едва внизу поднимался гвалт, как они, вооруженные до зубов, сразу быстро спускались вниз и принимались работать дубинками.

Я купил билет до Элизабеттауна, штат Кентукки, где Нэнси Хэнкс родила Авраама Линкольна. Суматоха

на станции напоминала теперь кипение котла. На лавке, словно аршин проглотив, сидел молодой, стройный негр, а скользкий жулик с рожей самого дьявола стоял у него за спиной, а потом стал на него садиться, и понемногу поглазеть, как изводят негра, собралась целая толпа. Люди всегда остаются людьми, не устаю повторять, а уличный торговец сказал: «Для меня не имеет значения, какого цвета у человека кожа». Он осклабился до ушей, и толпа загоготала. «Отстань от него», — бросил торговцу белый солдат и грязно выругал пристававшего. Тот продолжал свое.

— Тут хватит места для всех, прошу вас, мои лучшие друзья, не стесняйтесь...

Солдат-негр быстро обернулся, но ударить не успел — масса людей быстрым, отработанным движением бросилась вперед, чтобы его удержать, а торговцу дать улизнуть, оттеснив его к выходу. С балкона прогремели башмаки полицейских, негров и белых, и всех сразу оцепили.

Ядовитое кипение выплеснулось из каждого смердящим зноем. Рев полицейской сирены, крики людей на автобусной станции, попытки солдата-негра защитить себя, пьяная ругань теперь уже смутьяна-торговца, чей отвратительный расизм обнажился до конца, когда полицейские, почти сорвав с него одежду, схватили его за шиворот и вместе с остальными втолкнули в полицейскую машину. Солдата-негра забрали в комендатуру. Станция стала похожа на вонючую, скользкую лужу: насилие вышло из-под контроля, люди обезумели, девушки кричали и тянули солдат за собой, но тут подошел автобус, каждого уезжавшего препроводили в него, автобус тряхнуло, и мы покатали на Юг в направлении Форт-Нокса и Элизабеттауна...

Прошел час, пока автобус не разгрузился; некоторых пришлось выносить, других уговаривали вернуться, кто-то плакал. Они были так молоды. Водитель автобуса, приветливый паренек, сочувствовал выходящим, подбадривал их добрым словом, помогал сойти вниз, шептал что-то на ухо и хлопал по спине. Последний пассажир подмигнул мне...

— Прощай, — бросил он, — мы идем спасать мир!

Он споткнулся, но удержался на ногах, обернулся и махнул рукой — то ли с отчаянием, то ли иронизируя над собой.

Я подъезжал к Элизабеттауну на рассвете и очень испугался: земля была красная, искромсанная, словно напивавшаяся кровью, похожая на краснокожего, от алой зари, затопившей тоненький серп весенней луны, которая, казалось, изливала на нас свой кровавый свет. Мне припомнилось, ведь я слышал раньше, что земля тут красная; вид красной земли, из которой вышел Авраам, и зрелище красной зари Нэнси Хэнкс поража-ло.

Когда я добрался до маленькой автобусной станции Элизабеттауна, еще не было семи. Водитель стоявше-го там такси говорил, как янки. Он сказал, что до Линкольн-парка и музея Синкинг Спрингз еще миль десять. Я спустился по деревне вниз, обошел площадь, стоявшее посреди нее здание суда—боль-шой дом, над которым возможно, потрудился и Том Линкольн. Кладбище спускалось по склону холма.

Не было еще и семи. Я зашел в утренний ресторан, где рабочие съедают свой ленч, и позавтракал. Народу было полно. Сновала молоденькая подавальщица, за стойкой—паренек, негритянка в глубине помещения готовила на кухне еду.

— Не знаете ли вы что-нибудь про Нэнси Хэнкс?—спросил я девушку, почти совсем ошавевшую оттого, что все молодые рабочие—строители пялили на нее глаза и тыкали в бока.

— По-моему, она здесь не живет,—услышал я в ответ.—Я тут почти всех знаю.

— А ты не знаешь Нэнси Хэнкс?—крикнула она пожилой негритянке.

— Нет,—послышалось в ответ.

— Она была матерью Авраама Линкольна,—продолжал я.

Наступила тишина. Никто не засмеялся. Какой-то мальчик сказал:

— Она умерла.

— Да, умерла,—согласился я.

Немного помолчав, мальчик добавил:

— Вон там, на берегу, написано на плите, как Нэнси Хэнкс вышла замуж за Тома Линкольна на том самом месте, на берегу.

Я отправился к реке, и, действительно, на прибреж-ном камне была сделана надпись. Я поднялся на кладбище, поговорил с могильщиком, который знал похороненных здесь, и он показал мне могилы—в

основном, почти одних торговцев, банкиров, учредителей... Он и сам не знал, почему тут работал,— просто сменил предыдущего и теперь уже семнадцать лет как он здесь, правда, стоимость каждой могилы значительно возросла. На улице появились школьники. Я смотрел, как негры шли в одну сторону, а белые—в другую, и спросил:

— Когда же тут начнется десегрегация?

— Никогда!—крикнул могильщик и добавил, что в Элизабеттауне так много ублюдков, потому что рядом форт и стройка, но цветным тут делать нечего и они ничего не получают. Он отвечал неприветливо и в общем-то вытурил меня с кладбища, исчезнув в яме и злобно вышвыривая оттуда комья земли.

Я вышел на улицу. Она начала оживать, и я попытался заговорить с прохожими, но они сразу же замыкались и холодно смотрели на меня. Когда я вернулся на площадь, за мной уже следовала автомашина. Я шел, а из каждого окна за мной уже следили, и я почувствовал страшную враждебность. Оставалось только покинуть город.

Я вернулся на автобусную остановку, и таксист-янки отвез меня к Синкинг Спрингз. Местность выглядела ужасающе бедно, убогие грязные киоски, бедные маленькие фермы, заросли, земля красная.

На высоком холме над Синкинг Спрингз находится хорошо ухоженный парк. Источник, как и в прежние времена, бесподобен: широкие ступени ведут наверх к храму с греческими колоннами. Они поддерживают конструкцию европейского типа, а внутри под сводом из привозного мрамора стоит, охраняемая часовыми, та самая бревенчатая хижина, в тесном углу которой Нэнси Хэнкс дала жизнь Аврааму Линкольну.

О ней ни слова. Есть дверь, и кожаная петля, и очаг, и в нем горят поленья—те самые дрова, сверкает отполированное энергией Тома Линкольна топориче, и приоткрытая дверь словно приглашает зайти в тесный пустой прямоугольник, под сенью которого прячется зерно и тепло; видна входная дверь, задняя дверь, дерево стен и чрево.

Но здесь в этой хижине безымянная женщина в муках рожала будущего законодателя, а вокруг суровый мрамор украшают изречения мудрецов, одних только мужчин; но ты чувствуешь присутствие вольной, незаметной женщины, таящейся в мыслях людей,

осуждаемой старой мертвящей идеей. Но по-прежнему независимая и сильная, она продолжает жить во плоти всех женщин. Сбегая по ступеням вниз, я вижу Синкинг Спрингз все таким же — ручей так же льется со стены пещеры. Как и тогда он рождается из теперь уже загубленной природы и вытекает из-под земли холодный и свежий. Я опустил руку в глубину воды, поднявшейся из недр земли.

7

Добравшись через Канзас-Сити до экспресса, идущего на Север, я почувствовал себя в другой стране. Чистые, сытые, ухоженные люди только что сошли со скорого поезда, прибывшего из Калифорнии, где они проводили зимние каникулы; их лица говорили о жизни совсем иной, и они сердились потому, что наш поезд почему-то опоздал на целый час. Было жарко, южнее в воздухе висели пыльные бури, засыпая штаты Айову и Канзас. Отпускники проехали сквозь бури. Теперь они были недовольны — ведь никто не знал, почему опоздал поезд.

В поезде полно молодых разгоряченных солдат, которые возвращались домой провести там свой последний отпуск перед тем, как их отправят — куда? Они не знали. Многие из них спали на железнодорожной станции. Другие не спали вовсе. Рядом со мной молодой блондин, он заснул мгновенно, лицо у него покраснелось, большие руки скрещены на коленях, продолговатая голова то и дело падает мне на плечо.

Я осторожно погладил его по щеке. Вряд ли он старше моего внука Дэвида и цвет кожи у них одинаковый.

Охладить поезд почему-то нельзя. Невыносимо жарко. Мой солдат с синими, как у Дэвида, глазами, кудлатой головой и красными губами проснулся, спросил, почему так жарко, и сразу снова заснул. Я осторожно укладываю его голову на подушку и умудряюсь перебраться через его невероятно длинные во время сна ноги в конец вагона, где солдаты, наполовину приоткрыв тамбур, вынесли в него кресла. Мне непонятно, почему проводник к ним снисходителен, многое позволяет, смотрит на парней как скорбящий отец.

Был полдень жаркого, слепящего дня, хлеба в штате Айова поднялись в пол-ладони, нежно зеленея на полях. Поезд остановился в маленьком городке. Ехавшие из Калифорнии продолжали жаловаться, они думали, что поезд скорый, а он все останавливался. И только те, кто высовывался по пояс из окон, тамбуров, знали, в чем дело. Поезд остановился, и мы, шутившие друг с другом, вдруг увидели, как мимо пробежала молодая женщина, золотистые волосы ее были собраны в конский хвостик, но на лице застыл ужас и рот раскрыт — она, наверно, кричала. Мы высунулись, стараясь рассмотреть, куда же она бежала... и мы увидели, как четверо рабочих вынесли из багажного вагона гроб и поставили его на поджидавший катафалк; друзья удерживали женщину, глаза ее расширились, а у нас в глазах отразился гроб. Рука одного из солдат упала мне на плечо и сильно его сжала.

— Корея! — сказал он. Другие парни стали ругаться.

Поезд идет дальше. Выходит, обмахиваясь, женщина и спрашивает, почему поезд останавливается? Я же купила билет на скорый. Они еще меня вспомнят! Парни молчат. Женщина уходит. Теперь по кругу идет бутылка. Когда поезд останавливается, ребята молчат, когда идет дальше, говорят слишком громко. Другая женщина предполагает, что упущенное время мы нагоним. Ну, конечно, ругаясь, подхватывает один из парней, вы не потеряете ни минуты, получите все, за что заплатили.

— Чтоб они подавились своим жиром! — ругается он.

Мы считаем каждую остановку поезда, на каждой выносят гроб, бегут плачущие женщины — полдень для нас меркнет. Паренок все еще спит. Он бы мог оказаться в этом гробу. Такой длинный и отяжелевший в охватившем его сне, такой красивый. А внутри гроба они вернули родным разорванные и разложившиеся мускулы строителей, хлеборобов, будущих родителей. В наших ноздрях пыль полдня и наша агония; втянутые в бойню, мы не заблуждаемся, обманутые вождями, мы не прекращаем борьбы вслепую, безропотно получая тела убитых сыновей, но за стиснутыми зубами зреет месть.

Мы подъезжаем к Сент-Полу. Последняя остановка, потный солдат высунулся наружу и заорал:

— Не открывайте его, бога ради, не открывайте, не надейтесь найти его там! — Мы все держим его. Он

утихает и стоит, глядя в окно, к нам спиной. Мы едем по глубокой долине нашей матери Миссисипи. Один из солдат говорит:

— Ведь сегодня, парень, субботний вечер. Они еще будут рыдать на Семи углах, крутани-ка землю обратно и верни меня домой. Сегодня субботний вечер. Может, наш последний, так пусть она крутанется, пусть крутанется!

И другой солдат подхватывает:

— Домой! Вернуться, вернуться туда, где мы устраивали по субботам пикники, удили рыбу, бегали в садах, прериях, косили сено... и Четвертого июля зелень хлебов доходила нам до колен. О господом благословенная страна, дай мне вернуться... Одного прошу: верни меня назад. Прими меня, родная! Встряхнись для меня до глубины, долина индейцев, и верни меня домой, крутанув вокруг света!

— О!— кричит он,— эта страна! Моя страна! Нигде нет лучше тебя— взгляни на эту реку, на эти посевы, всходы, головы быков. О, дай мне к тебе вернуться, прокати меня вокруг земного шара, вокруг всего земного шара, всей земли и привези обратно домой!

Он смотрит на темнеющую долину — он плачет.

На остановке в Сент-Поле уже ждет катафалк.

8

Пусть все мы вернемся.

Ведь это люди рожают нас, рожают все культуры, своими трудами создают все материальные и духовные ценности.

Любое искусство, пока оно глубоко не проникнет в жизнь людей, развиваться не может.

Источник американской культуры лежит в историческом движении нашего народа, и художник должен стать голосом нации, ее посланцем и возмутителем, взрывая инертное молчание, вливая в человека мужество и красоту. Он должен по-настоящему вернуться к людям, пристрастный и живой, должен вернуться с теплом и щедростью сердца безоглядно, и доверительно, безоговорочно, а не кормить читателя холодной пищей резонерства, должен отбросить ремесленничество, когда художник пишет одно, а верит в другое, и перестать быть сверхчеловеком, особен-

но в области теории, превратившимся в идеологического гиганта, но утратившего сердце и человечность.

Капитализм — это, в сущности, мир развалин, это горы сломанных машин, мужчин, женщин, мешков с мусором, эрозия почвы и жадность, но среди этих потерь и ран люди вынашивают новое, молодое; в сумерках своей печали, под сенью голода, во мраке господства машин, люди крепко держат в руках надежду и грядущий урожай, и будущее только в их руках.

Только в их.

ЛЕГЕНДА О ПУСТЫННОЙ ДОРОГЕ



тобы выглянуть из серой зимней бревенчатой хижины, надо открывать дверь, преодолевая снежные заносы, порывы ветра, вой собак и рычание голодных, вышедших на охоту зверей, которые обглаживают голые кусты и находят глубоко под снегом сочные корни. Но у молодой женщины Нэнси, спавшей вместе со своей маленькой дочкой Сарой под медвежьим одеялом, положив рядом, чтоб не замерз, хлеб, у которой в утробе шевелился голодный ребенок и его ручонки походили на лапы, а коленки стучались в нее, когда он подавался кверху, прося утолить чем-нибудь его голод, его жажду и его одиночество,— у этой женщины не было ни корней, которые она могла бы грызть, ни мяса, чтоб им полакомиться, ни книги, ни колокольного звона, ни дружеского слова, которые облегчили бы появление на свет младенца. Ребенок в утробе потянулся вверх, заурчал, и она в тревоге привстала: может, он уже просится на свет? Какой засов сдерживает роды?—подумалось ей. И кто знает их сроки? Ответа не было, а нерожденный еще ребенок скребся и стучался, вздымая то ли крылья, то ли лапы, собирая в новой пустыне естество высокого мужчины, в ночь, когда были звери и лютовал голод, в пору, когда нация еще только становилась на ноги.

И гнев разгорячил ее, когда она подумала о без-

брежном море снега, уносящемся к Элизабеттауну, где таверны режут от жара и рома, а Том, скорее всего, возмутительно хладнокровно курит трубку, промочив глотку горячим грогом. Вернувшиеся из дальних странствий ведут рассказы и хохочут, а он не спускает глаз с белых бедер Милли, забыв о посеянном им семени и что урожай уже готов прорваться сквозь борозды.

Стоя в центре тишины, когда снаружи доносился голодный вой, глядя на снежную круговерть и вечнозеленую хвою, проникая взором в норы, где прятались голодные кролики, представляя себе заиндевший мех оголодавших зверей, а внутри чувствуя худенького, скребущегося в ее ребра голодного младенца, она слышала, как царапались у дверей хижины звери, добираясь до корней под домом, слышала треск замерзших деревьев и долгий, утробный вой голода, а потом звуки преследования и как один зверь поедает другого.

Ей припомнились и голодные дни ее юности; красивая девчонка бежит по холмам, прячется в листве, купается в бочагах, ходит по улицам Элизабеттауна, а на нее показывают пальцами и шепчутся о ее матери Люси Хэнкс, которая перенесла ее, незаконнорожденную, через Кэмберлендский перевал и продолжала грешить, напевая, пока однажды отцы города не заклеили ее страшным словом — «блудница» — и осудили ее на год условно; тогда мужем ей стал человек в длинном пальто с суровым лицом, и тут-то уж Люси перепახали и засеяли ребятишками, которых и не считали, и ей стало не до пения.

Было слышно, как голодные хозяйские псы гнались за дичью, теперь они уже были двумя милями западнее около Спэрроу-Кэбин, самой ближайшей хижины. А что, если ребенок родится до срока, кто же тогда склонится над колченогой кроватью и произнесет слова ободрения и перережет пуповину? Если подсчитать еще раз сроки, то точненько выходит февраль; но с этим никогда не знаешь наверняка; вот когда она носила в то прекрасное лето Сару, то живот был круглый и мягкий, а сейчас в ней будто мешок с камнями, чем — рукой или коленкой — машет он ей сейчас? Словно она выкормила во чреве какой-то плавник и он вдруг как бы жалуется на свое одиночество, заставляя ее то радоваться, то пугаться, когда его кости сотрясают ее, приподнимаясь и поворачиваясь, не оставляя в покое, и приводят в восторг своим приближением. Он начал в ней стучаться, когда она, смеясь, склонилась над водопадом, где они с Сарой собирали лесные орехи, копали картошку,

варили кашу, и она смеялась и качала головой, зная, что к ней, одинокой в этой пустынной местности, приближается друг.

«Ах не плачь, не плачь дитя, родитель знатный у тебя!» — порой напевала мать и, украсив купленными у лотошника лентами свою юбку из оленьей кожи, прогуливалась где хотела, напевая старинную песенку:

— Эй, вот и мы,
— Откуда пришли,
имечко ваше?
— Оладьи да каша,
сладкий пирог
на меду и на масле.
— Где же ваш дом?
— В решете над столом.

Теперь она засмеялась, положив руки на округлившийся живот, который, казалось, источал собственное тепло. «Откуда ты?» — спрашивала она неродившегося ребенка в тусклом свете одинокой хижины, когда собаки наверняка гнали дичь далеко вверх по холмам. Сара зашевелилась, и мать прикрыла ей лицо, отгоняя нежностью усилившийся страх и одиночество. Но дочь снова заснула, а Нэнси, раздумывая, поняла, почему Том, несмотря на ее старания его расшевелить — был таким молчаливым и замкнутым: ведь с двенадцати лет он стал самостоятельным и ушел на Запад один, а росточком-то был с кузнечика. Он был охотником, не пахарем, мгновенно брал на мушку своего ружья дичь, и Нэнси знала, что чувствовал каждый зверек, обреченный его молчаливым, твердым взглядом. Он не плясал, не пел, не хвастал, и не было в нем желания почитать книгу и узнать, что думали о жизни мудрые, ученые люди. Он ел, справлял нужду, ложился в постель.

Она застенчиво смотрела на его коренастую фигуру, когда он приносил мясо, а остальные возвращались ни с чем, и думала: он одинокий, как и я, застенчивый в ухаживаниях, станет ей другом. В газете поместили объявление, и сельские жители приехали из глубинки, кто верхом, а кто в запряженных быками телегах, жители болотистых мест и охотившиеся на равнинах и даже старик Дэниэл Бун; все происходило в стиле Кентукки — гости до отвала наелись медвежатины, индюшатины и мяса диких уток, на столбы подвешивали ломти кленового сахара, сироп в тыкве, домашние припасы из персиков и меда, а бочки с виски прыгали, катясь, как деревья в весеннем паводке. Было весело

вскочить на лошадь позади Тома, обхватить руками его крепкие бока, чувствуя, что спина у него как скала и защищает тебя от криков и соленых шуточек, заставляющих тебя краснеть, и скакать так в цветущем июне к какой-то хижине за сараем, а потом, после той ночи, быть смятой, пойманной в ловушку этой тесной хижины, и только вспоминать на себе тяжесть мужчины, его темную голову в своих руках, и непреклонную волю человека, не считающегося с тобой, и нет больше веселых игр, а лишь чувствуешь над собой темноту, словно тонешь, и слышишь собственный плач, похожий на журчанье ручейка, в который Том выстрелил и заставил его течь, а рядом нет женщины, чтобы об этом поговорить, и каждая вынашивает свой урожай молча, ничего не говоря, как земля, которая выращивает всё молча.

Ум ее он тоже подавил и оглупил ее. Он считал, чтение сродни распутству.

— Твое чтение мне подозрительно,— говаривал он, и его слова заставляли Нэнси прятать книги как что-то запретное.— Как научилась ты читать? Лежа в постели с этим золотоволосым пастором, притащившимся сюда, чтобы принести одну из этих дурацких книжонок? Или бегая за каждым человеком с ружьем, имевшим книги? А может, ученость доходит сюда по пустынной дороге?

Она налетела на него как сорока.

— Читать учатся не в постели. Это потруднее, чем свалить дерево. Я рожу сына, и он полюбит чтение и захочет знать больше того, что видно сквозь прорезь ружья; он захочет узнать обо всем сущем на свете и о том, что должен делать человек.

— Для жены простого охотника ты рассуждаешь слишком смело и речисто,— и он силой повалил ее на кровать.

После этого Нэнси лежала под ним как кошка, постигая, что она совсем ему не пара. Ведь она совсем одна в этой пустыне, и взрыв возмущения породил в душе призыв к другу. В ней жила ненависть к мужчинам потому, что они всё забирают себе: учатся по книгам, повсюду флиртуют, и слышат всё самое важное, проезжая с каждым караваном на Запад.

«Теперь мальчик сможет пойти на заставу, где проезжают все, кто движется с востока,— подумалось ей,— там кто-нибудь между делом его чему-нибудь да научит, и школа приезжает, а неподалеку, она слышала, есть библиотека, и там-то уж разные люди, может,

заговорят с мальчонкой из диких мест, они расскажут ему, что знают сами. И о том, что привезли с собой. Теперь он сможет всему научиться и никто не станет ему говорить, что он — женщина и надо посадить его в колодки в здании суда Элизабеттауна. Здесь теперь каждый день проходят люди, которые говорят правду, и они помогут мальчику найти свой путь».

В зимних сумерках она сидела на краю колченогой кровати и ждала, стараясь придумать, как же раздобыть еды. Мысли, приходившие в голову, были ее собственными, потому что заглянуть в книгу считалось для женщины грехом. Она чувствовала себя открытой во вселенную малюсенькой дверкой, через которую сейчас вошел незнакомый человек — он как маленькая укромная пещерка никому не ведом, подобен стручку во время мороза, центру, который стремится вовнутрь, полный незнакомых ей прежде мечтаний, разбуженных толчками и движением и предвидением событий и времен, до которых ей не дожить.

Она была крепкая, смуглая и терпеливая, буря в зародыше, гнев в скорлупе, одинокая женщина в хижине — и она вычеркнула бедного охотника Тома из круга своих забот и обратилась к собственному творению. Ветер привалился к двери и дул в нее, а она рассмеялась и заговорила с ветром: «Уходи от моей двери, уходите вы все». А голодному ребенку сказала: «Я накормлю тебя, достану тебе еды, и рожу тебя здесь без помощи повитухи». Потому что она, стоя в одиночестве со сжатыми кулаками, ясно понимала, что родит в феврале, когда снега глубоки и никто не придет к ней по этой дороге, сквозь свирепую пургу, и она будет в одиночестве дожидаться дня, когда настанет пора лечь в постель, скорее всего февральской ночью, и она станет бороться одна, чтобы дать ему жизнь, — угловатому сыну охотника, болотному младенцу, который станет слишком высоким; слишком темноволосым; порождением леса, вскормленным мясом белки, неприятностями, дикими орехами и одиночеством. «И я дам тебе теплого молока, у меня для маленького груди всегда будут полны молоком, ты станешь топтаться вокруг меня, как в голодное время длинноногий олененок, худой и поджарый, но для меня красивый, мое подрастающее одиночество, мой ходячий голод, мой друг в пустыне...»

Обхватив себя руками, спасаясь от холода, проникавшего в щель под дверью как волчьи лапы, она

спрашивала выпиравшие из ее боков бугорки: «Это твоя головка, или коленки, или попка? Ты там, Эйб? Тебе тепло?» И ужасный ответ пришел: «Я голоден. Я в темноте и голоден»,—сказало ей постукивание, и страшная грызущая пустота внутри заставила ее в конце концов понять голод, живущий в цветах и животных, глядящий из ощеренной пасти, молящий в темноте из глаз животных, из плавников и шкур, когтей и лап. Воющий ветер кричал о голоде, кричали олени и собаки, и даже тонкий писк полевой мыши, и чуткие уши оленей, мелькавших как тени мимо, тоже кричали о голоде.

Смерть пожирала ее детей—в пустыне они были такие слабенькие и никому не ведомые—и она оставила их в голодной земле. Этот умереть не должен. Она добудет пропитание ему из воздуха. Его будут кормить звери и ягоды, он переживет замерзшие ветви и станет родственником всем, кто голоден. Она найдет способ выкормить его. Ярость придала ей силы, она взяла длинное неудобное ружье, сунула в него патрон, дослала его, изо всех сил толкнула висевшую на кожаной петле дверь и задохнулась, вывалившись в громаду замерзшей земли и неба, этой беслой безбрежности и длинных теней, где промерзшие стебли трав, на которых играл ветер, звенели как лира. Земля раскрывалась как веер, разворачивалась за спиной как бесконечный подол, и ее охватил жгучий пронизывающий холод, она видела, как он ударял по снегу синим и немыслимо взлетал к свету, который, казалось, прибывал ее к земле по мере того, как ветреный день мерк и мороз гасил свет, словно закрывая раковину.

Открытая дверь впустила лай псов, и в этих звуках она видела их разинутые красные пасти. Все тени двигались, и ей чудилось, что на нее смотрят глаза из ветра, из теней, с холма, и показалось, что она слышит под снегом журчанье не замерзшего еще ручья. Она чувствовала, как низко летят алчные птицы—ястреб, ворона и сова, следя за крадущейся рысью, норкой, оленем, или крошечной мышкой с бусинками глаз, или голодным кроликом. Кто же выследил ее? Теперь она от голода сходила с ума, как хищные звери, нутром чуя теплый запах жареного мяса, манящий и приятный для ее маленького.

Обняв ружье, она толчком закрыла дверь и повернулась к холоду, утонув по колено в снегу; ковыляя вниз по холмам, она чувствовала, как ребенок вцепился в нее и повис на голодных утесах ее ребер. Она ощутила, что

кто-то преследует ее, но, обернувшись, разглядела лишь темное пятно безглазой хижины, построенной без окон. Как в таком малом пространстве воспроизводить потомство и рожать, грустить и ждать? Хижица походила на нее—то был вход в пещеру, открывающийся в бесконечные глубины земной утробы.

Она повернулась и пошла вниз по снежному холму, и ей казалось, что в неверном свете она видит впереди, вокруг Синкинг Спрингз, много животных. Она остановилась—глазам, привыкшим к темноте хижины, надо было присмотреться к теням, пока она вскидывала ружье и прицеливалась. Долго стояла она в цепенящем холоде, по колено в снегу, стараясь рассмотреть, какие из теней шевелятся; она слилась с бугорком замерзшей земли и позволила вернуться чувству прикосновения к земле, как всегда благодатному. Но тут почувствовала, что ее преследует какая-то тень, которая, стоит ей остановиться, тоже останавливается. Она ощущала ее за собой, чувствовала всей спиной, корнями волос, и замерла.

Оно тоже замерло, и ей подумалось: это всего лишь окружающая меня тайная жизнь—глаза птиц, лис, кроликов, убежища, где свернулись змеи, даже свисающие с ветвей деревьев куколки насекомых.

Она двинулась дальше, ее длинное платье совсем намокло, но ей показалось, что в зарослях она увидела тощего кролика. Сваренный кролик аппетитно пахнет, и из горшка можно вытащить немного мяса. Но тень сзади снова двинулась следом, и от этого у нее заledenела шея и заболела спина. Женщина остановилась, и тень замерла. Издалека доносился лай собак, выпущенных преследовать дичь и убивать.

Ружье оттягивало руку, и на мгновение она словно совсем окоченела. Потом увидела на фоне неба, как подняла голову олениха... Подумалось, что это, возможно, индианка, но она тут же безошибочно узнала голову оленихи, стоявшей на холме, с которого тек ручей, милый хвостик был поднят, в глазах животного—тревога.

Тень за ее спиной двинулась и в мгновение ока промелькнула мимо. Женщина стояла, разинув рот, не понимая, кто же это закричал—она сама, горный лев¹

¹ Горным львом в Северной Америке иногда называют пуму.

или олень. С треском разорвался холодный воздух, и показалось, что лаявшие собаки свернули в сторону и замерли, а потом у ручья произошла схватка громадных теней, молчаливая, похожая на роды, когда слышны лишь стенания, незнакомый звук рвущейся плоти и кошмарное напряжение костей да льющейся крови.

Женщина стояла как вкопанная, уронив руки. В наступившей тишине слышалось только лаканье. К ужасу женщины, громадная кошка вытащила олениху из снега на свет. Было хорошо видно, как пума разодрала тушу и яркие внутренности вывалились на снег, засверкав теплой кровью. Пума сунула свой тупой нос в мясо, а когда женщина шевельнулась, посмотрела ей в глаза поверх измазанного кровью носа и терзавших мясо когтей голодным взглядом, словно говоря: «Прости, но я голодна...»

Около себя женщина увидела что-то на снегу. То был кролик, которого пума убила, но бросила, заведя жертву покрупнее. Женщина схватила кролика и, наставив на пуму ружье, стала отступать назад по собственным следам. Но пума насытилась теплом, а ее голод рождал рвущийся звук, женщина видела на снегу горячую кровь и шею оленя, запрокинутую назад как в испуге или любовном экстазе.

Ночь медленно опустилась вокруг женщины, голубые тени вырастали из земли как прилив и поглотили ее. Медленно, боясь сделать резкое движение, она добралась до двери и услышала, что Сара плачет, тоже разбуженная голодом. Женщина вошла и затворила дверь. Тепло хижины волной ударило по ней. Она уронила ружье, взмахнула кроликом и... запела песнь дикарки:

Сварим кролика в горшке,
шу фляй шу.
Для моей дочурки Сары,
для тебя.
Сварим кролика в горшке,
шу фляй шу.
Ну, бегом, скорей ко мне!

На веселье матери Сара ответила криком.

Нэнси выхватила из медвежьего одеяла дочку, сжимавшую в ручонках кусочек хлеба, и закружила ее по хижине, уши кролика развевались, а снаружи доносилось кошмарное рычание пумы. «Попляши, чтоб разогреться, сдери шкуру с кролика и брось его нам в

рот». И, обращаясь к стучавшемуся внутри, добавила: «Да, да, голодный рот». Снимая шкурку с нежного кролика, который ничего не говорил, а летом мог бы стать ей другом, но сегодня утолит ее зимний голод, она подумала: «Прости меня, друг, за голод, что терзает изнутри и снаружи ребра всех нас, ребра лис, и белок, и полевок, клопов и сверчков. У всех, у всех у нас под ребрами этот зверь, который кусается и воет. Ах уж этот голод и крики всех наших братьев. Это ты, мальчик, стучишься и разрываешь от голода мне ребра? В тебе будет жить эта голодуха, преследования, и воющие псы ночи, и маленький кролик, выпавший из пасти горного льва, да, твое сердце будет биться крепко, я сильная, и станешь сильным ты».

— Покажи мне, мамочка, как ты танцуешь,— закричала Сара.

И они плясали в фантастическом свете очага, и упали на кровать, и щекотали друг друга, и Нэнси поднялась, встревоженная тем, что их в будущем ожидало.

— Я всегда любила, когда зимой к нам приходили люди, и дети, родившиеся и еще не рожденные,— сказала она Саре,—и свежее молоко от коровы, и золотистое масло, и много всяческих припасов, и пять видов мяса, и когда все за столом хохотали, а из печи доставали огромные караваны. Давай этот кусочек хлеба, мы разогреем его вместе с кроликом.

— Ты кого-нибудь ждешь, мамочка?

— Нет,—ответила женщина.—К нашим дверям не приведут ничьи следы. Он придет так, что ты и не увидишь. Я подожду до февраля. Буду добывать еду сама или ее принесет пума. Завтра там еще останется кое-что от оленя.

— Ты, мамочка, ждешь, что кто-то придет?

— Я жду, но он не войдет через эту дверь.

— Это, мамочка, загадка?

— Да. Загадай мне ее, Сара. «Где же ваш дом?—В решете над столом. Кто там движется в снегу? Кто склонился со скалы? Кто во мне зудит и хлещет и пронзает плоть мою? Нет ни тропки, нет ни двери».

Она засмеялась, сунув нос в горшок, где маленький кролик уже начал менять цвет от специй и жара, и Нэнси Хэнкс обхватила себя руками и улыбнулась, потому что охотник может сделать то, что человеку не под силу, и как бы долог ни был путь, она его преодолеет, чтобы добыть себе еду, шкуры, огонь и убежище.

Они сели, и между ними стоял котелок с добрым кроликом, и ели, и высасывали маленькие косточки, и, облизывая губы, улыбаясь, глядели друг на друга, и ребенок, насытившись, лег и крепко уснул.

Нэнси закрыла дочку и сама завернулась в одеяло около огня, который теперь должен был потухнуть, чтобы им сэкономить топливо. Завтра она отыщет под снегом пни, расколет их топором и принесет дров. Надо только подождать до февраля. Она обосновалась тут, дожидаясь прихода к ней в эту пустыню друга.

«Ты будешь очень тонким и гибким, и жизнеспособным, крепким и сильным. У меня для тебя, Эйб, всего будет много — и книг тоже, и ты всему научишься... Ты вырастешь высоким, как радуга, сыном охотника, в избытке вскормленным — я предвижу — мясом кролика, вырастешь поджарым и печальным, но сладким как грех. Ты, Авраам, станешь моим подрастающим одиночеством, ковыляющим вокруг меня голодом, станешь другом всем в этой пустыне».

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Б. Гиленсон. «Только народ дает жизнь нам и нашей культуре»</i>	3
<i>Женщина. Роман. Перевод В. Бошняка</i>	25

РАССКАЗЫ

<i>Коренные и пришлые. Перевод С. Котова</i>	199
<i>Весенний рассказ. Перевод Т. Бердиковой</i>	231
<i>Ветер. Перевод М. Макаровой</i>	244
<i>Прачка. Перевод И. Рахвальской</i>	258
<i>Благовещение. Перевод Н. Высоцкой</i>	265
<i>Женщины без надежды. Перевод Е. Розиной</i>	276
<i>* Биография Роды. Перевод В. Лимановской</i>	285
<i>* Убитые встают. Перевод М. Урнова</i>	294
<i>Я шагала в ногу. Перевод Е. Егоровой</i>	308
<i>Опустошенная женщина. Перевод Н. Высоцкой</i>	318
<i>Время темноты. Перевод Н. Высоцкой</i>	327
<i>Легенда о пустынной дороге. Перевод Н. Высоцкой</i>	340

Лесюэр М.

**Л50 Женщина: Роман; Рассказы: Пер. с англ./Сост.
А. Мулярчика; Вступ. статья Б. Гиленсона.— М.:
Худож. лит., 1989.—350 с.**

ISBN 5-280-00699-8

В книгу известной американской писательницы, видного общественного деятеля, Меридел Лесюэр входит роман «Женщина» (1978), посвященный трудной судьбе женщины в капиталистическом мире, а также рассказы, относящиеся к разным периодам творчества писательницы.

Л 4703010100—034 133—89
028(01)—89

ББК 84.7США

Меридел Лесюэр
ЖЕНЩИНА. РАССКАЗЫ

Редакторы *Т. Бердикова, М. Климова*
Художественный редактор *Л. Калитовская*
Технический редактор *Г. Такташова*
Корректоры *Л. Лобанова, Н. Яковлева*

ИБ № 5363

Сдано в набор 16.05.88. Подписано к печати 03.11.88. Формат 84×108¹/₈.
Бумага тип. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48.
Усл. кр.-отт. 18,9. Уч.-изд. л. 20,4. Тираж 75 000 экз. Изд. № VI—2219.
Заказ № 3092. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.

